

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **Р** БОЛЬШИЕ КНИГИ



Вениамин
Каверин

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
НАУКА РАССТАВАНИЯ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Вениамин Каверин

**Перед зеркалом. Двойной
портрет. Наука расставаний**

«Азбука-Аттикус»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Каверин В. А.

Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний /
В. А. Каверин — «Азбука-Аттикус», — (Русская литература.
Большие книги)

ISBN 978-5-389-21733-1

Вениамин Александрович Каверин – классик советской литературы, автор знаменитого романа «Два капитана». В молодости он входил в литературную группу «Серапионовы братья», писал фантастические рассказы; в конце жизни Каверин – признанный мэтр, учитель и наставник нового поколения писателей. В этом издании представлены наиболее известные произведения Каверина разных лет. «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» – один из самых ярких романов о советском научном и художественном авангарде и его лидере, знаменитом «скандалисте» В. Шкловском. «Двойной портрет» – смелое для своего времени повествование о трагической судьбе ученого, попавшего в лагерь. «Перед зеркалом» – психологический роман о любви и искусстве. «Двухчасовая прогулка» – роман о советских ученых времен застоя, их повседневной жизни. «Наука расставания» – правдиво описанный случай времен Великой Отечественной войны, во время которой Каверин служил военным корреспондентом на Северном флоте. А завершает книгу знаменитая сказочная повесть «Верлиока», в ней писатель вновь обратился к образам и мотивам кумиров своей молодости – Гофмана и Шварца.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21733-1

© Каверин В. А.
© Азбука-Аттикус

Содержание

| | |
|---|-----|
| Скандалист, или Вечера на Васильевском острове | 7 |
| Здесь читал адъюнкт-профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский | 7 |
| Скандалист | 27 |
| Давление времени | 46 |
| Она была мила, и он любил ее. Но он не был мил, и она его не любила | 66 |
| «Забыв долг, поправ честь, презрев стыд и усыпив совесть...» | 94 |
| Я здесь стою и не могу иначе | 107 |
| Двойной портрет | 128 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 170 |

Вениамин Александрович Каверин
Перед зеркалом
Двойной портрет
Наука расставания

© В. А. Каверин (наследники), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Скандалист, или Вечера на Васильевском острове

*Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.*

Б. Пастернак

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лица, пытающиеся открыть затаенные личные мотивы в этом повествовании, подвергнутся судебному преследованию; лица, пытающиеся извлечь отсюда какое-либо нравоучение, будут высланы; лица, пытающиеся усмотреть здесь сокровенный злокозненный умысел, будут расстреляны по приказанию автора начальником его артиллерии...

М. Твен. Приключения Гекльберри Финна

Здесь читал адъюнкт-профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский

1

Жена лежала рядом с ним, большая и грозная, устроенная именно так, чтобы лежать рядом с ним.

Это была та самая женщина, которой он улыбался. Да, именно улыбался, обязан был улыбаться. Он с ужасом потрогал ее спину ладонью. Это была сама судьба, слепая и увядшая, с которой сползло одеяло.

Он с тоской отвернулся к стене и вспомнил старый свой способ поскорее заснуть – нужно было поднять глаза под закрытыми веками, стараясь, чтобы все спуталось в голове, подражая самой последней перед сном минуте. Но и на этот раз заснуть не удалось. Далекий трамвай пропел на повороте, оконные переплеты, отраженные на потолке, напоминали другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагал профессор Ложкин. Они ничем не отличались от этой, разве только время было другое. Но та же луна, пенье трамвая, усталость.

Не стоило перебирать дня, оставленного в кабинетах Публичной библиотеки, в аудиториях университета. Да и полно, был ли это сегодняшний день? Быть может, вчера или год, два года, десять лет тому назад он спускался по сухим паркетным лестницам в рукописное отделение, горбатый на одно плечо старик приветствовал его: «Soyez le bienvenu, monsieur!»¹ – задыхающиеся рукописи перелистывались перед его глазами. Десять, нет, пятнадцать лет назад он разыскивал водяные знаки на хрупких листах табачного цвета, истлевающих от бесшумного хода столетий, разбирал и сличал тексты, из-за которых когда-то убивали, сжигали на кострах, гноили в земляных ямах, – всю свою жизнь он занимался литературными памятниками ересей и сект XV и XVI столетий.

¹ Милости просим, сударь! (фр.)

И самым тягостным показалось ему, что приветливый горбатый старик говорил свою фразу, несмотря ни на что, – он сказал ее в июле четырнадцатого года, в феврале и октябре семнадцатого.

Но, впрочем, что ж тут примечательного? Он просто вежлив, этот старик, его отец и дед были хранителями рукописного отделения, что ему, в конце концов, до русской революции или Версальского мира? Он припомнился только потому, что сегодняшний день очень похож на вчерашний, на третьегодняшний, на любой из тех, которыми располагает профессор Ложкин.

И только один-единственный день не похож на все остальные, – день, когда он впервые спустился по легким, как в театре, лестницам и сел за стол, протирая пенсне, упираясь молодыми, но уже близорукими глазами в клетчатые очертания стен, построенных из дерева и переплетов...

Он вытащил из-под одеяла руку, провел ею по лицу, пощупал следы от пенсне на переносице.

– Профессор, – сказал он самому себе шутливо, – не ищите, друг мой, особенного значения в том, что...

В чем? Он поиграл складками одеяла и поднес руку к глазам. Рука была комнатная, заблудившаяся, потерявшая прямое назначение.

А все, что он собирал так долго, год за годом, наука, которая ворохом просохшей бумаги шуршала вокруг него ежедневно, ежеминутно?..

«Ну и что же мне делать с ней?» – спросил он едва ли не вслух и тотчас же уклонился от вопроса, оскорбившись обидным сравнением, которое он сам же и придумал несколько дней тому назад.

По совести говоря, он и сам не знал, что ему делать со своей наукой, он сторожил ее, как солдат, который тридцать лет сторожил дорогу по приказу императора Павла... Нет, хуже того, он сторожил ее, как собака сено...

Жужжа на повороте, пролетел трамвай, оконные переплеты стали перед ним, как лист перед травой, – все это бывало и раньше, ничего не случилось, продолжение следует.

Не было ни малейшей причины волноваться. Наука – вот она, он ее знает, он знает, что с ней делать, он, наконец, слишком стар, чтобы менять профессию. Пустое, ничего нет, все дело, быть может, в том, что сегодня вечером на панихиде он слишком долго смотрел в костяное лицо покойника, – отпевали старого приятеля, профессора Ершова, умершего в сумасшедшем доме.

Запах ладана припомнился ему, и глупая речь, которую сказал священник, – он с отвращением вдохнул открытым ртом и подтянулся выше на подушках, схватившись за спинку кровати. Надо полагать, что Ершов сошел с ума от одиночества. Он, кажется, не женился для того, чтобы стать великим ученым. Уж лучше бы он женился, пожалуй.

«Семейный человек живет как собака, но умирает как человек – холостой живет как человек, но умирает как собака», – подумалось или вспомнилось Ложкину. Вот он, Ложкин, – семейный человек, у него есть надежда умереть прилично, с достоинством, может быть, даже в своей квартире, а не в сумасшедшем доме. Об этом позаботится его жена, его судьба, которая живет с ним в одном доме, спит с ним в одной постели, ест с ним за одним столом и требует, чтобы он улыбался.

– А что бы случилось, однако, если бы я перестал улыбаться? – спросил он самого себя и тут же передвинул что-то в голове, начал думать о другом, стараясь уверить себя, что это другое и есть то самое, о чем он думает с вечера до... Он посмотрел на часы. До половины четвертого ночи. Что-то очень важное, какая-то забота, живущая между научным спором и квартирной платой... И кстати, куда же все-таки он засунул эту проклятую квитанцию за прошлый месяц?

Вот только теперь к нему пришло последнее перед сном, давно изученное мгновение, он, как всегда, заметил его и почувствовал с радостью, что наконец засыпает. Тогда, полуочнув-

шись, полуоткрыв глаза, не сознавая уже, как давно прекратилась томительная работа сознания, он перевернулся на живот, вытянул ноги. Отдаленный трамвай все еще гудел, как шмель, гудел на повороте, он так и не догадался, что это был не трамвай (скрипели петли дворовых ворот), кто-то негромко и шутливо крикнул внизу, на улице, и все окончилось, он спал.

Он спит, а на другом конце города, в самом глухом углу Васильевского острова, на черт знает которой линии, в проточенном, протекшем доме, из которого давным-давно, опасаясь обвала, выехали жильцы, за кухонным столом, залитым чернилами, сидит маленький старичок с рыжеватой курчавой бородежкой, подпирая лицо руками, глядясь в почерневшее окно. Ничего не видать в окне, кроме отраженных рук, подпирающих мутное пятно лица, лба, ускользящей в стекле бородежки. Но он смотрит настойчиво, прилежно, он как будто видит, как за три квартала отсюда, на четырех перекрестках, ходит ходуном сам Васильевский остров, в клетчатой кепке, в широких морских штанах, с папироской, прилипшей к подсохшим губам.

Наконец он встает, снимает узкое драповое пальто, которое не снимал с тех пор, как вернулся со службы, и, бормоча что-то, жужжа и хихикая, начинает укладывать вещи. В заплечный мешок он кладет несколько рубашек, крахмальную манишку и ящик от сигар, в котором лежат воротнички, карандаши и старые письма. Он снимает со стены полустертую фотографическую карточку – задорное женское лицо смотрит на него внимательно и лукаво – и бережно заворачивает в газетную бумагу.

Свет меняется в окне, когда он наконец ложится, не раздеваясь, на голую кровать, под драповое пальто и ватное одеяло. Он больше не жужжит, не бормочет. Свет меняется в окне, близится утро, он засыпает.

Спит в скором московском поезде Некрылов, писатель, скандалист, филолог. Он спит, ловя уснувшей рукой сползающее с плеч пальто, подбросив под голову свои книги, которые он везет друзьям и которые никогда не получают ученой степени в университете. И город катится навстречу ему во сне. Сон, как солдат на часах, стоит над городом, от охтинских рыбаков до острова Голодая.

Не спят только милиционеры на постах, сторожа, охраняющие мосты, да еще те, которые спят днем, чтобы работать ночью.

И вместе с милиционерами, ночными рабочими и сторожами не спит студент Института восточных языков Ногин. В письме, которое он изорвал в клочки, не было ни слова о том, что он третью неделю грузит железо в порту, обедает через день и загнан в утлый чулан, притворившийся человеческим жилищем. Он писал: «Люди, которых никто не встречает ежедневно, ежеминутно в трамваях, в театрах, в ресторанах, которые живут одиночками, которые все же немислимы вне нашего времени и нашего пространства, занимают меня. Они одиноки, враждебны друг другу, каждый из них живет за самого себя и ничем не обязан соседу, любовнице, брату. Они вскормлены войной и революцией, но живут за свой счет и равнодушны к родителям – потому что и в этом согласны с духом эпохи, воспитавшей неуважение к отцам. Они не стараются отгородиться от мысли, что мир разорван, борьба неустраима, но они не носят эту мысль с собой в боковом кармане, в записной книжке, вместе с распиской за квартирную плату и квитанцией от заказного письма. Они рождены одной эпохой, вскормлены другой и пытаются жить в третьей...»

2

Прошло и навряд ли когда-нибудь возвратится загадочное время, когда на историческом театре, под гром и молнии гражданской войны, появилась с пером в руках комнатная Россия. Она сидела в валенках за канцелярским столом, выброшенным в княжеские и купеческие особняки, и листала журнал входящих и исходящих бумаг, превращенный в новое евангелие новых канцеляристов. Простая, как воздух, формула была начертана на стенах монастырей. Должны

были работать все – от регента до классной дамы, и интеллигенция незаметно для себя, на журнале входящих и исходящих бумаг, поклялась в верности четвертому сословию.

Тогда с легкостью, почти непредставимой, сами собой начали возникать учреждения. Они возникали преимущественно в тех местах, где сохранились голландские печи. Заваленный работой, важничавший печник пробивал дыру в дымоходе, оглушительно стучал молотком по трубам, мазал глиной буржуйки, курил, скандалил, отбивал от потолка известку. Подобно богу, он работал шесть дней, на седьмой отдыхал, а на восьмой начиналась жизнь. Курьеры разносили морковный чай, лысый кассир дышал на озябшие руки, огромные черные слезы падали из печных труб на притихшую интеллигенцию. Комнатные люди, вброшенные в особняки с голландским отоплением, были заняты и приучались к мысли, что чечевичная похлебка, которую они ели, вернувшись домой со службы, – есть та самая, за которую они продали свое призрачное первенство в русской революции.

Где, в каком музее лежат теперь все эти входящие и исходящие, удостоверения, справки, мандаты, карточки, акты, анкеты, проекты – бумаги, написанные рукой, которую нужно было занять во что бы то ни стало? Курьеры мажут их салом потихоньку, крысы жрут их с вечера до утра и с утра до вечера.

Редко кто остался на том месте, которое занял в памятные дни боевого крещения русской интеллигенции! Разве какой-нибудь обиженный, обсиженный мухами канцелярист с рыжей бороденкой (которая единственно нарушает деловую, солидную внешность преобразованного учреждения) все еще сидит на обтертом стуле, согнув спину, не выпуская из рук изгрызенной, запачканной чернилами ручки.

3

Рыжая бороденка эта торчала в одном из крупных ленинградских издательств. Она принадлежала хранителю рукописей – загадочному и отрешенному от реального мира. Не только ручка, но и пальцы его были запачканы чернилами. Он жужжал.

Когда он, подтанцовывая, вбегал в вестибюль, швейцар, принимая от него пальто, оглядывался беспокойно, стараясь угадать, в котором окне бьется неугомная муха. Жужжание пропадало на мгновение, когда хранитель рукописей проходил мимо комнаты машинисток, и снова возникало в свободном, продолженном перилами, пространстве общей канцелярии. Это было уже не жужжание, это был ночной шум, шумела вода в водопроводных трубах, рассыхался пол, коробились обои. Хранитель рукописей водворялся у неуклюжей конторки, между шкафами, в стороне от прочих служащих редакционного отдела – только тогда шум спутывался с бормотаньем, в нем появлялись концы и начала слов, предлоги и междометия.

Здесь, между шкафами, была жилая площадь этого шума.

Здесь он мог свободно выражать радость и уныние, неудовольствие и раздражение, недоумение или тревогу хранителя рукописей.

Но, впрочем, испытывал ли он радость, неудовольствие, тревогу?

За девять лет, в течение которых он ни разу не пропустил случая аккуратнейшим образом отсидеть положенное служебное время, он едва ли перемолвился приятельским словом с кем-нибудь из своих сослуживцев. За его спиной в продолжение этого времени выросло огромное учреждение, бесконечная мешанина людей, вещей, бумаг, папок, книг, пишущих машинок – чертов котел варился за его спиной с девяти до четырех ежедневно. Он ничего не замечал и ничему не удивлялся.

Никаких рукописей он, в сущности говоря, никогда не хранил. Он только числился хранителем рукописей. Но ни одна из них не миновала его – он подсчитывал печатные знаки.

Печатные знаки, как раздвижные солдатики, постоянно двигались перед его глазами – строка перестраивалась в страницу. Они не выходили из головы – он видел их на дне суповой

тарелки, в зеркале, во сне. Они казались расплющенной дробью, которую он напрасно старался сдунуть или стряхнуть. Болезнь печатников – она была тяжела для его лет, он никак не мог к ней привыкнуть.

Должность подсчитывателя печатных знаков возникла из недоверия. Неясно было, почему именно ему, а не кому-либо другому было поручено это дело. Должно быть, бородка либо жужжание показались заведующему издательством несомненными признаками недоверчивости. Как бы то ни было, от имени издательства он имел право не доверять писателям, переводчикам, ученым. Он сидел с карандашом в руках над историей, политикой, экономикой, математикой, литературой – и не доверял. Издательство выигрывало на этом как раз ту сумму, которая шла на его жалованье.

Казалось, он принадлежал к числу никому не известных сомнительных людей, которые время от времени появлялись в издательстве неприметно и столь же неприметно исчезали. Он не исчез. Напротив того, он пересидел множество редакторов, не говоря уже о делопроизводителях и технических секретарях. Согнувшись циркулем, он торчал над конторкой и, жужжа, подсчитывал знаки. Жужжание выражало независимость.

Его не называли по фамилии. Кто-то из местных острословов окрестил его Халдеем Халдеевичем, и хотя были минуты, когда он почему-то не откликался на это имя, – в обычное время он как будто ничего обидного для себя в нем не находил...

Впрочем, были в издательстве люди, которым он никогда не разрешал называть себя Халдеем Халдеевичем.

Это были писатели. Писателей он не любил. Он относился к ним с недоверием не только по долгу службы, но и по собственному разумению. Они казались ему людьми беспокойными, шумливыми, ненадежными. По два, по три часа они шлялись из одного отдела в другой и говорили, говорили без конца. Ему случалось прислушиваться к этим бесконечным разговорам. Все были на один лад. Каждый рассказывал другому о себе и ждал, что собеседник его похвалит. Они хвалили друг друга. Они боялись поссориться. Они хвастали, как актеры, и притом ввали. Халдей Халдеевич понимал, почему они подолгу сидят в издательстве без всякого дела. Это заменяло им службу. Они были одним из отделов – но отделом беспокойным, распушенным, ходячим...

4

Не оборачиваясь, он подергал плечом, сморщился и, упершись кулаком в подбородок, задумчиво уставился в окно. В сотый раз он увидел полуголую богиню со швейной машиной у ног, клочок неба, похожий на воздушное печенье, и свежепокрашенную крышу соседнего дома. Ни то, ни другое, ни третье не доставило ему ни малейшего удовольствия. Он пожал плечами и, поерзав на стуле, скосил глаза, стараясь высмотреть кого-то за фанерной перегородкой. Потом он подмигнул Вильфриду Вильфридовичу Тоотсману, бывшему мировому судье, почтенному семьянину, занимавшемуся рассылкой корректур. Мировой судья, почти испуганный такой общительностью со стороны своего молчаливого соседа, подошел поближе.

– Я вас, любезный друг, предупредить хотел, хотел предупредить, – шепотом сказал Халдей Халдеевич и большим, язвительно изогнутым пальцем левой руки ткнул в сторону фанерной перегородки, – на всякий случай имейте в виду... Плут! Плут и пролаза!

Вильфрид Вильфридович опасливо посмотрел на язвительно изогнутый палец и, ничего не сказав, вернулся к своим корректурам.

Человек, сидевший за фанерной перегородкой, был еще очень молод. У него были пухлые губы. Лицо его, расплывчатое, но выразительное, было спутано и затушевано очками – тяжелыми, шестигранными, роговыми. Неделю назад он ходил еще без этих очков, назывался Кирюшкой Кекчеевым и получал жалованье по девятому разряду. Он был просто мальчиш-

кой, пусть даже и окончившим какой-то институт, – Халдей Халдеевич плевать хотел на этот институт.

Неделю назад он смиренно выслушивал выговоры и наперегонки с лифтом летал по всем четырем этажам, когда курьер был отослан в другое учреждение. А теперь, извольте видеть, теперь...

Халдей Халдеевич с трудом представлял себе, как произошло неожиданное возвышение его помощника. Он боялся признаться себе в том, что и он сам, каким-то несчастным случаем, был в этом возвышении замешан.

5

Едва ли не с первого дня своего пребывания на службе Халдей Халдеевич заметил одного из наиболее частых посетителей издательства – человека огромного, медвежьего, обходительного.

Человек этот подъезжал к издательству в дрожках и, мало, в сущности, разговаривая, а больше оттирая плечом тех, что были помоложе, пролезал прямо к кассе. Он как будто даже и не писал ничего, а только редактировал – и то в отдаленном прошлом – какой-то журнал полунаучного характера. И тем не менее все заискивали перед ним. Даже те, которые называли его прохвостом.

Впрочем, он не выпускал изо рта трубки и имел вид человека почтенного и незаурядного.

Тоотсман первый увидел его в жилой площади шума, производимого Халдеем Халдеевичем. Шум умолк. Халдей Халдеевич спутался в счете и с беспокойством поднял голову. Посетитель приближался к нему, неся впереди себя большой, круглый живот, добродушно попячивая трубкой. Воздуху в комнате стало как-то гораздо меньше.

Живот сказал что-то, и Халдей Халдеевич понял, что видит перед собой тоже Кекчеева, родного отца или по меньшей мере родного дядю Кирюшки. Тут же выяснилось, что дело именно Кирюшки-то и касалось...

Испуганный, зажатый между шкафами Халдей Халдеевич получил в руки какую-то бумагу, которую ему было предложено немедленно же подписать. Кекчеев-старший ласково потянул его за рукав... Халдей Халдеевич беспомощно посмотрел на него и подписал. Потом он все-таки попробовал прочесть бумагу. В бумаге были подробно перечислены достоинства Кекчеева-младшего. Он был нарисован пленительными чертами. Халдей Халдеевич восторженно отзывался о нем в этой бумаге. Отдел бы ожил, если бы... Но тут Кекчеев-старший добродушно похлопал его по плечу, вынул бумагу из его рук и заговорил о чем-то другом. Потом подписал Вильфрид Вильфридович. Потом большой, круглый живот нырнул в дверь.

Халдей Халдеевич проводил его глазами и пошел к своей конторке, робко сморщиваясь, испуганно поглядывая вокруг.

И вот теперь, только теперь, сегодня утром он понял загадочный смысл этого посещения! Пролаза завел очки, засел за перегородку, вывесил над столом чертеж какого-то проекта и заговорил с Халдеем Халдеевичем слишком вежливым, начальническим тоном. Он был назначен техническим секретарем. Халдей Халдеевич со своей бородачкой, со своим шумом, со своими служебными обязанностями был теперь всецело в его распоряжении.

6

Во втором часу дня маленькая машинистка, которая была настоящей розовой стрекозой с белыми и голубыми бантиками, забежала к техническому секретарю. Халдей Халдеевич прислонил перо к чернильнице и прислушался.

Стрекоза забежала по делу: товарищ Глобачев, заведующий учреждением, просил технического секретаря заехать к нему на дом по срочному делу. Пишущие машинки, как горящий вереск, стрелявшие за спиной Халдея Халдеевича, помешали ему расслышать все остальное. Технический секретарь вскочил, едва не опрокинув стул, и переспросил о чем-то молодым, но уже солидным баском, которому он напрасно старался придать внушительность и хладнокровие. Потом он появился на пороге и, тронув пальцами очки, неторопливо приблизился к Халдею Халдеевичу.

– Я сейчас еду к Глобачеву, – сказал он, – будьте добры, если это не затруднит вас, приготовьте к моему возвращению черновик отчета.

Отвернувшись в сторону, поспешно схватив в руки запачканную чернильную ручку, Халдей Халдеевич хмуро кивнул головой. Он насупился, зловещая тень прошла по заросшему лбу, мохнатым бровям, курчавой бороденке. У технического секретаря были короткие руки. Он чистил себе ногти перочинным ножом. Из-под шестигранных очков смотрели снисходительные глаза, разбойничьи, в сущности, глаза торгаша и карьериста. Жирный ребенок еще угадывался в нем.

7

Опасная мысль о порочном круге, придавшая солидному и благоустроенному существованию профессора Ложкина характер какой-то непрочности, бивачности, была прозвана им (разумеется, только для самого себя) «бабьим летом» или «второй молодостью».

Он внезапно открыл, что каждый день проделывает один и тот же маневр, состоящий из слов и движений, порядок которых был установлен раз и навсегда с точностью почти астрономической. Он повторял себя день за днем, час за часом.

Машинальность, с которой он читал лекции, слушал рукописи, обедал, ужинал, жил с женой, внезапно показалась ему оскорбительной. Иногда (впрочем, даже себе самому не сознаваясь в этом) он испытывал смутное желание послать все к чертовой матери, уехать в провинцию, заняться кроликами, курами, рыбной ловлей.

Именно эта опасная мысль подчас неожиданно сбивала плавный ход какой-нибудь тысячу раз читанной лекции, предмет которой был известен ему, как письменный стол или лицо жены. Он задумывался, фраза, потерявшая значение, скользила с гуттаперчевого языка. Студенты перемигивались, перебрасывались записками, из указательных пальцев складывали крест. В эти мгновения вместо заблудившейся, потерянной мысли он вспоминал случай с певцом Карузо или Баттистини, который окончил свою карьеру при погребальных свечах, зажженных посетителями миланской оперы. От креста, сложенного из указательных пальцев, до погребальной свечи был, в сущности говоря, только один шаг...

Та же мысль, на этот раз притворившаяся анекдотом, однажды пришла ему в голову во время серьезного разговора с одним из знакомых историков, который обратился к нему за какой-то справкой. Они говорили в дверях читального зала, читатели шпалерами расположились за продолговатыми столами, зелено-голубые абажуры, командующие тишиной, выносили читальный зал за пределы реального существования. Ему, профессору литературы, ветерану этой тишины, генералу от зелено-голубого абажура, в кругу которого лежали раскрытые книги, следовало бы умилиться, да и то молча – неловко было посторонними замечаниями прерывать ученый разговор...

Он умилился. Напротив того, ему вдруг представилось, что вся эта чинная армия читателей – вот и этот кривоногий сумасшедший старик, увешанный множеством орденов, значков и медалей, и худосочный юноша в академическом пенсне, и прочие библиотечные завсегда-таи, – сами того не замечая, сидят и читают голышом, в чем мать родила. Идея эта была, оче-

видно, просто глупа, и почтенный историк по справедливости не мог понять, над чем хохотал до потери пенсне профессор Ложкин.

Да и вообще профессор Ложкин в тот день произвел на историка неприятное и тягостное впечатление. Он причудился ему ренегатом.

К этому следует присоединить уж совершенный фарс, происшедший неделю спустя между ним и Мальвиной Эдуардовной.

Мальвина Эдуардовна, его супруга, жила главным образом тем, что скрывала от всех свою профессию – до замужества она была повивальной бабкой. Именно в этом тщательном сокрытии профессии заключался весь смысл ее жизни. Она выдумала себе другую родину, других родственников. Она дрожала при мысли, что может случайно – на улице, в театре – встретиться с какой-нибудь из своих пациенток. Она целыми ночами думала над чьим-то неосторожным словом, которое – казалось ей – было сказано с умыслом, с тайным умыслом намекнуть на повивальное искусство.

В минуты откровенности профессор любил говорить, что она была молода, – из сочувствия с ним соглашались.

Откуда-то известно было, что в некотором отношении она, невзирая на свои годы, была слишком требовательна для человека, занимающегося филологией.

Все произошло чрезвычайно просто.

В час, когда Мальвина Эдуардовна, естественно, должна была ожидать, что супруг обеспокоит ее выполнением семейных обязанностей, профессор Ложкин неожиданно закрыл на крючок дверь своего кабинета. Щелканье крючка прозвучало в ушах Мальвины Эдуардовны бессмысленно и неблагонадежно.

Призвав на помощь всю воспитанность, которой она располагала, она с четверть часа пролежала под одеялом неподвижно.

Наконец, чувствуя, что до выяснения непонятого обстоятельства все ее старания уснуть будут напрасны, она встала с кровати и, натянув на величественные плечи капот, постучала в двери кабинета.

То, что ей довелось услышать в ответ, она постаралась забыть в следующую минуту. Через два-три дня она уверила мужа, что к нему в кабинет стучалась прислуга, посланная к профессору со стаканом чая.

– Катись, катись, матушка, – будто бы сказал Ложкин. – Что, в самом деле?.. Довольно я с тобой побаловался... Потом как-нибудь! Ничего особенного, надоело!

В ту же ночь, бессонную, как сова, Мальвиной Эдуардовной был констатирован бунт – система ее правления очевидно терпела крах; надо было принимать решительные меры – по крайней мере, показать, что вторая молодость профессора Ложкина началась с ее, Мальвины Эдуардовны, одобрения и согласия.

Спустя несколько дней, за обедом, она намекнула мужу, что, по ее мнению, следует слегка изменить образ их жизни – «жить более открыто, ну хотя бы принимать у себя друзей, посещать кино, театры». Ложкин, катая по скатерти хлебный шарик, с грустью повторил про себя: «Да, принимать друзей...» Его друзья были когда-то отучены от него Мальвиной Эдуардовной, и этого он в глубине души не мог простить ей, хотя никогда не говорил об этом ни слова.

В ближайшее воскресенье он, кряхтя, натягивал на себя крахмальную рубашку, продевал запонки, мучился у зеркала с галстуком – и Мальвина Эдуардовна впервые заметила, что в последнее время ее муж был чем-то не похож на самого себя. Уж выходя к гостям, она поняла, в чем дело: черная, сморщенная, похудевшая шея профессора Ложкина торчала из ослепительного воротничка, как шея японского божка. Он глазами и даже манерой держаться начинал походить на японца.

Насильственно улыбаясь и все еще думая об этом, она встречала гостей.

Одним из первых пришел академик Вязлов, длинный, сгорбленный, с тощей, болотной бородой, умница и язвительный старик, смерти которого ожидали четыре профессора в надежде занять его место в Академии наук.

Старик болел, но не умирал. Напротив того, после очередной болезни он почитал непрелюбимой обязанностью явиться к каждому из претендентов с визитом. Тряся бородой и иронически щуя глаза, он уверял, что претендент худеет, плохо выглядит, имеет болезненный и истощенный вид. Он подробно рассказывал историю своей болезни, рекомендовал врачей, иногда даже показывал свои анализы, причем каждый пункт толковал отдельно. Уходя, он непременно брал с жены претендента слово, что с этого дня она будет тщательнее следить за здоровьем мужа.

Ложкина он любил, но к его научным занятиям относился пренебрежительно.

Он встретил Ложкина в столовой и, глядя бороду, долго смотрел на него: Ложкин был неблагополучен. Он стоял сгорбившись, положив руку на стол, напряженно прислушиваясь к разговору. У него было недоуменное и строгое лицо. Он стеснялся. Можно было подумать, что он присутствует при каком-то неприятном, но важном и неизбежном событии.

– Вот и вас заело, Степан Степанович, – сказал Вязлов и сел, пристукнув палкой.

Ложкин, очнувшись, бросился к нему и с горячностью, его самого удивившей, заговорил о том, что давно хотел повидаться и поговорить. Ни разу за последние полгода он не вспомнил о Вязлове и не испытывал ни малейшего желания поговорить с ним. Все это была чистейшая ложь – он с досадой подумал об этом, но все же продолжал говорить. Лыбые веки Вязлова моргали, седые табачные усы оттопыривались.

Мальвина Эдуардовна наконец позвала мужа встречать новых гостей.

Профессор классической филологии Блябликов, похожий на летучую мышь в своем длинном черном сюртуке, стоял на пороге столовой. Маленькая пузатая жена шла за ним в скромном платье. Ложкин, механически улыбаясь, поцеловал ей руку. Все повторяли одни и те же фразы.

В столовой Блябликов вытаскивал тяжелый, с монограммами, портсигар и долго постукивал о крышку мундштуком папиросы. Это значило, что он собирается рассказать какую-нибудь сплетню, анекдот, историю. Он рассказывал эти истории тяжело, неумно, с плохо скрытым недоброжелательством или завистью – и тем не менее считался в профессорском кругу прилежным остряком и бонмотистом.

На этот раз анекдот должен был показать профессора классической филологии в роли рыцаря-крестоносца, защитника Гроба Господня от посягательств неверных. Недели две назад факультет получил новое предложение пересмотреть программы.

– Перед нами стояла дилемма, – рассказывал Блябликов, – либо снова приняться за переименование курсов, либо пойти на уступки и, как я сказал на заседании факультета, лишить Демосфена слова...

Анекдот начинался скучно. Ложкин осторожно встал и пошел в прихожую встретить новых гостей.

Вертявый толстяк, ученый хранитель Пушкинского дома, обнял его, легко оттолкнул и, хохоча, повел представлять молодой жене. Молодая жена, тощая, рыжая библиотечная дама, скаречно улыбнулась. Ложкин, внезапно забывший имя-отчество толстяка, смотрел на них с удивлением. Кое-как назвав толстяка по фамилии, он вместе с ними возвратился в столовую.

Блябликовский анекдот подходил к концу. Все слушали с напряженным вниманием.

– Николай Львович, вы можете писать о чем хотите, поступать как вам угодно, – кричал что-то такое Блябликов. В нем внезапно проснулся бахвал-семинарист, он пристукивал себя кулаком в грудь, даже выгибал грудь, упершись рукой в колено.

Мальвина Эдуардовна шепотом рассказала мужу, в чем дело. Факультет поручил написать объяснительную записку одному из приват-доцентов. Приват-доцент в записке упомянул,

что изучение истории Греции и Рима должно повести к искоренению религиозных предрассудков.

– Чтобы я подписался под этой бумагой? – кричал Блябликов невидимому приват-доценту. – Под этим богохульством? Под этим наглым вмешательством в святая святых каждого порядочного человека?

Прислуга вошла, гремя посудой. Мальвина Эдуардовна грозно взглянула на нее.

– Не говоря больше ни одного слова, я расстегнул пиджак, – Блябликов и в самом деле чуть было не расстегнул пиджак, – сверху донизу разорвал рубаху и бросил перед ним крест! Это было неожиданно и не вполне прилично.

Вязлов откровенно усмехнулся и язвительно пожевал губами.

Ложкин не понял: какой крест? Откуда появился крест? Он догадался наконец. Блябликов бросил на стол свой нательный крест. Зачем? Ну да, чтобы показать, что он не хочет поступиться своими религиозными убеждениями...

Все молчали, даже Мальвина Эдуардовна. Верность религии в том кругу, который собрался в этот вечер в доме Ложкина, была порукой порядочности, но порукой тайной, которою хвастать было неудобно. Маленькая пузатая жена смотрела на Блябликова укоризненно.

Заговорили о другом. Жены, уединившись вокруг Мальвины Эдуардовны, занялись со всей тщательностью прислугами и детьми. Прислуги, как выяснилось, были нечистоплотны, грубили, воровали, жаловались в профсоюз. Дети, напротив того, были одарены исключительными способностями, прекрасно учились, время от времени болели. О прислугах говорили бездетные.

Мужчины, собравшись в кабинете Ложкина, затеяли азартный разговор о «формалистах».

Они не судили «формалистов» под углом зрения своей науки. Они были слишком стары для этого, они поседели на науке.

Но самый дух «формализма» – дух неверия и неблагополучия, который вносили не в науку, а в комнату эти люди, – был ненавистен им.

Это была уже система, небезопасная для кабинетного существования, близкая чем-то к самой революции, которая казалась им чужой и бесполезной.

Да и своим делом «формалисты» занимались с неприятной поспешностью, с мальчишеской развязностью и непостоянством. Мальчишки, которым революция развязала руки!

Еще не справившись с магистерскими экзаменами, они меняли историю литературы на – смешно сказать – синемаграф. Слабые, но, быть может, не безнадежные теоретические рефераты они бросали для болтовни, для беллетристики! Они писали романы. Даже, кажется, стихи?

В сущности говоря, они были людьми падшими, покинувшими привычный, надежный академический круг для жизни бродячей, развратной, беспокойной.

– Падшими? – Ложкин, невнятно удивляясь, стал припоминать – тонкое лицо, пенсне, седеющая борода, нет, теперь он, кажется, сбрил бородку и очень похудел, не так давно он встретил его в трамвае...

Он хотел возразить – но раздумал. Тем более что толстый хранитель, волнуясь, булькая от удовольствия, только что рассказал, что другой падший содержит в Москве три семьи и живет с китайкой. Кое-что насчет китайки было сказано шепотом, чтобы не услышали дамы.

Вечер, ознаменовавший вторую молодость профессора Ложкина, подходил к концу. Ложкин сидел утомленный, с головной болью, постаревший. Мальвина Эдуардовна, не справляясь с зевотой, два или три раза взглянула на часы, – когда заговорили о Драгоманове.

Это должно было случиться не потому, что Драгоманов был близок к беспокойным разрушителям научных традиций, и не потому, что он был человеком падшим в точном смысле

этого слова, – о нем заговорили потому, что академический круг, к которому принадлежали гости Ложкина, условился молчать о нем.

Вязлов, глядя болотную, с прозеленью, бороду, привстал и, скореженный, страшный, с папиросой, зажатой в кулаке, двинулся по комнате.

«Он похож на дьяка времени Ивана Грозного, – подумалось Ложкину. – Ему не хватает ермолки на голове, гусяного пера за ухом».

Дьяк, размахивая папиросой, творил суд и расправу. Травянистыми табачными глазами он молча обводил гостей. Толстый хранитель при имени Драгоманова сделал испуганное лицо, Блябликов сморщился и потянул носом воздух. Дамы придвинулись ближе.

– Человек, о котором вы изволили упомянуть, – неизвестно к кому обращаясь, начал Вязлов, он разжал кулак и сунул свою папиросу в рот, – есть, в сущности говоря, человек почти гениальный. В свое время я полагал найти в нем достойного преемника Шахматова или Бодуэна. Его лингвистические работы по тонкости догадок человеческому уму почти непонятны. Третьего дня он явился на лекцию, прошу извинения, в подштанниках. Его подозревают – и не без оснований – в тайной торговле опиумом. Берегитесь его!

8

Острая морда выглянула из-под груды книг, сваленных на подоконник. Серый моток, сплющиваясь, выползал из-под японско-русского словаря. Между словарем и толстым томом «Известий Академии наук» был туннель. Упираясь лапками в подоконник, волоча живот, крыса вылезла в мир. Миром была комната Драгоманова. Солнце, прикрытое дырявым носком, длинным шнуром привязанное к небу, висело над этим миром. Оно всходило в шестом часу дня, заходило в полночь. Оно было скользкое, теплое и по временам качалось. Его нельзя было сожрать, к нему опасно было прикасаться.

Над ним лежала крыша мира, растрескавшееся небо, с которого упали стол, стул, кровать, книги. Небо держалось на обоях, обои коробились и гнулись, подпирая его. Оно было похоже на дно, перевернутое вверх ногами.

За столом и на кровати жил шумливый хромой человек, который мешал ходить по дну, жрать муку и картофель. Он пел, кашлял, толкал стулья, скрипел кроватью, царапал бумагу. По временам он с вытаращенными глазами поднимался из-за стола и начинал ходить.

Он ходил час, другой, третий от стола к кровати, от кровати к столу, ходил и тупо улыбался. Он ложился на кровать. Он дымил.

Он дымил, и у крысы начинала кружиться голова. Не пугаясь его больше, она смело выходила на середину комнаты, взбиралась на стул и долго неодобрительно смотрела на небритое лицо с закрытыми глазами, на обожженный чубук, в котором плавилась черные комочки, похожие на шарики из хлеба.

Подчас Драгоманов пальцем поднимал веко и ласково смотрел на нее. Навряд ли он принимал ее за привидение.

По утрам, перед началом лекций, он вел с ней длинные разговоры.

– Сударыня, я подумываю о самоубийстве, – говорил он крысе, – мне, видите ли, все равно предстоит умереть под забором. Незаурядная жизнь, которую я имел честь прожить, мне надоела. Мне надоело таскаться в университет и вбивать в чужие головы науку, в которой я и сам ничего не понимаю. Вы скажете – нет, понимаю! *Vous me flatter, madame*², вы слишком любезны. И не я один, никто не понимает. Пора, мой друг, пора кончать эту музыку!

Крыса смотрела на него не мигая. Он подзывал ее пальцем, бросал картофельную шелуху, свистел ей, как собаке, и пытался пищать по-крысиному.

² Вы мне льстите, сударыня (*фр.*).

– Вы меня уважаете, сударыня? – кричал он. – Уважайте меня, я состою на государственной службе! Профессора меня не уважают, меня кусают клопы, дураки отнимают у меня время. В тридцать три года у меня пятидесятилетняя кровь и семидесятилетнее сердце. Если я повешусь, мне, вероятно, простят скандалы в Исследовательском институте и Азиатском музее. За моим гробом пойдут два ученика, три дальних родственника из тех, что еще не убралась за границу, и коллега Леман. В мою комнату переедет рыжий студент, тот самый, что жалуется на соседство клозета, и вы будете так же жрать его картошку, как жрете мою. Для вас ничего не изменится, сударыня. Советуете, а?

Крыса молчала. Брезгливо глядя на Драгоманова, она задом отступала к туннелю. Он был небезопасен, он мог раздавить ее каблуком, разбить голову тяжелой книгой. Она его презирала...

9

Университетское общежитие еще хранило обычаи, которые прославили его в годы гражданской войны. В квартире заведующего еще жили старички, которые постоянно спорили о преимуществах ректора, умершего в девятьсот седьмом году, перед ректором, умершим в девятьсот четырнадцатом, этажи еще различались по запахам, коллега Леман, студент, составивший и собиравший некрологи, еще бродил по лестницам общежития.

День был еще похож, ночь была уже другая.

Кухня и кипятильник – самые излюбленные места вечеринок, любовных свиданий и философских споров – были уже просто кухней и просто кипятильником; на них уже не лежал памятный отпечаток эпохи.

Еще никто не забыл, как она умирала, эта эпоха, – непонятой, понятой, неблагополучной. Она горела в ночниках, вечерами стоявших вдоль остывшей плиты, она догорала после полуночи в комнате с кипятильным баком. Бак был еще теплый, для него тайком воровали дрова из штабелей на берегу Невы и по очереди пилили.

Ночь начиналась с того, что гасли матовые фонари в коридорах, упирившихся – нет, не в Неву, в воздух Невы, в береговой ветер.

Все с ночниками в руках шли на кухню. Плита лежала огромная, уютная, тупая, похожая на приземистого, требовательного бога.

Ночники рядами стояли на ней, освещая раскрытые книги, куски лиц, шахматные доски. Это было веселое жилище теней и крыс. Крысы, понявшие новый порядок как личное завоевание, расплодившиеся, как крысы, шумели и грызлись с кошками по углам. Они пищали, у них был свой клуб в большом дровяном ларе. Каждый вечер они справляли по свадьбе.

Кругом читали, спорили, играли в шахматы, пели. В кипятильнике под баком еще светились угольки.

Эпоха догорала.

10

Драгоманова не любили в общежитии. Он и жил в нелюбимом месте, неподалеку от черной лестницы, где постоянно горела тусклая лампочка и никогда не было разницы между днем и ночью; из странных людей, еще бродивших вокруг университета, он был самым странным. Благополучие, пришедшее в общежитие с шестым и седьмым годом революции, не коснулось его. Гражданская война еще жила в его комнате, в заплечном мешке он носил из библиотеки книги.

Крыса, с которой он говорил по утрам, была прямой наследницей тех, что несколько лет тому назад были свидетелями любовных свиданий у кипятильников и философских споров на кухне.

Его боялись. Все знали, что он наркоман, что у него темное прошлое неудачника, путешественника, игрока.

Курсистки, податливые и нечистоплотные, с которыми жили все в общежитии, относились к нему с неприязнью. Старые студенты, еще бормотавшие под пьяную руку «Gaudeamus», считали его человеком, не заслуживающим доверия.

И только коллега Леман, рыжий, тихий, задумчивый, выстриженный бобриком, чувствовал к нему глубокое уважение.

Это был интерес естествоиспытателя, научный интерес. Драгоманов принадлежал ему. Драгоманов был живым некрологом, увлекательным, как история Белоруссии, которой занимался Леман. Невозмутимо торжественный, прямой, оборванный до самой шеи, до воротничка, из которого торчала важная голова философа, он приходил к Драгоманову и молчал. Он считал Драгоманова своим единомышленником. Фантастические очертания девятнадцатого года мельтешили и перед его глазами. Он наблюдал Драгоманова. Некролог обещал быть неподражаемым, единственным в своем роде.

Над Леманом смеялись в общежитии, по ночам у его дверей служили панихиды, ему посылали от имени умерших красавиц любовные письма, шалопаи, притворявшиеся воскресшими деятелями белорусской истории, но ночам являлись к нему в простынях и требовали ответа за ошибки, которые он якобы допустил в своих некрологах.

На собраниях, которые он заполнял чтением поощрительных биографий каких-то чиновников, архиереев, мелких военных, стоял содом, от хохота дрожали стекла.

И вместе с тем в нем чувствовался человек обреченный.

Быть может, это сознание обреченности и заставляло его постоянно возиться с покойниками, да и на живых смотреть сквозь траурную рамку с орнаментами, которую он постоянно рисовал в своих записных книжках.

Но Драгоманов безжалостно издевался над ним. Он врал ему без удержу, рассказывал, что он два года скитался по публичным домам Сирии и Палестины, что он хромает с тех пор, как упал с трапеции, работая воздушным гимнастом в знаменитом цирке Гагенбека.

Леман верил ему. «Отличаясь редкостным трудолюбием и прекрасным знанием иностранных языков, покойный служил в комиссариате по иностранным делам, – писал он по ночам при свете лампадки. – Будучи командирован факультетом в Сирию, покойный два года изучал этнографию страны... Самоотверженная работа покойного в цирке Гагенбека...»

Вокруг были все некрологи, некрологи, некрологи. Они заполняли умывальник, подоконник, кровать. Они лежали под подушкой, в платяном шкафу, в ящиках стола. В серой, предутренней тишине, тесноте общежития, они говорили тысячами мертвых языков – и все торжественнее, благопристойнее, все печальней...

Кто знает, а быть может, Драгоманов и в самом деле говорил правду?

11

Десять или двенадцать студентов, занимавшихся лингвистикой наперекор безнадежной будущности, были слушателями Драгоманова. Меж них был и Ногин, совмещавший университетские лекции с занятиями в Институте восточных языков.

Практические родственники и студенты других факультетов и вузов презрительно относились к ним. В самом деле, ведь лингвистика дешево стоила перед уменьем строить трамвайные вагоны!

Но они не были ни чудаками, ни мечтателями. Они просто не могли иначе. Это были люди, лишенные традиций старого студенчества и равнодушные к заботам нового, которое было им чуждо и незнакомо. Университет был пуст, когда они явились в нетопленные аудитории, где замерзающие профессора читали по инерции, стараясь не замечать того, что они называли «гибелью русской культуры».

Аудитория отапливалась теперь, но профессора все еще читали машинально.

«Дни нашей жизни» со своими студенческими балами, землячествами, тесными компаниями казались им болтовней, литературой. На редком из слушателей Драгоманова можно было увидеть форменную студенческую тужурку. Они жили наукой, которая была для них чем-то гораздо большим, нежели для старшего поколения. Это была не просто наука. Это была наука наперекор, почти что личное дело.

Драгоманов читал им «Введение в языковедение», которое в его изложении было самым трудным предметом факультетского курса.

Он редко приходил в университет, по временам вовсе пропадал на две-три недели, иногда запиской звал аудиторию к себе и где-нибудь в коридоре общежития читал очередную лекцию.

Самая некрасивая из его слушательниц называла его «гением и беспутством».

12

День, когда академический круг в доме профессора Ложкина, нарушив обет молчания, обвинил Драгоманова наконец в неслыханных противу себя преступлениях, был свидетелем полного падения его академической карьеры.

Впервые за весь год он явился на лекцию вовремя.

Высоко подняв голову, он прошел вдоль парт и, заложив руки за спину, прислонился к доске. На нем было пальто, переделанное из солдатской шинели, и вещевой мешок, застрявший на его плечах с девятнадцатого года. О шинели он любил говорить, что это незаменимая верхняя одежда для любого времени года: «Напрасно ругали наших интендантов».

У него было очень желтое лицо в этот день, и он поминутно почесывался, поднимая то одно, то другое плечо, ерзая спиной. Он сам как-то объяснил аудитории, что постоянное это почесывание есть прямое последствие курения опиума. Он просил извинить его: «Право же, не от вшей – от опиума», – а ему и не только это извиняли!

Уставившись на одного из слушателей безразличными глазами, он заговорил о теории общеиндоевропейского праязыка. Он излагал ее и раньше. Любое «введение в языковедение» замыкалось этой теорией. Со времени Шлегеля и Боппа бесчисленные лингвистические работы были построены на основе этой теории.

Но он, Драгоманов, заявил в этот день, что, положив руку на сердце, он не может с ней согласиться.

Внезапно начиная грассировать, он с мелом в руках изложил систему своих доказательств.

Индоевропейская теория не в состоянии была, по его мнению, дать объяснение некоторым фактам, которые настоятельно требуют своего места в науке о языке. На основе этих фактов он предлагал построить новую систему, вскрывающую доиндоевропейское, близкое к первичным истокам, состояние человеческой речи.

В пятичасовом зимнем свете 12-й аудитории он казался распластанным серым пятном на запачканной мелом доске. Он отрекался от Шлегеля и Боппа, как Лютер от католичества. Не улыбнувшись, он привел его слова: «Я здесь стою и не могу иначе».

С четкостью, свойственной французским лингвистам, он восстанавливал формы этой первобытной речи, сводя их к небольшому числу первичных звуковых комплексов. Он утверждал с дерзостью, что существующие типы языков следует рассматривать как воплощение

работы человечества на каждом этапе его развития. Корневая, агглютинативная и флективная конструкции языка были в его представлении тремя хронологическими этапами на пути развития языкового сознания человечества.

Ногин не успевал записывать. Он многое не понимал, он потерялся. В аудитории было почти темно, давно пора было зажечь электричество, но он все писал и писал – и почерком все более крупным.

Драгоманов был уже с ног до головы перепачкан мелом, движения его приобрели уверенность и свободу аристократическую.

Он подводил итоги. Итоги были переполохом, суматохой в науке. Он утверждал, что никакого единого языка на заре человечества не было, что индоевропейская семья есть только один из этапов по пути от начального множества языков к языку единому.

Преодолевая сумерки, превращаясь в летучую мышь, он нарисовал на доске пирамиду. Он объяснил, что от широкого основания, содержащего бесчисленные зародыши языков, человеческая речь стремится, проходя через ряд типологических трансформаций, к вершине – к единству языков всего мира. Он рядом изобразил индоевропейскую теорию с ее единым языком в виде пирамиды, поставленной на вершину основанием вверх.

Но он не окончил. Что-то произошло. Смутное движение пробежало по аудитории. Ногин оторвал карандаш от бумаги и оглянулся.

Никто не произносил ни слова, только чей-то тонкий кашель прокатился на задних партах и смолк.

Драгоманов стоял перед доской, задумавшись, мучительно сдвинув брови. Он молчал. От резкого движения, которым он пытался заменить неоконченное слово, шинель его распахнулась. Погасшими глазами он водил по стенам, напрасно стараясь вспомнить, о чем говорил, зачем стоит здесь с мелом в руках перед растерявшейся, растаявшей в сумерках аудиторией...

13

Ночью он проснулся и, досадливо морщась, выпростал из-под одеяла руку. Шорох его разбудил, шорох и крысиный писк. Он достал папиросы. Спичек не было. Он сел на кровать. Хотелось курить, рот был полон слюной, перед глазами вертелись цветные кольца, которые (он это прекрасно знал) исчезали от табачного дыма. Но спичек не было.

Он встал и, гадливо почесываясь, пошел к выключателю. Протянув руку, он вспомнил, что свет в общежитии был выключен. Что-то чинили. Стало быть, что же? До утра не курить?

Он опрокинул стул, сдернул с окна простыню. За окном лежал университетский сад и черный снег. В снегу угадывались голые клены. В комнате не стало светлее.

Он нервно сдавил папиросу зубами, вернулся на кровать. Нельзя было не курить, эти цветные кольца уже давили ему на глаза, росли, вытягивались спиральями.

Он дрожал, сидя на своих ладонях, грызя папиросу, приходя в отчаяние. Но ведь должны же они где-нибудь лежать, эти проклятые спички!

Он тяжело перебрал ноги по ту сторону кровати и наугад сунул руку куда-то в «где-нибудь», в черное пространство между стеной и подушкой.

Крысиный писк ошеломил его, он наткнулся рукой на крысу. И вдруг его качнуло от ярости. Он сдернул подушку и с силой бросил ее туда, откуда шел писк, где жрала его картошку крыса. Мягкий клубок метнулся по кровати, он упал на него грудью, сдавил его, смял в пальцах. Спичек не было, не было, не было...

Он душил крысу пальцами. Она визжала и царапалась. Он не чувствовал боли. Писк ее перешел наконец в крик, почти человеческий, она просила о помощи, умоляла о пощаде. Обои гнулись и коробились, перевернутое дно падало на ее голову. Она умирала...

Через несколько минут он нашел спички под подушкой. Ругая себя неврастеником, он осмотрел руки. Руки были исцарапаны, искусаны. Кровь черными пятнами лежала на простыне и одеяле...

14

– Вот тут последнее время говорят, что с христианством или вообще с религией нужно бороться. Искоренять! Ну, этого я не знаю. Может быть, и нужно. Вероятно, нужно. Я только в одном несомнительнейшим образом уверен: прежде чем его искоренять, христианство, его насаждать следует. Вот мой сын Александр... архитектор. Малоспособный, в сущности, человек, хотя я его последнюю книжку об этих, как их... кажется, футуристах, – прочел с удовольствием. Так вот, приезжает он как-то в деревню. Ну, по дороге на него что-то волки, если не ошибаюсь, напали. Он, понятно, отбивался, даже стрелял как будто или горящие сучья бросал. Ему, как человеку с воображением, все это интересно было. Приехал он, таким образом, в деревню, – а в деревне переполох – свадьбу ждут, где-то по дороге из города свадьба застряла. Рассказал он про волков – и вот, видите ли, плач в народе поднялся невообразимый. Прямо стон пошел по деревне. Он сперва ничего понять не мог, потом ему разъяснили. Вся деревня, видите ли, решила, что это новобрачные в волков превратились. Так это ж именно и есть язычество! Вот я и говорю – сперва нужно насаждать в деревнях христианство, а уж потом с ним бороться... Потом уж и искоренять!

Ложкин, съевшийся, маленький, потонувший в шубе, сидел за овальным зеленым, почти игорным столом в зале заседаний Научно-исследовательского института. В зале было холодно, он грел руки дыханием, рассеянно смотрел на портрет Веселовского, висевший над приземистым книжным шкафом, и слушал речи Вязлова о язычестве и христианстве.

Напротив него сидел одноглазый гном, исследователь японской литературы, бог весть почему явившийся на собрание, посвященное Гоголю с этнографической точки зрения. Гном саркастически улыбался, слушая речи Вязлова. Он, очевидно, понимал, что дело не в борьбе между язычеством и христианством.

«Дело не в борьбе между язычеством и христианством, – смутно подумал Ложкин, – тогда в чем же, собственно говоря, дело?»

Профессор Жаравов вмешался в разговор о христианстве. Нервно примаргивая одним глазом, он тронул Вязлова за рукав и быстро откинулся на спинку стула.

– Вот, кстати, об искоренении, – сказал он, – знаете ли вы, дорогой Иван Ильич, кого сейчас в Петербурге обвиняют преимущественно в искоренении религии?.. Меня.

Дергая глазом, он посмотрел на улыбающееся лицо и сам усмехнулся с ехидством.

– Не смеюсь, не смеюсь! Меня! Случилось мне, знаете ли, с год назад устроить на службу в Академию наук одного молодого человека. За него просил, если не ошибаюсь, милейший наш Константин Алексеевич, которому он приходился каким-то отдаленным родственником.

Он поискал отсутствующего Константина Алексеевича и очень живо изобразил его рукой и движением бровей.

– На днях сей молодой человек – я его, признаться, даже и не узнал при встрече – является ко мне. Держится он... я бы сказал – покровительственно. Ну да это бы еще куда ни шло! Но с первых же слов начинает он меня укорять... За что, как вы думаете? За то, видите ли, что я в своих книгах о первых веках христианства оправдываю еретиков и таким образом подрываю основы религии. «Вы, говорит, тем самым вступаете в теснейшую связь с большевиками!»

Все рассмеялись, даже одноглазый гном. Профессора Жаравова меньше всего можно было упрекнуть за связь с большевиками. Всем было отлично известно, что он даже на новую орфографию не сдавался. Собственно, настоящая слава его началась с какой-то юбилейной статьи, в которой, желая подчеркнуть свое несогласие с реформой правописания, он не упо-

требил ни одного слова, писавшегося ранее через «и краткое» или «ять». Да, он не был ни в чем замешан! Связь с большевиками? О, это было смешно, конечно! Все смеялись.

Только Ложкин, уйдя в шубу, как в монастырь, беспомощно поводил по сторонам детскими глазами. Он очень хорошо знал, что разговор шел не об искоренении религии. Искоренение религии – это был эвфемизм.

Он встретил взгляд Вязлова, в котором почудилось ему легкое сожаление, и с внезапной неприязнью принялся копаться в своем портфеле. Он чувствовал себя одиноким, затерянным, усталым.

Когда начался доклад, он учинил суровый допрос над самим собой.

«Почему ты сидишь здесь, вот за этим столом, что ты здесь делаешь, Степан Степанович?» – спросил он самого себя строго.

«Я нахожусь в Исследовательском институте, тут доклад читают, а я вот слушаю», – отвечал он самому себе мысленно и смиренно.

«Эти люди, с которыми ты знаком десять, двадцать, тридцать лет, – они занимаются той же наукой, что и ты? Ты любишь их? Что ты о них знаешь?»

«Да, да, они занимаются той же наукой, что и я. Я знаю о них... А в самом деле, что я знаю, ну хотя бы вот об этом человеке? – едва ли что не вслух спросил самого себя Ложкин, испуганно глядя на приbedнявшегося, похожего на дьячка профессора-слависта. – Я знаю о нем... что прусская Академия наук обвиняла его в плагиате... что русская Академия наук, обидевшись на прусскую, избрала его действительным членом. Что еще?.. Ах да! Обвиненный в плагиате, перепуганный, он каждую лекцию начинал со слов: „Конечно, я звезд с неба не хватаю...“ Еще? Плохо живет с женой. Еще?.. Как, больше ничего? Но ведь он же, кажется, мой университетский товарищ?»

Так он перебрал всех, одного за другим. Он никого из них не любил. У него не было среди них друзей. Он был чужим среди них. Но зато о каждом он знал по два, по три анекдота.

15

Едва начался доклад, как все уже спали. Все!

Даже те, которые еще красили усы и считали себя молодыми. Как будто сонный ветер качивал над круглым столом эти седые, полуседые и лысые головы. Гном, закрыв единственный глаз, откровенно храпел носом. Вязлов тихо дремал, опершись кулаками на палку, подбородком опершись в кулаки. Жаравов, как нищий, мотался над столом, мощно сопя, шлепая губами. Рыхлый, похожий на бабку незнакомый старик-хохотун беззаботно улыбался во сне и чмокал губами воздух.

И только Ложкину не спалось. Он невольно прослушал часть доклада. Заслуженный, но растерявшийся историк русской литературы с наигранной уверенностью убеждал, что все гоголевские типы делятся на небокоптителей чувствительных, небокоптителей рассудительных, небокоптителей активных и небокоптителей комбинированных.

Его официальный оппонент, бывший учитель гимназии, избранный в Исследовательский институт как дальний родственник одного из секретарей, смотрел на него, идиотически открыв рот, свалив голову набок.

Ложкин бесшумно собрал книги, застегнул портфель и покинул лекторию. Он бы, пожалуй, не потерял времени даром и на заседании. Но самого нужного списка повести, которой он занимался, не было под руками.

А сбежать домой он никак не мог. После доклада должна была обсуждаться кандидатура одного из его учеников. Он постоянно устраивал своих учеников – от первого студенческого реферата до диссертации они были окружены его хлопотами, заботами и указаниями.

Он примостился в какой-то каморке. Здесь обычно сидела сердитая сторожиха со своими ключами. Сторожиhi не было – ну и бог с ней! Но вот не было также и самого нужного списка – «Повести о Вавилонском царстве».

Он, впрочем, не сомневался, что конъектура верна. Тихонравов ошибся, Жданов предлагал неверное чтение. Загадочное имя Малкатшка, Малкатошва, которое сбило с толку редактора румянцевской Палеи, было, несомненно, древнееврейским Malkat-švo, что значило по-русски – царица Савская. Весь процесс подмены был ему совершенно ясен. Он не мог представить себе это имя в греческой транскрипции! Да, несомненно, источником загадочной повести был какой-то древнееврейский текст, два слова из которого остались не переведенными на русский. Два ли? Насчет второго он был еще не вполне уверен – одного списка, и самого нужного, не хватало.

Сегодня вечером он проверит свою догадку, завтра он переговорит с гебраистом, а через две-три недели он, вероятно, будет читать о своем открытии в Обществе древней письменности на Фонтанке. И снова седые головы, клонимые сном, но как бы клонимые ветром, будут рассказываться над столом и дремать, краешком уха слушая историю текста древнерусской «Повести о Вавилонском царстве».

«И обручи за себя царевну, дочь перского цря, и повеле ей внити въ полату стекляную. А самъ седе на црскомъ месте стекляномъ. И црца къ нему въниде въ полату стекляную и видевь црца мость і показася ей вада. И опадоша оу црци порты ея. Црь же видевь тело ея. И пусти огонь въ полате. И подпали нижная ея власы...»

А проснувшись, будут возражать, и, должно быть, очень дельно. «Повесть о Вавилонском царстве», ого! Кому из них неизвестна литература вопроса?

Вздыхнув, он открыл портфель и разложил книги. Прекрасно сохранившийся, но поздний текст Синодального списка привлек его внимание. Он заново принялся читать его, стараясь не слушать доклада о небокопителях, который, медлительно журча, струился где-то за стеной, как журчит и струится медлительная ночная вода в постаревших водопроводных трубах.

Но когда он встал, найдя в изученном тексте десятки мелочей, подтверждавших его догадку, за стеной уже ничего не было слышно.

Он сунул книги в портфель и торопливо прошел в зал заседаний. Зал был темен и гол, окна, тусклые, как слюда, светились от снега или от фонарей на набережной. Стулья, еще хранившие движенье вставших из-за стола людей, были отодвинуты от стола в беспорядке.

Очевидно, заседание уже окончилось.

Ложкин растерянно шагнул назад и, стараясь не стучать, притворил за собой тяжелую дверь.

Что за досада, как же могло случиться? Зачитался, забыл, проморгал и доклад... Да бог с ним, с докладом! Но кандидатуру! Ну, как его провалили?

Подсчитывая в уме всех, кто мог бы голосовать против его ученика, откладывая голоса на пальцах, он спустился вниз, в катакомбы, занятые нижней канцелярией.

Он наткнулся в темноте на мусорный ящик и в рассеянности извинился перед ним. Тусклая лампочка горела над часами. Он взглянул на часы и ужаснулся! Сколько же времени, однако, просидел он в каморке сторожихи над Синодальным списком? И где она, эта злосчастная старуха, – никого нет вокруг, а входные двери заперты на ключ. В продолжение двух-трех минут он безуспешно, но с грохотом сотрясал их...

Старуха сидела по вечерам вот на этой лавочке, рядом с прозекторской. Она сидела без всякой нужды на этой лавочке десятки лет и вот теперь, в самую нужную минуту, пропала. Должно быть, шатается где-нибудь по аудиториям! Или – хуже того – ушла домой и унесла ключ с собой. Еще заночевать тут придется, пожалуй. Но, может быть... А в самом деле, может быть, двери Восточного факультета еще открыты!

Когда он возвращался, катакомбы нижней канцелярии, казалось бы изученные еще в студенческие времена, показались ему до странности незнакомыми. Откуда взялись все эти ниши, и закоулки, и низкие своды, едва ли что не поросшие мхом? Не те места, чужое здание, в самом деле, какие-то двенадцать петровских коллегий.

Ворча что-то, он спустился из коридора по лестнице Восточного факультета. Да что ж это такое, в самом деле! И эти двери были закрыты.

Тихий, маленький, волоча шубу, он вернулся в коридор и прикорнул, грея руки о полуостывшие трубы парового отопления.

Он сидел напротив пятой аудитории. Пятая, да, да, он помнит ее... Здесь читал когда-то... Здесь читал когда-то покойный...

И вдруг он решил, что его закрыли нарочно. Над ним выкинули фортель. Над ним сыграли дурную шутку. Завтра всем будет известно, что он, поджавшись, как петух на шестке, провел целую ночь в пустом университетском здании. Выдумают, что ночевал под партой, выжил из ума, не нашел другого места! Будут ругать прозектора, сторожиху, выражать сочувствие, а втихомолку смеяться, смеяться и смеяться.

Взъерошенный, нахохлившийся, размахивая портфелем, и точно похожий на старого, облезлого, взбешенного петуха, он вскочил и вприпрыжку полетел по коридору. Но тут же и успокоился. Пустое, кому бы в голову пришло сыграть с ним такую штуку? Кто мог бы предугадать, что, не замеченный никем, он до поздней ночи засидится в каморке сторожихи над Синодальным списком? Да у него и врагов-то нет, если не считать... И он тотчас же насчитал врагов с десяток.

Гулкий стук шагов раздражал его. Или, быть может, пугал, – он в этом сам себе не хотел признаваться. Он сел. Он сел напротив одиннадцатой аудитории. Одиннадцатая, да, да, он ее помнит, это та, что с мемориальной доской... Здесь читал... Здесь читал покойный...

Он туманными глазами посмотрел вдоль коридора. Коридор уходил в пространство, в боязнь пространства.

Носовым платком профессор долго протирал стекла пенсне. Боязнь пространства... Он, помнится, страдал этой болезнью – в гимназии, в детстве

Раздумье на него напало. Этот пустой, ночной, незнакомый университет внезапно причудился ему разоренной страной... Это был плацдарм, на котором только что кончилась глухая война, проигранная его, профессора Ложкина, поколением. Да, его поколение проиграло войну и отступило – с потерями, которых не перечесть, с непоправимыми потерями одиночества, старости и смерти. И предательства! Неудачники их предавали ради карьеры. Перебежчики, которые дорвались наконец до рублевого места.

Что же касается его, профессора Ложкина, так он просто за ненадобностью брошен в этой разоренной стране, на пустом и гулком пространстве плацдарма. Он проиграл войну. Кому нужны теперь все эти повести о Мамаевом побоище и Вавилонском царстве? Да, он проиграл войну. Он потерялся. Его потеряли.

Заложив руки за спину, он долго стоял перед книжным шкафом, разбирая названия книг на почерневших корешках.

– «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви», – прочел он вслух и хмуро пожевал губами.

Не-ет, он совсем не тут стоял, этот словарь... Болховитиновский словарь? Он не тут стоял. Тут всегда, помнится, сборники отделения, сборники русского отделения стояли.

Махнув рукой, он прошел дальше. Ничего особенного, он мог бы уснуть и сидя. Но ведь не заснул же он на докладе, когда все, решительно все спали. Ну вот ему и сейчас не спится.

Он добрался наконец до того места университетского коридора, которое никогда не любил. Которое он тридцать лет не любит. Коридор был неодинаков для него. Это место при-

надлежало, кажется, физическому кабинету. Или, вернее, скелету физического кабинета. Скелет болваном торчал в окне. А, бог с ним...

Крякнув, профессор повернулся и пошел обратно, по направлению к библиотеке.

Тридцать лет... Э-хе-хе! Тридцать лет тому назад он был приват-доцентом. Больше всего он боялся, тридцать лет назад, наврать название или перепутать дату. Тогда не наврал... А теперь случается, что и врет. Ничего особенного, случается, что и врет дату!

Мутный свет геометрическим рисунком ложился на квадратики паркета. Пожалуй, он не пойдет вниз, в канцелярию, чтобы посмотреть на часы. До утра еще много времени, он еще успеет. Смотреть на часы – ведь это единственно и остается ему нынешней ночью делать. Не стоит повторять это развлечение слишком часто. О чем он думал?..

Он снова устроился возле парового отопления, подперев голову руками.

Нет, поздно гнаться за второй молодостью, если первая убита на... на науку? Кажется, на науку!

В полузакрытых, почти уснувших глазах его мелькнула и задержалась на мгновение в сознании полукоткрытая дверь одиннадцатой аудитории. Он некоторое время смотрел на нее, соображая. Потом сон прошел.

Очень бледный, с торчащими ушами, совершенным японцем, он вскочил со скамейки, забыв на ней портфель и шляпу. Аудитория была, разумеется, пуста. На него пахнуло пылью, мутный утренний свет лежал между исчерканных парт. Он приостановился в дверях и слегка кивнул головой. Это можно было, пожалуй, счесть поклоном. Он поклонился. Он вел себя так, как если бы в аудитории его поджидали студенты. Как в гипнотическом сне, он поднялся на кафедру и, слегка согнувшись, медленно опустился на стул.

Нет, никогда еще, ни даже во время первых лекций, не билось сердце так сильно, как оно бьется сейчас, перед этой пустой аудиторией.

Но вот о чем же читать? Об одиночестве? О старости? О чем же все-таки, кроме истории текста «Повести о Вавилонском царстве»?

Он туманными глазами посмотрел перед собой на сонные, пыльные, исчерканные парты. Потом на мемориальную доску: «Здесь читал адъюнкт-профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский».

– Так вот не сдаюсь же, – сказал он упрямо и, потирая пальцами лоб, повторил еще раз, немного громче: – Не сдаюсь!

Скандалист

1

Заколдованный круг между архивными шкафами был разорван. Кекчев был произведен в редактора.

Граница шума, производимого Халдеем Халдеевичем, осталась позади. Сам Халдей Халдеевич вдруг стал чрезвычайно маленьким, чрезвычайно сверхштатным человеком, которому можно было делать выговоры, которого можно было не замечать.

Но, разрастаясь, Кекчев-младший стал удивительным образом напоминать своего отца. Подражая Кекчеву-старшему, он начал курить трубку. Он научился пустыми глазами смотреть на человека, который был ему не нужен. Он спускался по лестнице, неся впереди себя живот, который был еще сравнительно невелик, но уже отлично нырял в двери. Так нырял в двери только один живот во всем Ленинграде – без сомнения, тот самый, который придавал такой добродушный, маститый и даже ласковый вид Константину Ивановичу Кекчеву-старшему. Но вместе с тем он был как-то мельче отца. Настоящего размаха у него не было. Он был честолюбивее, быть может – самонадеяннее, но мельче. Он слишком спокойно рос, чтобы рисковать своим благополучием.

Самым важным последствием назначения было то, что редакторские обязанности привели его на шестой этаж.

К шестому этажу в издательстве было двойственное или даже тройственное отношение. Второй, третий и пятый относились к нему по-разному. О нем ходили сомнительные слухи. Его называли этажом разговорных комнат.

Это был почти клуб. Это был почти деловой клуб. Для того чтобы он стал литературным, не хватало сравнительно немного – самой литературы.

Писатели не переводились в этом клубе. Они назначали в нем свидания – деловые, любовные, литературные, они рассказывали о своих замыслах, плакались на безденежье, разъясняли руководителям шестого этажа свою философию, политику, идеологию. Эти разговоры они прерывали только для того, чтобы спуститься вниз, в кассу.

Они становились в очередь. Лысый кассир, похожий на Тараса Бульбу, просовывал в окошечко ордера. Он был равнодушен, лысый кассир. Он даже и не подозревал, разумеется, что никогда еще литература не стояла так близко к кассе. Она проходила перед кассой и говорила вполголоса.

Но, поднявшись на шестой этаж, в клуб деловой, почти литературный, она находила новые слова. Прогулки вниз, в кассу, освежающим образом действовали на ее философию, политику и идеологию.

Кекчев и раньше терся среди писателей. Еще студентом ему случалось встречаться с ними на вечерах новогодних, литературных, юбилейных. Он пил на этих вечерах со всей старательностью первокурсника, который твердо решил испытать все преимущества молодости. Если после третьей рюмки его не рвало, он клал еще молодую, но уже сластолюбивую руку на колено своей соседки.

Писателей он и тогда не любил. Но теперь, по служебным соображениям, очень высоко ценил свое знакомство с ними. Он понимал, что издательство жило борьбой за работу, которую отбирала Москва. Москва – огромная, деловая, казавшаяся безошибочной – стояла над издательством и сомневалась в целесообразности его существования. Она выглядела победительницей – и, стало быть, ее нельзя было судить. Она суровой рукой уменьшала сметы, сокращала штаты. Скептическое дыхание ее лежало на каждом проекте.

Для того чтобы жить, нужно было повертывать работу казовой стороной – именно поэтому в издательстве больше всего ценились люди, располагавшие личными связями с писателями, умевшие по-деловому использовать эти связи.

Но однажды Кекчееву случилось быть свидетелем происшествия, которое чуть ли не обернуло вверх ногами все его размышления о писателях как казовой стороне издательского дела.

2

По комнате из угла в угол расхаживал, драматически взмахивая руками, писатель Роберт Тюфин. Кекчеев тотчас узнал его – по великолепным глазам, по шубе, с великолепной небрежностью брошенной на широкие плечи.

Тюфин был сухощав, широкоплеч, размашист. Имя его как нельзя лучше к нему подходило. С одной стороны, он был именно Робертом, даже Робертом-Дьяволом, с ораторским пафосом, с актерскими движениями и с рассказами, шикарными, как кинематограф, с другой – Тюфиным, стало быть, человеком сердечным и нечиновным.

Дни, когда он ходил Робертом-Дьяволом, были тяжелыми днями для его жены, друзей и издателей. Он ходил слегка согбенный, как бы под тяжестью наследства, завещанного ему всей русской литературой, говорил какие-то высокие, но абстрактные слова и начинал покровительствовать прохвостам.

Просто Тюфиным он был приятнее, тоньше и умнее. Поэтическая шевелюра его, когда он был просто Тюфиным, выглядела дьячковской.

В кресле у письменного стола торчал, съездившись, старый стриженный и седой усач. Усач с наслаждением чесался. Он был пьян. Он засыпал – и, проснувшись, со свистом выпускал воздух на краснощекого редактора-здоровяка, который сидел за столом в иронической позе.

У окна, заложив руку за борт пальто, гордо вскинув голову, стоял известный не только Кекчееву поэт с надменным выражением лица. Он не слушал Тюфина, но на усача смотрел свысока. Очевидно, само поведение усача – то, что чесался и засыпал, – казалось ему оскорбительным.

– Ли-те-ра-ту-ра! Что такое, ты думаешь, литература? – значительно округляя глаза, говорил Тюфин. Он обращался к редактору, который, слушая его, хладнокровнейшим образом копался в принесенной Кекчеевым корректуре.

– Литература – это организм! Все, что я написал, – органично! Эпоха!

Здоровяк поправил пенсне и саркастически улыбнулся.

– Именно органично! – с твердостью повторил Тюфин. – Если я, скажем, пишу сейчас роман... Так ведь это ж вместе с тем организм! Ты посмотри! Каждая страница – душа! Ты можешь вообразить, что у меня черт-те где, в Киевской губернии живет мужик, знакомый мужик. Можешь?

– Воображаю, – бесплодно иронизируя, сказал здоровяк.

– Так вот этот самый мужик для меня – эпоха. Милый мой, да ведь в этом же и есть вся мощь литературы, – добавил он, внезапно смягчаясь, – да ты же врешь, ты меня понимаешь! Раньше я просто так себе писал, ей-богу, многое из одной гордости не печатал. А теперь нет – шалишь! Теперь я каждую строчку! Все! Все обязан печатать! Потому что я сам себе не принадлежу. Кому же я принадлежу? Эпохе!

– Хороший, хороший! – одобрительно сказал усач, напрасно стараясь подтащить Тюфина к себе поближе. – Хорошая душа! Настоящая, русская! Всем хорош! Одно плохо – историю не знает. Голову на отсечение – не знает! А я вот знаю. Я историю знаю, хорошо знаю. Ух! Хорошо!

Кекчеев, окончив пересмотр корректур, положил их на стол здоровяку и направился к двери. Дольше оставаться было неудобно – он покидал эту комнату с ужасным сожалением. На пороге он столкнулся с новым писателем, высоким, с выкаченной грудью и лопатообразной бородой.

Уже за дверью он слышал, как усач встретил вошедшего:

– Те-те-те, государю русской литературы наше вам рупь с гандибобером почтение! Что ж ты, фрыга заморская, не пришел ко мне вчера водку пить? Что ж ты, хомяк ты этакий, старых приятелей забываешь? Что ж ты...

3

Не было никаких оснований предполагать, что наперерез и наперекор Неве и туману лежит земля. С тех пор как Ногин, держась за гриву льва, спустился на лед, он почувствовал себя вырванным из города, из времени и пространства. В этот час между мостами Равенства и Лейтенанта Шмидта господствовал мир идей. Идеи дымились паром на устах Драгоманова. Он шел по узкой дорожке, усеянной жесткими крупинками снега, и говорил об ассимиляции гласных. Просохшая полоса льда исчезала за его спиной, впереди, подобная негативу, появлялась другая. Налево и направо, быть может – до самого порта, непрерывный, скучный, непохожий на вату, шел санкт-петербургский, петроградский, ленинградский туман.

«...Нет ни малейшей уверенности в том, – снова подумалось Ногину, – что этот разговор происходит в России, в Союзе республик, в тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Быть может, это шествие через Неву, вечернее действие между ним и Драгомановым происходит в другое время и другая, особенная, университетская земля девятнадцатого века лежит за границами тумана».

И ему представилось, как блестящий арабист, профессор Сенковский, молодой и важничаящий, пересекает пушкинскую Неву, пряча изрытое оспой саркастическое лицо в меховой воротник шинели. О Сенковском он вспомнил, разумеется, не случайно. Уже второй год он читал о нем, не решаясь все еще приступить к самостоятельной работе.

– ... что вся эта музыка выросла из подсчета звуковых повторов, основанных на сочетании согласных, – услышал он вдруг и понял, что не слушает, не понимает, о чем бубнит, размахивая длинной рукой, Драгоманов.

– Борис Павлович, да ведь для этой работы он должен был хоть Вандриеса прочесть, – наугад возразил он.

По счастью, Драгоманов его не расслышал, Вандриес был тут решительно ни при чем.

– Между тем и без всяких подсчетов ясно, что такие сочетания будут преобладать. – Драгоманов приостановился и вдруг далеко вперед закинул хромую ногу. – Стоит только в уме прикинуть, каково количественное соотношение гласных и согласных в разговорном языке, ну, скажем, во фразе: «Брук, Брук, где была твоя голова, когда ты подсчитывал звуковые повторы?»

Женщина в мохнатой тужурке и длинноухой шапке неожиданно приблизилась и исчезла за спиной, за туманом.

Ногин улыбнулся, чувствуя, как складывается на лице просохшая, морозная кожа. Он улыбался не этой женщине, другой. «Я знаю, что могла бы сделаться кем-нибудь, но куда прикажете деваться со своими юбками?» – припомнилось ему. Они говорили о живописи. В этот вечер он ее увидел впервые.

– Да, это очень забавно, – наугад подтвердил он и спустя несколько минут, поддерживая Драгоманова на оледеневшем подъеме набережной, с удивлением убедился, что его спутник давно уже развивает перед ним целую философию циркового искусства.

– Наступит время, – хладнокровно говорил Драгоманов, – когда к поэтам и философам будут ездить ночами на тройках, как к цыганам. Они будут ходить таборами, загрызут друг друга от зависти и вымрут. Тогда циркачи, здоровые, веселые и тупые, возьмут власть в свои руки и покажут, что такое настоящее искусство площадей, набережных и проспектов. Это будет республика циркачей, на манер платоновского государства ученых. Укажите мне другое искусство, которое на протяжении веков с такой тщательностью соблюдало бы принцип естественного отбора. Голый человек натягивает канат и, цинически улыбаясь, ходит под облаками. Ни один поэт в мире не подвергался такой опасности, чтобы показать свое искусство, и ни один не был так близок к небу.

Ногин понять не мог – шутит он или говорит серьезно. Он, очевидно, шутил. Впрочем, в его любовании циркачами чувствовалась зависть хромого.

Они возвращались от одного из бесчисленных приятелей Драгоманова, какого-то циркача, который называл себя Кайиро Сато. Он не был японцем. У него было настоящее русское имя, простое, как табачный дым.

Они прошли в университетский двор, сторожевая шуба, в которой затерялся крошечный седой человек, подозрительно поглядела им вслед из похороненной под снегом будки.

Ногин начал прощаться. Драгоманов коротко спросил: «А чаю?» – и, не дожидаясь ответа, прошел дальше. У ректорского домика он остановился и попытался, должно быть без всякой нужды, прочесть какое-то объявление, наклеенное на входных дверях. Ногин зажег спичку, прикрыл огонек ладонями. Друзья и знакомые покойного профессора Ершова извещали о времени и месте панихиды. Драгоманов взглянул на объявление и равнодушно махнул рукой.

– Знаю, читал, – скучно пробормотал он.

Неуклюжее ночное здание в университетском дворе, носившее странное название «Jeu de raume»³, встало им поперек дороги. Они прошли под воротами, во второй двор, к университетскому общежитию.

Ногин открыл дверь и приостановился, пропуская вперед Драгоманова. Драгоманов пролез в двери, тотчас же обернулся и с деревянным выражением лица протянул ему руку. Он как будто только и дожидался удобной минуты, чтобы избавиться от своего ученика. Ни о каком чае он не вспоминал больше.

Торопливо и даже грубо отняв свою руку от Ногина, он прихлопнул за ним дверь и, оставшись в темноте, начал подниматься по лестнице – по-солдатски топая хромой ногой и по-женски скользя здоровой.

Невзирая на поздний час, он пел довольным басом французскую песенку.

Язвительная вонь общежития обступила его, когда он добрался до своей комнаты, помещавшейся неподалеку от кухни. В комнате был свет. Он сморщился – и в уме примерно перебрал тех, кого ожидал встретить. В лучшем случае это мог быть один из кредиторов, он охотно брал в долг даже у полужнакомых людей, в худшем – вернулась жена. Должно быть, последнее предположение заставило его с некоторой торопливостью отворить двери.

У стола стоял на коленях и шарил по полу руками старичок с тонким, интеллигентным до гадости лицом. Не поднимаясь с колен, он беспомощно вылупил на Драгоманова голубые испуганные глаза. Этот человек не походил на настойчивого кредитора, который, несмотря на поздний вечер, мог бы явиться к должнику за получением денег. Тем менее мог он напоминать драгомановскую жену.

Он был растерян и несчастен.

Драгоманов улыбнулся, поклонился и сел на кровать. Голубые беспомощные глаза и седая академическая борода его восхищали.

³ Игра в мяч (*фр.*).

– Ложкин, – сердито пробормотал старичок и наугад протянул руку. – Не понимаю, понять не могу, каким образом потерял пенсне. Как будто разбилось, очень звякнуло. Впрочем, надеюсь, что одно стекло еще цело.

– Позвольте, я вам помогу, – серьезно отвечал Драгоманов. Он взял старый зонтик и принялся шарить им под столом. Куча картофельной шелухи, селедочных головок и еще какой-то дряни вылезла на середину комнаты. Ложкин, не понимая, потрогал ее ногой. Драгоманов сконфузился и сердито запихал кучу обратно.

Теперь только он заметил, что постель его не прибрана, на столе вместе с рукописями валяются ошметки хлеба, на лампочке висит дырявый носок; окно завешено грязной простыней. Он поднялся с колен и мрачно посмотрел на Ложкина. Профессор, обратившийся в невинное голубоглазое дитя с академической бородкой, чуть ли не готовое при первой оказии заплакать, тщетно старался засунуть под кровать кочергу.

Драгоманов успокоился и вскоре нашел пенсне, лежавшее, как это всегда бывает с потерянными предметами, на самом видном месте.

– Нашли? – с просветлевшим лицом спросил Ложкин.

Драгоманов задумчиво посмотрел на пенсне и вдруг сунул его под газету, валявшуюся на окне. К чему могло это послужить, он и сам не знал. Минуту назад ему даже в голову не приходило шалить так странно со своим почтенным посетителем. Впрочем, это была мрачная шалость. Он устал, ему спать хотелось.

– Нету, – отвечал он решительно, – не нашел. Да вы присядьте, Степан Степанович. Оно найдется. Не провалилось же оно в самом деле сквозь землю.

Ложкин ошупью сел.

– Нет, видите ли, очень трудно разговаривать без пенсне, – грустно сказал он. – Вы меня знаете?

– Имел величайшее удовольствие слушать ваши лекции на втором и третьем курсе нашего университета, – с непринужденной, аристократической вежливостью отвечал Драгоманов.

– Я тоже много слышал о вас, Борис Павлович. Очень много... Я, может быть, вам мешаю? Кажется, уже поздно, вы, вероятно, уже спать собрались?

– Ну, какое там спать. Я ложусь в четвертом, пятом часу.

– Странное дело, – торопливо пробормотал Ложкин и внезапно покраснел, робкий, пористый румянец проступил на его лице, – собираясь к вам, я отлично знал, о чем намеревался с вами поговорить, а вот теперь все как-то перепуталось, не знаю, с чего начать.

Драгоманов смотрел на него с тайным удовольствием, в котором он сам себе не желал признаваться: ординарный профессор краснел перед ним, краснел и терялся. Это было забавно. Это значило, что бунт – небольшой, университетский, карманный – удался, окончился его победой. Он бунтовал грязной комнатой, дружбой с мошенниками, скандалами на ученых собраниях.

Впрочем, Ложкин тут же оправился. С достоинством поджимая губы, с нарочитым вниманием глядя мимо Драгоманова.

– Не подумайте, Борис Павлович, – сказал он, – что я пришел к вам с тем, чтобы просить о каком-нибудь одолжении. Я пришел хоть и по личному почину, но намерен говорить с вами как старейший член корпорации, к которой и сами вы принадлежите.

Драгоманов порылся в карманах пиджака и, равнодушно улыбаясь, протянул профессору папиросы. Папиросы были плохие, третьего сорта.

– Я вас слушаю, – ответил он очень серьезно. – Хотя не вполне уясняю себе, что вы понимаете под этим словом. Ну, какая же корпорация? Университет?

Ложкин встал и, натыкаясь на стулья, отдуваясь, пошел по комнате.

– Видите ли, я не думаю, что какая бы то ни было корпорация может диктовать своим членам правила поведения...

– В наше время.

– Особенно в наше время. Да и вообще я бы не хотел, чтобы вы приняли мои намерения в оскорбительном смысле. Но лично меня, меня лично все это крайне занимает...

Драгоманов придвинулся поближе к столу, поставил локоть на стопочку книг, подперев голову ладонью.

– А что именно занимает? – спросил он задумчиво и бог весть почему не расслышал ответа. Ложкин говорил о чем-то ровным и тихим, как во сне, голосом. Он вертел в пальцах карандаш и казался теперь очень взволнованным – именно таким, какими бывают люди во сне. Драгоманов сквозь сощуренные веки смотрел на него. Ему вспомнилось, как десять или двенадцать лет тому назад он, первокурсником, ежедневно встречал Ложкина выходящим из университетского подъезда – в высоком цилиндре, в легком пальто с шелковыми отворотами. Первокурсник, которому каждый профессор казался заместителем бога на земле, робко кланялся. Профессор вежливо и холодно приподнимал цилиндр. И золотое пенсне, другое, не то, что лежит на окне под газетой, как рыба чешуя, сверкало на солнце... Законченная, совершенная система шагала в ту пору по земле – в зеркальном цилиндре, в легком пальто с шелковыми отворотами.

– Вы его знали? – услышал он где-то очень близко и очнулся.

– Простите, я прослушал... кого?

– Профессора Ершова?

– А как же, обязательно знал, – устраивая второй локоть на стол, сказал Драгоманов.

– Этот человек, – с торжественностью, слегка старомодной, говорил Ложкин, – с восемнадцати лет посвятил себя науке. Жил затворником, ни с кем не видался, работал с утра до поздней ночи. В молодости был страстно влюблен в отличную, почтенную женщину – я ее лично знал – и не усомнился отдать ее другому. Отказался от друзей, не позволял себе ни малейшей прихоти. И все это в полной уверенности, что из него выйдет, благодаря подобной твердости, ученый по меньшей мере европейского масштаба. На прошлой неделе служили по нем панихиду. Ничего не вышло. И не женился, и ученым не стал. Ведь, в сущности говоря, за двадцать пять лет написал одну книгу, и та из рук вон плоха, читать невозможно.

– Он, кажется, с ума сошел? – сонным голосом спросил Драгоманов.

– Да, сошел с ума, – торопливо подтвердил Ложкин, – сошел с ума в день двадцатипятилетнего юбилея научной деятельности. Как говорят, взял лист бумаги, разделил на двадцать пять частей, стал подводить итоги и помешался.

Драгоманов с участием покачал головой.

– Я что-то не припоминаю, – задумчиво пробормотал он, – если не ошибаюсь, вы, Степан Степанович, с девяносто восьмого года в университете или с девяносто девятого?

Ложкин остановился посредине комнаты, насупился, постарел, морщинистая черная шея вылезла из воротника.

«Он похож на японца», – внезапно подумал Драгоманов.

– Что ж, вы в самом деле думаете, что я к двадцатипятилетнему юбилею должен непременно с ума сойти?

– Н-нет, не думаю, – вежливо сказал Драгоманов, – не непременно сойти с ума, почему же?..

Ложкин посмотрел на него и рассмеялся.

– Тут, видите ли, есть какая-то крупнейшая ошибка, – сказал он и снова сел, – то есть не крупнейшая, наоборот, мельчайшая, до такой степени ничтожная, что ее трудно приметить. Но ошибка, допущенная в условиях задачи, к моменту решения принимает размеры астрономические. Старый, закаменевший над рукописями славист сидит на торжественном заседании

в Академии наук и думает, что он по призванию, кажется, должен был стать репортером. Внезапно оказывается, что все – гиль, чепуха. И что самое страшное – за двадцать пять лет условия задачи забыты. . .

Он сказал еще несколько фраз и замолчал. В комнате было тихо. На мгновение ему показалось, что в комнате, кроме него, никого и не было – он один, лицом к лицу с бессмысленными предметами, потерявшими значение и очертания. Он растерянно мигнул и привстал со стула. Драгоманов спал, спрятавшись в тень, неслышно дыша, уронив голову в руки.

4

Между мостами Равенства и Лейтенанта Шмидта, снежная и ночная, под изодранной луной, лежит Нева, туман пропал, возвращенное городу пространство торжествует, светлеет, готовится к зимнему утру.

Заложив руки за спину, закинув голову, разглядывая черное небо, лоскут луны, Ногин шагает в этот час между мостами Равенства и Лейтенанта Шмидта.

День кончен. Университет, лингвистика, Драгоманов забыты до утра. Он свободен покамест, он может думать о школьных друзьях, о прошлогоднем снеге или хотя бы о женщине, которую он сегодня увидел впервые.

Ее зовут Вера Александровна. Ну и что же? Нет, ничего особенного, он просто припомнил имя.

Неподалеку от набережной он бросает в снег перчатку, проходит несколько шагов, быстро оборачивается, поднимает и, улыбаясь, подносит ее. . . Кому? Он сердито пожимает плечами. Какое мальчишество, бредни. . . Литература!

И тем не менее он предлагает кому-то руку, чтобы помочь взобраться на крутой подъем набережной. Рядом с ним никого нет, он идет один, и это выглядит, должно быть, очень забавно.

Стеснительно улыбаясь, посмеиваясь, – что ж ты, братец, влюблен? ты влюблен, Всеволод, что ли? – он скользит по накатанной мостовой мимо якорей Адмиралтейства.

Костер шатается в устье Невского проспекта, он подходит к костру, пытается закурить – замерзшими, но веселыми губами спрашивает о чем-то у милиционера. Милиционер трет рукавицей щеки, стряхивает растаявший снег с воротника шинели. И Ногин начинает смеяться – беспричинно. Он начинает болтать без конца. Он для чего-то отдает милиционеру все свои папиросы. Над ним смеются, он сам смеется над собой, он не узнает самого себя. Костер догорает, все расходятся, он догадывается наконец, что пора возвращаться домой, что ночь на исходе, что он влюблен.

Но быть может, все это мальчишество? Бредни? Литература?

5

Строго говоря, в Наличном тупике был только один дом. Бог весть какому чудаку из Откомхоза пришлось в голову прибить к его воротам фонарь с тридцать четвертым номером. Таким количеством домов Наличный не мог похвастать и в довоенное время. Равным образом и тупиком он был прозван без достаточных оснований. Революция, ненавидя тупики, приложила все усилия к тому, чтобы разбить и растащить по кирпичам дома, стоявшие поперек дороги гражданину пешеходу. Тупик был превращен в переулок. Тем не менее редкий пешеход прельщался возможностью прогуляться по этому переулку. Разве какой-нибудь подвыпивший, назло мусульманскому закону, татарин-тряпичник проходил, размахивая пустым мешком, ругаясь по-русски, да вылетающие откуда-то из-под земли беспризорные бежали за ним, бросаясь камешками, дразня его «халатом» и распевая:

Татарин-басурман
Положил кошку в карман... —

на что татарин, внезапно исполнившись желанием пожертвовать собой, молча расстегивал рубаху и подставлял коричневую грязную грудь под камешки и комочки грязи, летевшие в него градом.

По преимуществу в доме и жили тряпичники и беспризорные. Такому отбору, быть может, то содействовало, что неподалеку в пустырях были устроены, разумеется явочным порядком, мусорные свалки. Огромные кучи мусора высились окрест Наличного переуллка. Это были местные Пиренеи, тряпичники с утра до позднего вечера сидели на них, дыша горным воздухом, копаясь в мусоре крюками и палками.

Впрочем, Пиренеи эти пользовались дрянной славой. Всякий сброд и сволочь квартировали в пустырях, и даже милиция не всегда решалась напомнить кому следует о том, что, кроме Наличного переуллка, есть еще Гороховая, Шпалерная, Фонтанка.

Ногин жил в четвертом этаже, в разоренной, отсыревшей, запущенной квартире. Хозяин ее, полумертвый старик-татарин, лежал в огромной пустой зале, посередине всего своего жилья, и парализованными глазами следил, как расхищали его добро родичи и единовверцы. Еженедельно впадавшая в бешенство старуха ухаживала за ним. Время от времени, по ночам, Ногин просыпался от шума, грохота, бешеных криков за стеной. Старуха швырялась стульями, проклинала больного, ругалась по-татарски, по-русски и, наконец, на каком-то одном дьяволу известном языке. Нельзя было понять, чем она недовольна. Должно быть, старик раздражал ее медленностью своего умирания.

Не стараясь уснуть, Ногин долго ходил по комнате, накинув на себя одеяло, следя в темноте за красным огоньком своей папиросы. Незнакомые слова арабскими буквами отпечатывались в его мозгу, и усталость, отошедшая было за два-три часа сна, возвращалась к нему вслед за ними. Он много работал последние дни, и не только для того, чтобы заглушить горькое сознание своей отчужденности от яростного лёта событий, который в каждой газетной строке скользил перед его глазами. Со времени поступления в институт он уверил себя, что эта отчужденность необходима ему для самой работы.

Нет, другая, более близкая причина заставляла его, зажимая ладонями уши, сидеть над сборниками арабских документов до тех пор, покамест черная пелена не затягивала тонкие, как пчелиные лапки, неразборчивые очертания.

Он подходил тогда к окну и часами смотрел на рыжие облака, казавшиеся мусорными кучами, сменившими землю на небо.

И в конце концов настойчивая и беспощадная работа, жадное стремление поставить ногами вверх все свое языковое мышление взяло его в свои руки. Казалось, стоило только повернуть в голове какой-то рычаг – и все исчезало: и ночь на Неве, и проклятия старухи за стеной; арабское спряжение, как гигантский метроном, начинало стучать в его голосе, над квартирой татарина, над домом, над всем переулком:

Катала, Каттала, Каатала, Такаатала...

Рыжие облака проплывали мимо, ночью на Неве ему приснился какой-то детский бред, и, наконец, что из того, что он встретился с милой женщиной, которую, должно быть, никогда не увидит больше? Все это пустяки! Романтика, литература бродит в его крови и мешает заучить бесстрастную систему арабского спряжения:

Катала, Каттала, Каатала, Такаатала...

Он ринулся в грамматику с головой, учил слова, часами рвал себе горло на гортанных звуках. Профессор, у которого он работал, молодой и педантичный, начал ему улыбаться, две перезрелые девицы – его соседки по курсу, служившие некогда в Русско-палестинском обществе, – начали его ненавидеть.

Только однажды, впрочем, пустой случайностью он был оторван от работы.

В этот вечер он впервые взялся за перевод из Корана. Он переводил первую суру, короткую, но исполненную яростного вдохновения. Ее надлежало разъять на грамматические формы, но он забыл об этом. Он читал ее полным голосом, позабыв о больном хозяине за стеной и о старухе, которая спала не менее чутко, чем сторожевая собака.

Он не кончил: кто-то осторожно постучал к нему в двери. Стук был тонкий, ногтем или обручальным кольцом. Ногин привстал, отодвинул стул, прислушался. Никто не мог в такой поздний час стучаться к нему; забегая вперед, он решил, что либо сверчок трещит в гулких, отклеившихся обоях, либо мыши швыряют известьку по углам.

Слегка обеспокоенный, но все же улыбаясь, он пошел отворить двери. Постучали вторично. Маленький старичок с курчавой бороденкой, в драповом пальто, в туфлях на босу ногу стоял на пороге его комнаты и жужжал. Казалось, он сам был немного испуган своей смелостью. Ногин, слишком утомленный, чтобы удивляться, молча смотрел на него.

– Никак не сумел уснуть, – пожаловался старичок и вдруг, мимо Ногина, принялся с очевидным интересом рассматривать его комнату. – Может быть, возможно ваши занятия вести шепотом или ну хоть не в полный голос. Не могу уснуть, как ни стараюсь. Уж я всех до одного школьных товарищей перебрал и дышал во всю грудь, как врачи советуют против бессонницы, ну никак! Поэтому только и решился вас обеспокоить... Извините...

– А что вы здесь делаете? – спросил его Ногин. – Как вы сюда, в эту квартиру, попали?

– Я попал сюда, в эту квартиру, в качестве комнатного жильца, – обстоятельно объяснил старичок и добавил шепотом: – Вторую неделю здесь живу, живу вторую неделю. Должно быть, по причине усиленных занятий вы меня до сих пор не успели заметить.

Он поднял голову, ухмыльнулся, заросшее кудлатое лицо его было немного похоже на морду пса.

– Неужели уже вторую неделю? – торопливо переспросил Ногин. Со стороны ему вдруг чуть ли не безумием каким-то причудилась вся эта бешеная работа взаперти над арабской грамматикой.

– Ну, так извините еще раз, – стесняясь, повторил старичок. – Еще раз извините... Я на всякий случай постучал... Может быть, ничего, если и в полный голос. Постараюсь уснуть. Спокойной ночи.

Еще раз заглянув в комнату Ногина, он повернулся и пошел прочь по коридору. Это был Халдей Халдеевич, хранитель рукописей, жужжащий канцелярист.

Но странное дело! Когда Ногин взглянул ему вслед, что-то в походке, в нескладном помахивании левой рукой, в манере закидывать голову при каждом шаге напомнило ему... Кого?

– Наоборот, вы меня извините! Это я помешал вам уснуть. Спокойной ночи! – спохватившись, крикнул он, хотя никого уже не было в коридоре, и, притворив двери, вернулся к своим занятиям. Однако же первая сура на этот раз показалась ему не в меру приподнятой, слишком литературной. Он захлопнул Коран, повернул выключатель, стал раздеваться.

Уже засыпая, он решил, что на этой неделе непременно нужно съездить в Лесной. В Лесном целой коммуной жили экономисты – его земляки и друзья. Он не был у них почти полгода.

Длинный преданный нос одного из них припомнился ему, и – впервые за все время своего отшельничества – он радостно усмехнулся.

6

Некрылов открыл глаза и мгновенно спустя снова закрыл. Глаза ни открывались, ни закрывались. Очевидно, наступало утро. Очевидно, и ему пора было наступать. Или наступить. На что наступить? Или куда наступать? Его ожидали деловые разговоры. Да, он будет наступать. Он наступит.

Только теперь он заметил, что лежит на незнакомом диване, в комнате, которую он забыл. Он ночевал у Сущевского. Сущевский был милый человек и пьяница, но плохой писатель. Кроме того, он богател – в прошлом году этой ширмы с аистом не было. «Они тут отсиживаются в своих ленинградских берлогах и богатеют, – подумалось ему. – Сущевский не должен богатеть. Если он купит еще кожаный кабинет, он совсем писать не сможет».

Утренняя немота и неразбериха лезли ему в голову. Сердитый и серый, как крот, он встал и быстро натянул брюки. На обеденном столе он нашел прислоненную к сливочнику записку: «Виктор, питайся, милый. Я вернусь к пяти. Ночью тебе звонил Драгоманов. Памятуя вчерашний опыт, я тебя будить не решился».

Отфыркиваясь, он вылил всю воду из умывальника на свое голое темя.

«Я заеду к Драгоманову часа в четыре, – решил он. – Досадно, что у него нет телефона». Он быстро съел все, что стояло на столе. Какое-то холодное мясо ему понравилось. Может быть, и ему нужно так жить – с вот такой ширмой и холодным мясом по утрам?

И он тут же решил, что, не наскандалив, не уедет из Ленинграда.

«Все дело в том, что они зазнались, – брюзжал он про себя, царапая на какой-то квитанции ответную записку Сущевскому. – Они зазнались, они до такой степени чувствуют себя великими писателями, что перестали даже завидовать друг другу. Еще завидуют, и то все реже, жены. Жены тоже нашли свое дело. Мужья уважают друг друга, а жены покупают мебель. Скоро диваны будут в чехлах, а меня будут укорять за то, что я еще не купил себе фетровую шляпу. Классики!»

И он вспомнил, что лет восемнадцать назад по Петербургу бродил оборванец, который жил исключительно на счет гимназистов. Завидя гимназиста, он становился во фронт и говорил ему: «Гдин классик! Caro, arbor, linter, cos! Гдин классик! Sic!»

И классики кормили его своими завтраками.

7

Со времени первой книги, которой исполнилось уже пятнадцать лет, его больше всего тяготило то обстоятельство, что его имя – Виктор Некрылов – выглядело плохим псевдонимом. Странное чувство, которое испытывает в минуты острого сознания человек, – когда собственная фамилия кажется незнакомой, досаждало ему постоянно.

Он наткнулся на свою фамилию. Она мешала ему работать. Ежеминутно он пробовал ее на вкус. Фамилия была псевдонимом. А псевдонимы он ненавидел.

Покамест ему удавалось легко жить. Он жил бы еще легче, если бы не возился так много с сознанием своей исторической роли. У него была эта историческая роль, но он слишком долго таскал ее за собой, в статьях, фельетонах и письмах: роль истаскалась: начинало казаться, что у него ее не было. Тем не менее он всегда был готов войти в историю, не обращая ни малейшего внимания – просят его об этом или нет.

Его нельзя было назвать фаталистом. Он умел распоряжаться своей судьбой. Но все-таки в фигуре и круглом лице его было что-то бабье. Быть может, чувствительность, унаследованная от деда – немецкого музыканта, придавала ему это сходство. В сущности говоря, он любил всплакнуть. И это были страшные минуты.

Время шло у него на поводу, биография выходила лучше, чем литература. Но литература, которая ни с кем не советуется и ни у кого не спрашивает приказаний, перестраивала его. Он жаловался в своих книгах, что жизнь отбрасывает его в сторону от настоящего дела. Он не замечал, что это было гурманством.

Он писал хорошие книги – о себе и о своих друзьях. Но друзьям он давно изменил – они оказались нужны ему только для одиночества или усталости. Он полнел, и усталость приходила все реже.

Строго говоря, у друзей осталась его легкость, его молодость. Ни молодости, ни легкости уже нельзя было вернуть, и он кое-как обходился без того и без другого. Впрочем, его еще очень любили, и все оставалось как бы по-прежнему. У всех была слабость к нему – ему многое покамест прощалось.

Когда-то вокруг него все сотрясалось, оживало, начинало ходить ходуном. Он не дорожил тогда своей беспорядочностью, вспыльчивостью, остроумием. Теперь то, и другое, и третье он ценил дороже, чем следовало. С каждым годом он все хуже понимал людей. Он терял вкус к людям. Иногда это переходило на книги.

Он был лыс, несдержан и честолюбив. Женщины сплошной тучей залегли вокруг него – по временам из-за юбок он не видел ни жены, ни солнца.

Но его литература уже приходила к концу. В сущности, он писал только о себе самом, и биографии уже не хватало. Он сам себе стоял поперек дороги. Выходов было сколько угодно. Но он малодушием считал уходить в историю или в историю литературы. От случайной пули на тридцать восьмом году он умирать не собирался.

8

У подъезда издательства он столкнулся с роскошным человеком в роскошной шубе – Робертом Тюфиным.

Некрылов обрадовался, когда узнал его. Вот кого ему с самого утра хотелось обидеть! Он даже не взял на себя труда предварить обиду какими-нибудь промежуточными словами.

– Что пишешь? – спросил он быстро. – Опять роман? Все пишут романы. Весь мир. В трех томах, в четырех, в пяти?

Тюфин серьезно посмотрел на него. Он плохо понимал шутки. Да, впрочем, здесь шуткой и не пахло.

– Хоть и не в трех томах, но все ж действительно роман пишу, – осторожно ответил он, – а что у вас, в Москве, тоже такими делами начали заниматься?

– Сколько ты мне заплатишь, если я тебе твой сюжет расскажу?

Тюфин величественно рассмеялся.

– Нет, не хочу, – говорил он, хрипя от смеха и откашливаясь, – я и сам свой сюжет отлично знаю. Ты уж брось, ей-богу, со своими сюжетами тут...

– Напрасно не хочешь! – Некрылов даже не улыбнулся. – Ты бы мог с большой выгодой для себя чем-нибудь воспользоваться.

– Что-то, Виктор, совсем перестал тебя понимать, – начиная обижаться, холодно сказал Тюфин.

– А я что-то не припомню, чтоб ты меня когда-нибудь понимал, – быстро пробормотал Некрылов, – понимаешь, в чем дело: ты и Эренбург все время пишете одно и то же. Ты не обижайся, Эренбург неплохой писатель. Тема одна и та же. Близкие люди в разных лагерях. Меняется родство. Либо отец и сын, либо мать и дочь, либо сестры. Угадал? Белый попадает к красному. В плен. Красный отпускает или не отпускает. Все равно, читать невозможно. Угадал?

Все это было, разумеется, до крайности некорректно и не к месту. Никто не вызывал его на этот разговор. Он сам не знал еще, нужно ли ему показать, что он не дорожит здешними

ленинградскими связями – дружескими, а может быть – деловыми. Но он злился. Ширма с аистом, холодное мясо, мебель – нет, он должен был все это обидеть! Он чувствовал себя хозяином, у которого в доме за время отсутствия произошли беспорядки. В Москве он не стал бы так говорить с литераторами. Там был другой тон и другие связи.

Он угадал и обидел. Тюфин говорил что-то о том, что все дело в наивности, что «Расея – мощь», что Некрылов оторвался от литературы, что он чужой человек, русский иностранец, Иван Федоров из Парижа... «Скажем, Толстой, Лев Николаевич Толстой...»

– Толстой? – перебил его, отчаянно мотая головой, Некрылов. – Не похоже. Тут не Толстой. Ты узнаешь, кто ты такой? – Он посмотрел на Тюфина веселыми и злыми глазами, голым черепом, курносым лицом.

– Ты Станюкович! Он не только морские рассказы писал. Морские – лучше. У него есть романы, в трех, четырех, пяти частях. Вот эти романы ты и пишешь. Ты почитай! Очень похоже. В теории литературы это называется конвергенцией!

9

К Драгоманову он попал не в четыре часа, как предполагал утром, а в начале восьмого. Деловые разговоры в издательстве окончились его победой. Он наступал и наступил и ушел с деньгами.

Он явился к нему все еще злой, но уже с женщиной.

Три китайца, лопоча что-то, всхрапывая, щелкая языком, как дети, уступили ему и его спутнице комнату и самого Драгоманова.

Женщина была молчаливая, светловолосая, в меховой шубке и очень хороша собой. Некрылов отрекомендовал ее Верочкой Барабановой. Драгоманов поклонился и сказал, что как-то однажды имел уже удовольствие встречаться с Верой Александровной у одного циркового артиста, Кайиро Сато.

– Да, ты ее знаешь, она славная, видишь, она какая, она рисует, – сказал Некрылов почти жалобно, отнял у нее шляпу, усадил в кресло.

– Послушай, Боря, почему ты все еще здесь живешь? – начал он быстро. – Что это такое – твои китайцы, это общежитие? Зачем тебе все это нужно? У тебя денег нет? Или тут у вас комнаты нельзя достать другой, что ли?

– А я все собираюсь к неграм банту, в Центральную Африку, – задумчиво и очень серьезно сказал Драгоманов, – так вот решил, что до отъезда не стоит уж менять комнаты. И, кроме того, почему же? Здесь очень удобно. Все под руками.

Некрылов посмотрел – шутит он или нет. Год от году драгомановские шутки оберты-вались не шутками, а биографией – и не очень веселой, как видно: комната была запущена, грязна, пол запылен папиросными окурками.

«У него нет денег, он не идет на легкий заработок», – подумал Некрылов.

– Боря, тебя очень уважают в Москве, – сказал он, нарочно забывая про Африку и отвечая своим собственным мыслям о Драгоманове, – вообще нас всех уважают. Я пишу о тебе в последней книге. О тебе была статья, читал? В «Печати и революции». Но послушай, Боря, эта комната и китайцы... Зачем тебе притворяться Робинзоном Крузо? Это тебе важно для работы?

Он уже ходил по комнате и трогал вещи. Схватив со стола рогатую подставку для перьев, он раскачивал ее, крутил, продевал в нее пальцы. Это помогало ему говорить.

– Ну если я Робинзон, так ты представитель от обезьян на необитаемом острове, – ленивым басом сказал Драгоманов.

Некрылов захохотал, и Вера Александровна улыбнулась.

– Это хорошо, – быстро сказал он, – именно представитель от обезьян. Но я ошибся, ты не Робинзон, ты скучнее. Знаешь, у Всеволода Иванова есть рассказ о купеческом сыне, который ушел в пустыню и стал отшельником. К нему начали ходить на поклонение, пустыня застроилась, вырос город. Он опять ушел, опять стали ходить на поклонение, снова пустыня застроилась, снова вырос город. Хороший способ застраивать пустоши! – перебил он самого себя, засмеявшись. – Так вот, он о тебе писал. У тебя комната образца девятнадцатого года, а кругом застроились.

Драгоманов махнул на него рукой.

– А ты все и не о том говоришь совсем, – задумчиво сказал он, – ты же сам очень плохо живешь, Витя. Я знаю, что плохо. Ты вот, это я из газет знаю, чем-то там, кинематографом, кажется, занялся. Так это ж пустяки, а?

– Вот-вот, он и меня тоже огорчает, кинематографом занялся, – сказала очень сердечно Вера Александровна.

Она держалась как близкий Некрылову человек. Он по временам подходил к ней и, не прерывая своей обвинительной речи по поводу драгомановского способа жить, гладил ее, как-то трогал за руку, за плечо. «Милая женщина», – подумал Драгоманов.

– Нет, вы хорошенько расспросите его, как он сам-то живет в Москве, – сказала она наконец и, отодвинув рукав пальто, взглянула на часики.

– Виктор Николаевич, если вы хотите еще заехать куда-то в Капеллу, так нам пора собираться.

– Вот видишь, Боря, что она со мной делает, – еще жалобнее сказал Некрылов и схватил ее за рукав. – Я с тобой не успел двух слов сказать. Понимаешь, я сам отлично знаю, что кино – это искусство для дефективных детей. В Капелле – литературный вечер. Если ты не занят, проводи нас. Черт с ним, с кино! Я тебе расскажу, что я думаю насчет лингвистики в теории литературы.

10

– *Vanitas vanitatum et omnia vanitas!*⁴

Привычку говорить пошлости по-латыни Кекчеев приобрел во время своего кратковременного пребывания на филологическом факультете Ленинградского университета. Латинские изречения помогали ему круглее строить речь и презирать людей, не получивших классического образования. Он не упускал случая сказать при начальствующем лице какую-нибудь латинскую фразу. «*Timeo danaos et dona ferentes*»⁵ или «*Omnia mea mecum porto*»⁶ – безошибочно подходили ко всем без исключения происшествиям – международным, служебным или личным. Это выглядело шуткой и в то же время заставляло относиться к нему с некоторым уважением – тем более что за десять лет войны и революции латынь была основательно забыта даже самими латинистами.

Кроме того, эти афоризмы как нельзя лучше шли к его юношеской медвежатости и важности, с которой он носил свои заграничные очки и фетровую шляпу.

«*Vanitas vanitatum et omnia vanitas*» – было сказано о программе литературного вечера в Академической капелле. Он сидел в боковой ложе, рядом с эстрадой, и иронизировал – впрочем, в меру – по поводу стрекозоподобной машинистки, делавшей ему глазки снизу, из партера, по поводу толстой дамы из «Прибоя», которая с монументальной грацией вертелась рядом с

⁴ Суета сует и всяческая суета! (*лат.*)

⁵ Боюсь данайцев и дары приносящих (*лат.*).

⁶ Все мое ношу с собой (*лат.*).

ним, по поводу рыжего мха, который рос на ее шее, наконец, по поводу писателей, которые галдели неподалеку, в проходе, готовясь к выступлению.

Тихий бородач, делопроизводитель торгового сектора, вежливо слушал его.

Эстрада была освещена. По ней вот уже с полчаса бегал туда и назад хорошенький мальчуган с красными ушами, должно быть распорядитель. Все следили за ним с сочувственным видом.

Вечер открылся вступительным словом робкого и мало кому известного человека в широких штанах. Он был маленького роста и говорил шепотом, про себя. Удалось все-таки разобрать, что попутчиками он недоволен. По его мнению, они писали что-то не то и часто сбивались на неблагонадежную идеологию.

С ними было очень много хлопот. За ними следовало, по мнению докладчика, неустанно следить, следить не покладая рук.

Поэт с громоподобным голосом выступил вслед за ним. Грудь у него была как плита, телосложение мощное. Когда, уверяя всех, что «над пажитью туманной взошла его звезда», он двинул себя в грудь кулаком – в зале раздалось и долго затихало на хорах гуденье, подобное похоронному звону.

Ему долго аплодировали.

Вслед за ним с неприятной поспешностью стали выступать прозаики. Все они были как-то на одно лицо – и маленький кучерявенький, и длинноногий с демоническим лицом.

Но длинноногий с демоническим лицом не окончил. Шум зашагал по зрительному залу, все оглянулись.

Любопытство, накотившее как гроза, летело между рядами стульев, повертывая глаза и плечи.

Некрылов, немного припрыгивая, таща за рукав меховую шубку, из которой глядело сердитое лицо Веры Александровны, проскочил вдоль зрительного зала. Он шел в артистическую – в Капелле почему-то нельзя было попасть туда иначе, как пройдя через эстраду.

За ним шествовал, равнодушно топя хромой ногой, Драгоманов.

Бородач из торгового сектора, очень интересовавшийся всеми без исключения знаменитыми людьми, толкнул Кекчеева в бок и глазом показал на Некрылова.

– Кто это? – внезапно вспыхнув, спросил его Кекчеев.

– Он снова приехал из Москвы, – тихо пробурчал бородач, – вы его не знаете? Его вся Москва, весь Ленинград знает. Это Некрылов.

Прозаик с демоническим лицом фальшивым голосом читал что-то о белогвардейцах, толстая дама из «Прибоя» неприлично подсвистывала носом, и рыжий мох на ее шее качался с унылой монотонностью.

– Я спрашивал не про него! Про эту женщину, которая шла с ним, – пробормотал Кекчеев.

11

Суцевский, беллетрист, байбак и пьяница, негромко бил в барабан, забытый музыкантами в артистической комнате Капеллы. Он только что вернулся с эстрады. Забывшись, он читал без конца, распорядитель, хватаясь за голову, попросил его скромную жену послать ему на эстраду записку. Она написала: «Валька, кончай!» – и он оборвал на полуслове.

Смущаясь, он вернулся в артистическую и именно от смущенья, не зная, что с собой делать, негромко бил в барабан.

Здесь было весело, а в зале страшная тоска, он был очень рад, что возвратился. Жена старалась не смотреть на него, он огорченно объяснялся с ней и подлизывался.

Но скука, скучная как пыль, через эстраду переползала уже и в артистическую. Быть может, поэтому Некрылова встретили радостнее и шумливее, чем обычно.

Он говорил что-то очень быстро и со всеми сразу, знакомил всех со своей спутницей, и даже те, которые хаяли его заочно, полезли к нему с разговорами.

С Суцевским он расцеловался и попытался поцеловать его жену. Он поблагодарил ее за холодное мясо и сказал, что к ней очень идет пионерский галстук. Она покраснела – у нее уж сын подрастал – и не нашлась что ответить.

А он уже болтал с другим, с третьим.

Драгоманов, важный, прямой, спокойный, ни с кем не здороваясь, предложил Вере Александровне стул и сам сел рядом с ней.

– Вера Александровна, извините за намек, что это Виктор затащил нас в эту академию десьянс? – спросил он шутливо и вдруг осекся, увидев, что Вера Александровна едва сдерживает себя, чтобы не заплакать. Был уже поздний час, и по дороге в Капеллу она очень просила Некрылова не заходить на вечер и ехать прямо... Куда? Как будто к ней домой.

«Она обещала своим друзьям привезти Виктора с собой», – догадывался Драгоманов.

Он очень серьезно посмотрел на нее и заговорил о другом. И все вокруг говорили не о том, о чем следовало говорить. Некрылову льстили, все были его лучшими приятелями, все хлопали его по плечу, все интересовались его книгами, его делами. Правду говорил один Суцевский, да и то потому только, что был пьян.

– Послушай, Виктор, а ведь ты что-то не то пишешь, – говорил он Некрылову, мямля и примаргивая, но все же с достаточной твердостью. – Я твою последнюю статью прочел – не поверил. Это, по-моему, совсем и не ты писал, честное слово. Ты что же, может, кому-нибудь другому свои статьи заказываешь? Я не понимаю, милый, объясни, в чем же дело?

Некрылов сам не понимал. Да что, эти статьи – пустое! Он пишет книгу. Вот за книгу он отвечает. Это будет настоящая книга. Она выходит в «Круге», в декабре.

И тут же его попросили выступить. Надо было спасти вечер. Он согласился...

Оставшись в одиночестве, Драгоманов взял со стола забытую кем-то книжку, раскрыл ее и, прочтя: «Да знаешь ли ты, сколько пуль ржавеют в тоске по Митькиному лбу?», испуганно дернул глазом и положил книжку обратно. О «пулях, ржавеющих в тоске по Митькиному лбу» написал, несомненно, вот этот длинноволосый, с мечтательными баками, в бархатной куртке!

По старой гимназической привычке Драгоманов сложил фигу и незаметно устроил ее на столе, нацелившись на бархатную куртку. Он уже ненавидел этого человека.

Отвернувшись от него, но оставив фигу на столе, он принялся смотреть на взволнованное лицо Веры Александровны. Она отвела Некрылова в сторону. Это был ее вечер. Она смотрела на него оскорбленными глазами.

– Но, Виктор, согласитесь... Нас ждут. Я сейчас же еду, – услышал Драгоманов.

Некрылов мялся. Он не знал, что сказать. Ему уже хотелось выступить. Он уже знал, что он скажет на эстраде.

– Я скажу десять слов, – уговаривал он, – мы еще приедем. Ты понимаешь, нельзя приезжать вовремя. Мы опоздаем. Немного.

Он комически выл и отчаянно мотал головой, и все-таки ничего не выходило.

Драгоманов осторожно разнял фигу и, засунув руку в карман, подошел к ним.

– Боря, объясни ей, – пристал к нему Некрылов, – я не могу не выступить. Нельзя обижать людей.

Драгоманов согласился с ним, что нельзя обижать людей. Он взял шубку Веры Александровны, она отняла у него шубку и торопливо побежала к двери.

– Ты здесь сиди, сиди! – примирительно сказал Драгоманов. – Ручаюсь тебе, Виктор, что мы с Верой Александровной и без тебя отлично проведем время. Mes compliments, monsieur⁷, – прибавил он великолепным басом.

12

Беллетрист с офицерской выправкой грустным голосом читал забавнейший рассказ, когда Вера Александровна появилась на эстраде. Беллетрист надменно вскинул брови и приостановил чтение.

Она, легкая и торопливая, мелькнула мимо него, спустилась по лесенке и вышла в партер, смутясь, вдруг ужаснувшись тому, что весь зал следит за ней, дожидаясь, когда она окончит свой несвоевременный переход сквозь шеренги лиц, темноту и стулья.

Заложив руку за борт пиджака, Кекчеев сидел на барьере ложи. Тихий бородач все еще прислушивался к его афоризмам – внимательно, но уже недоверчиво. Кекчеев рисовался. Внезапно превратившись в восьмиклассника, он делал комплименты даме из «Прибоя». Он дурачился – впрочем, в меру.

Неожиданная тишина привлекла его внимание. Он оглянулся: давешняя красавица поспешно шла, почти бежала через эстраду.

Ему показалось, что она шла прямо к нему. И в самом деле, она пролетела почти что рядом с ним. И вдруг остановилась. Цветной шейный шарфик, летевший вслед за ней, зацепился за какую-то жестянку с номером, неподалеку от ложи. В полусумраке партера ему показалось, – двумя пальцами он поспешно поправил очки, – что она, задержавшись только на самое короткое мгновение, смотала с шеи и бросила шарфик на пол, отмахнувшись от него, как от дыма.

И он, точно как дым, плавно опустился на пол.

Кекчеев вскочил – бородач сердито прошептал что-то за его спиной – и бросился к шарфику.

И в эту минуту Драгоманов, отбиваясь от распорядителя, тащившего его обратно за шинель, показался на эстраде. Беллетрист на полуслове оборвал остроту, закрыл книгу и молча пошел прочь от своего пюпитра. Он был уже не просто обижен, он был взбешен. В решительной и раздраженной походке его уже явственно чувствовался темп военного марша. Он маршировал, сам того не замечая.

А навстречу Драгоманову маршировал шум, скандал, сумятица, неразбериха. Ему свистели, гикали, его ругали. Он шел с невозмутимым лицом и прихрамывал, как будто нарочно, из озорства. Он шел, оглядываясь вокруг себя с равнодушием почти автоматическим.

И выражение его лица не переменилось, когда он убедился, что Вера Александровна уехала, его не дожидаясь.

Кекчеев догнал ее в вестибюле, извинился и подал шарфик. Он в упор посмотрел на нее. У нее было прекрасное лицо, но дело было не только в лице. Он еще не понимал женщин.

Она поблагодарила и прошла дальше, к раздевальной комнате.

Серьезно улыбаясь, немного краснея, он взял из ее рук шубку. Он или коснулся пальцами гладкого шелкового платья на ее плечах – или ему это только показалось.

⁷ Мои поздравления, сударь (*фр.*).

13

– Товарищи, меня сейчас интересует один вопрос... Нет, два. Два вопроса. Вопросы очень простые, гораздо проще, чем то, что читал сегодня ну хотя бы Тюфин. Вопрос первый: «Зачем вы сюда явились?» – и второй: «Стоит ли вообще продолжать русскую литературу?»

Суцевский сегодня читал, что какой-то гвардейский офицер носил голую венгерку на вытянутых руках. Вот тут у меня записано: «глазами, носом, лбом, всем лицом плотно прижавшись к ее маленькому животу». Я допускаю, что венгерка – это женщина, а не танец. Но так женщину носить нельзя. Я это по личному опыту знаю. Дышать нечем. Даже с голой венгеркой на руках нужно дышать. Если не дышать – она может обидеться.

По какому же поводу в Академической капелле, где вообще нужно петь или играть, потому что зал даже и не предназначен для чтения, собралось так много слушателей? Среди них есть, несомненно, хоть один хороший хозяйственник. Я предлагаю поручить ему вычислить количество потерянных рабочих часов.

Товарищи, тут у вас по Ленинграду и по Госиздату ходит один человек, который переписывает Станюковича и считается при этом пролетарским писателем.

По его мнению, так следует писать потому, что к литературе сейчас пришли люди, никогда не читавшие Станюковича. Станюкович писал не только морские рассказы, у него есть еще большие романы. Он писал, например, о том, как двое братьев – штурман и лейтенант – любили одну женщину, а женщина любила третьего, кажется мичмана, который в результате тоже оказывается братом. Он – найденыш. Я согласен, что современный читатель не знает Станюковича. Значит ли это, что следует ему подражать? Н-не думаю! Может быть, следует его переиздать, а подражать не стоит.

Товарищи, мне не жаль, что вы потеряли столько времени. Мне жаль, что писатели, которые обещали – и мы им поверили – начать литературу сызнова, занялись повторением пройденного. Это неправильно. Неправильно обкрадывать будущее хотя бы потому, что это дешево стоит. Товарищи, вчера я приехал из Москвы. Московские писатели больны другими болезнями. Но в Ленинграде можно задохнуться от уважения. Писатели ходят по Невскому как автоматы и уважают друг друга. Они накрыли себя фетровыми шляпами и не могут передохнуть от уважения. Они слишком уважают свою работу, чтобы хорошо писать. Они покупают мебель и шьют чехлы, и книги выходят в чехлах, и жены ходят в чехлах, скоро мне перестанут подавать руку за то, что я еще не купил себе фетровой шляпы.

Они продолжают литературу, а для этого не стоило отсиживаться в обезьяннике Дома искусств и получать академический паек в Доме ученых.

Товарищи, кто из вас еще не издал собрания своих сочинений?

Так он громил своих друзей, своих врагов, свою литературу.

Когда он начал говорить об уважении, о Доме искусств и о фетровых шляпах – он подумал о том, что Драгоманов был прав, называя его представителем от обезьян на острове Робинзон Крузо.

Когда же он сказал о том, что нужно не называть вещи, а показывать их, он вспомнил о женщине, которую он обидел ради того, чтобы сказать это, и он вдруг уверился, что ее-то, без всякого сомнения, не следовало обижать.

14

Ее не следовало обижать. В этот вечер она заснула поздно, с распухшими от слез глазами...

Было грустно сознавать, что она в незнакомом доме.

Были незнакомые стены, напротив нее сидел, иронически покачивая головой, незнакомый старик. Что ж это – бабушка? Она искала глазами свой мольберт и случайно поглядела в окно: вплоть до самого горизонта великолепная, высокая, нарисованная – колыхалась пшеница. Солнце покрывало полнеба. Оно делилось.

«Не блестит и не греет», – смутно подумалось ей – и она обратилась к старику. Старик подмигивал глазом на солнце. Он не недоумевал, хотя солнце делилось и делилось, меняя цвета. Оно блестело, как жестянка. Оно заболело.

– Сейчас остановится, что ж делать? – с ужасом спросила она у старика. Потом вся земля сделалась странной. Не то что она колыхалась – она остывала. Это был, несомненно, конец света.

Она стремительно поднялась наверх, в свою комнату, и начала пересматривать и отбирать платья. Вот темно-синее с вышивкой. Быть может, темно-синее с вышивкой подошло бы для конца света! Что-нибудь темное...

Она уложила темно-синее с вышивкой в маленький саквояж и посмотрела в зеркало. Нет, она не казалась испуганной.

Внизу у подъезда стояло что-то вроде омнибуса с покряхтывавшим верхом. Она села в омнибус и поехала неизвестно куда. Она ехала одна, мамы не было с ней. Пшеница шуршала под колесами. Для конца света, быть может, лучше было бы надеть зеленое, – то, что она переделала из шелковой жакетки.

Извозчик, лихач с кудрями, уже летит вслед за омнибусом. В пролетке, положив руку на плечо лихачу, уже стоит преследователь с пухлыми губами, в очках тяжелых, роговых, шестигранных. Он бледен, он ждет, снег кружится над головой, пролетка все приближается.

Пролетка догоняет ее наконец. Он соскакивает, она смотрит на него с сожалением и нарочно молчит, чтобы видеть, как трудно ему произнести это слово.

– Милый друг, – отвечает она, смеясь, – вы любите меня, а мне бы хотелось, чтобы вы – вот так же стоя и без шапки – летели в этой пролетке вслед за мной всю жизнь, до самой смерти.

Наутро она долго припоминала сон. Она была раздосадована. На каком, разрешите узнать, основании ей приснился этот малыш, который вчера вечером догнал ее на лестнице и подал пальто в вестибюле? Какое он имел право ей присниться? Без шапки, в пролетке... Что за пустяки!

Она сердито натянула одеяло до самого носа. Можно полежать еще пять минут, потом чай, одеваться, и потом, боже мой, надо кончать этот проклятый натюрморт! Если она сегодня не кончит – ей влети-ит!

Она наскоро завязала волосы узлом перед маленьким растрескавшимся зеркалом. Восемнадцатый век. И волосы ее как будто немного порыжели. В таком виде она напоминала Марию-Антуанетту. Не хватает только Марата, чтобы испортить ей жизнь.

Чай давно уже остывал на столе, она забыла про чай, увлекшись рисунком, который она только что проклинала. Ах, если бы удалось сделать так, чтобы эта бутылка и кусок материи, которые она рисовала, были не в зеркале, а в безвоздушном пространстве!

За последнее время в работе ее появилась какая-то робость, которую она никак не могла преодолеть. Она чувствовала ее в каждом движении пальцев.

И поделом! Не нужно было тратить столько времени на всю эту болтовню, которая ничего не стоила в сравнении с настоящей работой.

Она долго растирала краски, думая об этом. Нужно занять вечера, свободные вечера наталкивают ее на всю эту музыку с любовным аккомпанементом. Шут ее возьми, если она еще хоть раз в жизни изменит живописи ради чего бы то ни было!

Она подошла к зеркалу и пригласила себя принести настоящую клятву.

– Будьте добры, немедленно поклянитесь, гражданка, в том, что начиная с сегодняшнего дня ничего, кроме живописи, для вас отнюдь не существует, – сказала она своему изображению, холодно смотря на нос, который выглядел очень сиротливым без пудры. – Клянитесь, что все остальное вы будете считать бредом, результатом расстроенных нервов и большого воображения.

– Клянусь, клянусь, клянусь! – закричала она и возвратилась к мольберту.

Она рисовала до полудня, потом выпила холодный чай и умылась. Умываясь, она решила, что только один человек любит ее, понимает ее, готов для нее на все и никогда ей не изменит. Этот человек была некая Верочка Барабанова, по крайней мере такая, как она была сейчас, – с полотенцем в руках, с мокрыми ресницами и висками, в строгом капоте, который она называла *mein grüner Rock*⁸. И с узлом на макушке, напоминавшим прически французских женщин восемнадцатого века.

Только она одна, и больше никто.

«Да, ты ее знаешь, она славная, видишь, она какая, она рисует», – вспомнила она и, яростно швырнув полотенце на кровать, побежала к своему натюрморту в безвоздушном пространстве.

Вертя в руке кистью, как шпагой, внезапно оценив мирный натюрморт как личного врага, она посадила на бутылку маленького оскорбительного чертенка, облизывающего хвост. Потом бросила кисть на пол, села в угол и долго плакала, не двигаясь, не моргая глазами, упорно рассматривая зеленое пятно на обоях и не вытирая слез, бегущих по лицу. Да ведь ничего же не было – и в самом деле, бред, нервы, результат расстроенного воображения, и больше ничего! Его не существует! «Кто это Некрылов?» – «Но вы, кажется, встречались с ним, Вера Александровна...» – «Да?.. Не помню».

Выйдя из своего угла, она еще немного поплакала перед зеркалом. Тут же она решила, что слезы, в сущности говоря, даже идут к ней. Ладно, а теперь она будет работать!

И точно, она работала целый день, не отрываясь. Чертенок был выскоблен, рисунок удался превосходно.

Когда натюрморт подходил к концу, она почувствовала отчаянный голод. Даже не вымыв рук, перепачканных краской, она накинула на себя шубку и побежала в столовую. Знакомый официант, похожий на Ллойд Джорджа, принес ей кофе и рисовый пудинг...

Когда она возвращалась, кто-то догнал ее неподалеку от дома и с преувеличенной вежливостью снял шляпу. Она тотчас же узнала его. Он был хуже, чем во сне. К сожалению, у него были короткие пальцы и слишком пухлые губы. Жирный ребенок еще угадывался в нем.

⁸ Мой зеленый сюртук (нем.).

Давление времени

1

Экономисты трое суток сидели над составлением календаря для издательства Промбюро. Ни Юлий Цезарь, ни папа Григорий не потратили на это дело столько изобретательности, сколько Сашка Криличевский, единственный человек в мире, вежливо топивший печи, методический Гарри Буш, бессменный председатель коммуны, и Женя Меликова, недавно назначенная блюстительницей нравов.

Они выдирали листы из старых гимназических хрестоматий – из «Отблесков» или из «Живого слова», они весело ввали что-то о заграничном способе удобрения земли, они выдумывали имена.

Отчаянье – они не поспевали к сроку – заставляло их решаться на поступки, только по непонятной случайности не включенные в Уголовный кодекс. Фантастические имена Район, Баррикада и Гипотенуза были уже расставлены по своим местам. Им удалось втянуть в эту игру всех своих товарищей по институту. Впрочем, они быстро раскаялись в этом. В ближайшую же ночь скептический Левка Едвабник, студент, попавший в политехникум из ешибота, завернутый с головы до ног в один грандиозный башлык, пришел на Воронцовский переулок и отчаянным стуком в дверь поднял на ноги всю коммуну.

Полчаса, не говоря ни слова, он разматывал башлык. Вся коммуна стояла вокруг него босоногая, всклокоченная, в одеялах. После обстоятельного предисловия он объявил, что придумал женское имя – Крага и, не считая себя вправе скрывать его от своих друзей, счел обязанным немедленно же объявить им об этом.

Вежливость Сашки Криличевского спасла ему жизнь...

Коммуна радостно встретила Ногина. По случаю его приезда возня с календарем была отложена до утра. Затеяли винегрет. Блюстительница нравов пожалала ему руку, быть может, несколько крепче, чем это полагалось блюстительнице нравов.

Криличевский, с которым он пять лет просидел на одной парте в псковской гимназии, отвел его в сторону.

– Ты чего это так съезжился, старик? – спросил он, хлопнув Ногина по плечу. – Отчаянно похудел! Денег нет? Или, может, влюбился?

Ногин взглянул на его жесткие, слоистые волосы, на прямой лоб, на знакомые глаза. Глаза смотрели вежливо, но сочувственно. Он молча пожал Криличевскому руку.

Через полчаса Ногин уже знал обо всем, что произошло за последние полгода, – он полгода не был в Лесном. Женька Климанов дозанимался до нервного расстройства, стал заговариваться, его пришлось насильно увезти домой, в Псков.

Буш и электротехник Бортников возле деревни Гражданки разобрали будку на дрова и попались с поличным. Милиция отпустила их только после того, как они подписали обязательство выстроить точно такую же будку и на том же месте в течение десяти лет.

Неподалеку от коммуны сгорел барак. Об этом было сообщено Ногину с наибольшим сожалением. Барак пропал ни за грош, он сгорел впустую, в то время как разобранный на дрова... Буш подсчитал, что, разобранный на дрова, он мог бы обогревать коммуну на протяжении трех месяцев и семнадцати дней.

Самая занимательная из новостей была изложена в виде доклада. Доклад назывался «О прямых последствиях хорошего тона» и касался Сашки Криличевского.

Хозяйка дома, набожная старушка с кружевной наколкой на голове, разрешила ему ходить в верхнюю уборную. Верхняя уборная по сравнению с нижней была Версалем.

Сашка получил это преимущество за вежливость и за то, что раз в неделю с интересом выслушивал обстоятельные сообщения старушки о ее болезнях и о болезнях ее покойного мужа. До сих пор старушка, обижаясь на то, что экономисты вынесли из комнат портреты царей, объявила верхнюю уборную табу, каждый раз вешала за собой замок и никого не пускала.

Обо всем этом было рассказано разом, с шумом, хохотом и язвительными примечаниями.

Ногин посмотрел мимо знакомых и милых лиц в окно и вздохнул. В окне были сосны, свежий, как яблоко, снег и ультрамариновое небо.

Черт возьми, здесь была настоящая зима и настоящая жизнь! Все эти ребята, они торчали здесь не напрасно! Они не лукавили, работали не за страх, а за совесть и не задумывались над тем, похоже ли все это на литературу или нет?

Это был веселый винегрет из науки, из игры в коммуны, из сосен, из зимы.

Впрочем, он не завидовал. Некогда было. Его посадили на доску, положенную на два табурета, – это сооружение называлось креслом конструкции инженера Буша, – поставили перед ним тарелку, вооружили ложкой. Тот же инженер Буш принес огромный, запачканный сажей котел. Он был изобретателен по природе – чтобы не запачкаться, он надел на руки калоши и, схватив ими котел, торжественно внес его в столовую коммуны.

Нет, винегрет был самый настоящий, с перцем, с уксусом, с прованским маслом, и они лопали его так, что Ногин только растерянно моргал глазами...

2

Ночь нагрянула, как семь дней, в которые, если верить Алексею Толстому, был ограблен мир. Никто, разумеется, не спал. Пришел студент, известный всему Лесному своим удивительным умением играть на крышке от часов. Наука ему не давалась, но на крышке от часов он играл превосходно. Потом выволокли сидевшего в одеяле Бортникова. Он был зол. Ногина он язвительно спросил – пишет ли он еще стихи, и если нет, то какие трагические обстоятельства заставили его бросить это важнейшее для всей республики производство?

Ногин резко ответил ему, что пишет, что вовсе не намерен бросать, что одно время колебался – не променять ли ему литературу на производство карманных батарей, но решил, что все-таки не стоит.

Потом была подробно изложена причина, по которой Бортников сидел без штанов. Женя Меликова, вернувшись вчера вечером в свою комнату, нашла ее увешанной штанами самого различного цвета, возраста и социального положения. На стене висел плакат:

Женщины коммуны,
Снизойдите к беспорточникам.

В левом углу его было приписано мелкими буквами:

Без штанов наука, равно как и любовь, – мало успешна.

Пифагор

И к каждой паре была пришпилена записка с подробным описанием дефектов.

Бортников, съевший накануне весь компот, приготовленный в честь приезда одного из членов коммуны, был наказан. Согласно единогласному постановлению, его штаны остались незаплатанными. В одеяле он ходил из протеста...

Потом Сашка, сжалившись над товарищем, притащил штаны, и все рассматривали потерянные места и трогали их пальцами до тех пор, пока не проделали новую дыру, величиной с небольшую дыню.

Потом выяснилось, что компот съел не только Бортников. Компот съел Буш, который тем не менее ходил в припаренных, разглаженных, щегольских штанах...

Вот только теперь, перед самым рассветом, когда студент, игравший на крышке часов, ушел и разошлись по своим комнатам Буш и еще кто-то, – тогда наступил этот муторный, после бессонной ночи, но милый час, ради которого Ногин и поехал к землякам.

Он лежал на знакомой низкой кровати, керосиновая лампа была притушена, и огромная носатая тень, почему-то напоминавшая ему детство, двигалась по дощатой стене. Женя Меликова, сухощавая, в старенькой, еще псковской жакетке, сидела рядом с ним. Острый, скептический нос Бортникова торчал над приколотым к доске чертежом. Угольник, как маятник, покачивался над его головой.

И тоска, бешеная, сердечная, тупая, перепутанная со слезами, вдруг нахлынула на Ногина. У него точно сердце перевернулось. И не то что он снова вспомнил о ней, о Вере Александровне, – ему и вспоминать-то было не о чем, кроме тогдашней встречи у драгомановского циркача, – но вот руки были полны чем-то, что он не мог ни отдать никому, ни поделиться ни с кем, ни разгадать, ни распутать. Мальчишество? Бредни? Литература?

Он больше не мог обманывать себя, ему уже не помогала ирония – она была разбита наголову, обращена в бегство этим молчаливым, почти торжественным, милым часом с притушенной лампой, с подступающим сном, с усталостью на лицах друзей.

В руках у него была любовь, и он не знал, что ему делать с ней.

3

Криличевский, который и по ночам не забывал о своих топливных обязанностях, с грохотом обрушил дрова на маленькую корявую печку.

Он ворвался в комнату холодный, веселый, в желтом романовском полушубке. Полушубок вонял. Он был упрятан в самый дальний угол, но все-таки вонял, покамест Бортников не вынес его в сени.

Печь была затоплена, торопливые зайчики заиграли на противоположной стене. Стало еще муторнее и еще уютней.

– Ну, Всеволод, теперь ты нам расскажи чего-нибудь, – сказал Криличевский и сел на корточках перед печкой, – ты что-то, старик, сильно сдаешь последние двадцать лет! А помнишь, как ты в крылатке приезжал, под этого, как его...

– Под Гофмана, – засмеявшись, подсказал Ногин.

– Совершенно верно, под Гофмана. Хвастал отчаянно. Болтал. Стихи читал. Каких-то девиц привозил. Вообще был человек человеком. А теперь – прямо не узнать тебя, ей-богу. Сознавайся, брат, влюблен? Подцепили?

Ногин приподнялся на локте. Сашка взглянул на него... и прикусил язык. И точно, Ногин не походил на самого себя – он был бледен, у него было напряженное, немолодое лицо. Сашка потянулся к нему и успокоительно похлопал по плечу.

– Да чего ты, чудак, я же пошутил. Женечка, накройте его! Он тут у нас замерзнет.

И снова наступил сон не сон, тишина не тишина, ночь не ночь.

Потом Сашка, в котором за политической экономией и экономической политикой жило глубокое уважение к литературе, потребовал стихов. Ногин не стал ломаться. Ему самому давно уже хотелось читать стихи – не свои, так чужие. Он попробовал читать Блока...

Никогда не забуду, он был или не был,
Этот вечер... —

начал он и остановился. Коммуна, кроме Бортникова и спящих, хором dokonчила вторую строчку.

– Знаем, слышали. Читай свое!

Тогда он понял, что ему хотелось читать именно свои стихи – как бы они ни были плохи, – а не чужие. Он прочел:

Перо в руке, и губы плотно сжаты.
В углу двойник. Сломился нос горбатый,
И губы вмятые сломились под углом.
Горит свеча и воск сдвигает ярый
Вниз от огня на мой подсвечник старый,
И слышу я: внизу стучатся в дом.

«Ты – тень моя! Ты часовой примерный.
Меня знобит, и болен я, наверно.
Спустись по лестнице! Внизу стучат ко мне».
Так я сказал, оборотясь с улыбкой,
И вот в ответ услышал голос зыбкий
И вижу: тень склонилась на стене.

«Возьми огня!» – «Хозяин, что за это
Я получу?» – «Что хочешь!» И за светом
Уж плоская продвинулась рука.
Вот по стене скользит, как облак черный,
Проходит в щели быстро и проворно
И возвращается, спокойна и легка.

Мне показалось, что в окно пустое
Стучится снег холодной рукою,
И оглянулся я, зажав перо в руке:
Перед свечой, что воск сдвигала ярый
Вниз от огня на мой подсвечник старый,
Сидит старик в зеленом сюртуке.

«Вы, сударь, кто?» – «Приятель Шваммердама».
«Точнее, сударь, говорите прямо!»
Молчит он, опершись на край стола.
И вдруг морщины в плотный полог слиты,
Кривится рот, и вместо ног – копыта.
И за плечами – мощные крыла.

«Мне, милостивый государь, конечно,
Как человеку с честью безупречной
И ваша честь отменно дорога», —
Так он сказал, и мне казалась странной
В его устах с акцентом иностранным
Глухая речь. И на ноге – нога.

«Племянник мой, что в аде крыши мазал,

Вотще лишился тени долговязой,
Она пристала к краске навсегда...
Как наших мест старинный посетитель
Вы мне свою взамен не продадите ль?
Что скажете?» И я ответил: «Да!»

Взвились крыла, и в облачной метели
Две тени плоские со свистом пролетели
Над крышами, за дымной пеленой.
Я был один. Металась в ветре вьюга,
И одиночество мне было верным другом,
И город каменный качался за спиной.

– Ну и плохо! – сказал Бортников. – Очень плохо! Непонятно и даже вредно. Ей-богу, вредно! Чертовщина какая-то. Тень продают... Ерунда! Тень есть результат столкновения световых лучей с телом, для них непроницаемым. Ее, как известно из физики, ни продавать, ни каким-либо другим способом от себя отчуждать невозможно. А ты продаешь. Чертовщина какая-то! Я бы запретил!

Ногин молчал, покусывая губы.

Ничего не ответив, он посмотрел на Сашку.

Сашка что-то подозрительно долго возился с печкой, отгребал угли.

– Нет, почему же, неплохо, – пробормотал он наконец, – нельзя сказать... Неплохо! Только вот там с этим Шваммердамом напутано. Шваммердам – это все-таки историческое лицо, с ним нужно обращаться с осторожностью. И вообще, как-то, знаешь... Вот рифмы тоже не совсем точные: вьюга – другом... Но все-таки хорошо. В общем, хорошо написано!

Он со зверским видом смотрел на Бортникова. «Видишь, парень влип, вкатился, а ты тут еще масла в огонь подливаешь, собака», – прочел в этом взгляде Ногин.

В другое время, в другой час он, вероятно, стал бы возражать, обругал бы их за уозсть, за то, что они ни черта в поэзии не понимают, – и начался бы отчаянный, бесконечный студенческий спор о полезности или бесполезности литературы, о преимуществах точных наук перед гуманитарными, о том, важнее ли одна электрическая станция десяти первоклассных поэтов или нет.

Но на этот раз Ногин не сказал ни слова. Он молча сунул в рот папироску и затянулся так, что у него перехватило дыхание. Ему просто напиться захотелось. Вдрызг – так, чтобы ничего не видеть и ни о чем не помнить.

Должно быть, Женя Меликова поняла его. Она ничего не сказала о его стихах, но, найдя под шинелью, которой он был накрыт, его руку, она пожала ее с такой дружеской нежностью, что Ногин едва не расплакался, уткнувшись лицом в подушку.

4

Вернувшись в город, он завесил окно одеялом и два дня не вставал с кровати. Он залег. Комната, холодные стены стояли вокруг него, как отчаянье. Татарин умирал за стеной, старуха днем кричала на него, но по ночам укачивала, как ребенка.

Пересиливая себя, Ногин закоченевшей рукой написал письмо: «Я болен и устал, но все же гораздо меньше, чем это нужно, чтобы забыть о вас. Все валится у меня из рук, мне больше не помогает работа... Родная моя, у меня нет друзей и нет никого, кроме вас, и так продолжаться не может...»

Разумеется, письмо это не было отправлено по назначению. Оно было литературой. Оно было изорвано в клочки и пущено по ветру.

И ни один человек в мире, ни его мать, ни его друзья, ни женщина, которую он любил и которая, быть может, была доступна всем, кроме него, – никто не знал и не понимал, что так продолжаться не может. Он плакал, он двадцать раз думал о самоубийстве – четвертый этаж, надо полагать, что ему удастся сломить себе шею!

Но он не кончил самоубийством. Он просто запил, шляясь по пивным, обрастая бородой, читая стихи оборванцам. Стихи были очень плохие, но он решительно ничего не мог поделать с собой.

5

Уткнуться лбом в скрещенные руки и тихонько ныть, подвывать слепым музыкантам – это было все, что ему оставалось. Пить он больше не мог. Лопающееся вязкое пиво заставляло его стискивать зубы от отвращения. Но вот музыка – музыку он мог еще слушать! Какие-то лапки, шершавые, поджатые, все время вспоминались ему – они летели в воздухе, и вокруг чистота, тишина, простор.

Окурок, приклеенный слюной к ножке столика, покачивался от его дыхания. Это напомнило ему о курении. Он подозвал полового и сунул ему двугривенный. Половой принес коробку папирос.

Схватив голову руками, с папиросой в зубах, он мотался над столом в такт музыке, которая дребезжала и ныла так, что сердце разрывалось на части.

И он нисколько не удивился, когда увидел перед собой давешнего старичка, своего соседа по комнате.

Старичок сидел на краешке стула, чистенький, приглаженный, в драповом пальто и с аккуратным бантиком на шее. Он смотрел на Ногина и грустно качал головой. Это могло, конечно, быть просто бредом. Но старичок был совсем живой, у него были заботливые глаза, очевидно, его можно было трогать, с ним можно было говорить.

– Милый, – сказал он старичку, – вот так и живем. Выпиваем. Закусываем. Хотите, угощу вас? Я что-то уж не могу больше пить. Вот разве еще портер попробовать. Хотите?

Халдей Халдеевич укоризненно качал головой.

– Может быть, помешаю вам? – спохватился он и добавил, стеснительно понижая голос: – Может быть, вы дожидаетесь кого-нибудь или...

– Никого не жду. Просто пьян. Разбит наголову. Потерпел поражение.

– Каждый человек нуждается в отдыхе, в отдыхе нуждается, – обстоятельно сказал Халдей Халдеевич, – хотя бы для восстановления сил. Как же можно, как можно! Ведь заболете же! Ведь вы уже не первую ночь...

– Не первую и не последнюю. И не ночь. Не только ночь. Что-то все не то. И арабское снаряжение, вообразите, больше не помогает.

Халдей Халдеевич беспомощно развел руками. Он чрезвычайно напоминал Ногину... Кого? Кто-то разводил руками так же, как и он, и так же сидел на краешке стула. Сидел и серьезно моргал глазами.

– Для чего же все-таки губить себя до такой степени? – наклонившись через стол, спросил Халдей Халдеевич.

– Милый, ну какое вам до этого дело? Скажите мне лучше, почему вы так напоминаете мне профессора... Вот именно, профессора Ложкина, – вспомнил он наконец, – одно лицо! Может быть, вы и есть Ложкин? Может быть, вы тоже профессор?

Халдей Халдеевич холодно глянул на него. Медленно заложив руку за борт пальто, он распрямился. Подняв голову, он откинулся на спинку стула.

– Профессор Ложкин имеет честь быть моим родным братом, – сказал он надменно, – но братом, с которым вот уже двадцать пять лет нахожусь во враждебных отношениях. И презираю.

Ногин задумчиво смотрел на него. Рыжая бороденка Халдея Халдеевича торчала вверх, глаза глядели неприступно. Он сидел нахохлившийся, полный достоинства, с поджатым ртом и вздернутыми плечами.

– Да что вы! Милый! – искренне поразился Ногин. – Так вы его брат, Ложкина, профессора?

– Он мой брат. Да и какой же он, собственно говоря, профессор? Что он какую-то книжонку насчет штундистов написал? Он же все что-то о штундистах пишет! Читал! Не знаю, не знаю. Мало самостоятельно. Написано языком суконным, и ни малейшего вкуса. Вы говорите, что схож со мной? Я его около двадцати пяти лет не видел. И об этом нисколько не жалею, не жалею нисколько. А сходством... ежели вы находите сходство... – Халдей Халдеевич негромко прихлопнул ладошкой по столу. – Не горжусь!

Ногин закрыл левый глаз, сделал из своих кулаков подзорную трубу.

– Сходство главным образом по части вторичных половых признаков, – определил он, чувствуя к Халдею Халдеевичу непонятную нежность, – как вы, так и он, носите нечто вроде бородки! Хотя цвет у вас несколько другой, более шаловливый. Но с точки зрения физиогномистики это только подчеркивает сходство. А все-таки для чего же так ссориться, да еще с родным братом? Ведь вы ж все-таки в одном городе с ним живете!

– Мой брат профессор Степан Ложкин есть человек развращенный, погруженный в распутство, преданный необузданным наслаждениям самого скотского характера. Человек нахальный. И буйный.

Халдей Халдеевич сморщился, надулся, побагровел. Ногин посмотрел мимо него – на стойку с закусками, на музыкантов, на волосатого соседа, который сожалительно кряхтел, вертя в руках пустую бутылку, – и вдруг стукнул локтями о стол, уронил голову в руки. Он заплакал тихо, как старик.

Халдей Халдеевич вскочил, всполошился.

– Вам бы домой пора, пора домой, – ласково сказал он и потрогал Ногина за рукав, – как же можно, как можно! Ведь так здоровье может пострадать.

Он не dokonчил и побежал к стойке, копясь в маленьком затрепанном портмоне.

И Ногин позволил замотать себе шею шарфом, и позволил застегнуть пальто французской булавкой, и пошел за Халдеем Халдеевичем, опустив голову, вытирая ладонью мокрое от слез лицо.

– Ростепель, сильный ветер, скользко очень, очень скользко, – бормотал Халдей Халдеевич.

6

И в самом деле, стояла сильнейшая ростепель и гололедица. Весна, которую не вовремя выдувал ветер с Балтийского моря, торчала в лужах, висела на мокрых домах. Была простудная, промозглая, мерзкая погода.

Тучков мост, голый, как ладонь, лежал перед ними под оседающими фонарями. Справа и слева от него симметрическими, невзирая на ветер, рядами стояли петровские здания. Город, как никогда, казался выдутым из кулака, высосанным из пальца. Конечно, здесь и должны были произойти все эти Енисари и Койвусари – финские деревушки с зайцами и франтами в синих жилетах.

Санкт-Питер-Бурх! Парадиз!

Нужно было без всякой борьбы отдать всю эту музыку шведам.

7

Откуда взялся малиновый чай, которым старик поил его в этот вечер?

Он поил Ногина малиновым чаем, до седьмого пота, он жарил яичницу, он долго и хлопотливо готовил ему постель – переворачивал матрац, взбивал подушки. Он ухаживал за ним с трогательной заботливостью. И Ногин послушно пил малину, ел яичницу, какие-то гренки и бутерброды, послушно разделся и лег.

Он лег, и вздохнул полной грудью, и позволил покрыть себя одеялом, и своей шинелью, и драповым пальто Халдея Халдеевича. Ему стало легче. Блуждания по улицам и по трактирам, декламация, слепые музыканты – все было кончено. К черту! Довольно мудрить, пора взять себя в руки! Завтра он встает в шесть часов утра и садится за работу.

– Да, да, так что же с вашим братом? – сказал он, приподнявшись и с тревогой глядя на Халдея Халдеевича.

– Ну полно, полно, спите, голубчик, – пробормотал Халдей Халдеевич, и все подернулось сонным спокойствием, туманом, теплом.

И сквозь тепло, которое уже бродило по телу, он видел, как Халдей Халдеевич примостил на столе осколок зеркала, налил в стакан горячую воду. Облезлая кисточка, как скромное видение, возникла в его руках. Он брился старательно, медлительно, но как бы с яростью. Ярость играла на его запачканных мылом губах.

Он начисто сбрил свою рыжую бороденку и, торжествующий, похожий на сморщенную обезьянку, на цыпочках пошел по комнате в бесконечность, в успокоение, в сон.

8

Но если бы Халдей Халдеевич знал, что, расправляясь так решительно с единственным украшением своего лица, он не только не достигнет цели, но, напротив того, лишь усугубит сходство с корыстолюбивым, развратным, буйным братом – он бы уклонился, он воздержался бы от своего необдуманного поступка.

Профессор Ложкин бунтовал. В ночь на 26 апреля он тоже сбрил бородку.

Крошечный, но очень веселый, в халате, лихо накинутом на одно плечо, он разбудил жену и сказал ей, с удовольствием растирая пальцами гладкие щеки:

– Вот посмотри, Мальвочка, как тебе кажется? Лучше? Мне кажется, да! Лучше! Гораздо лучше!

И, не дождавшись ответа от ужаснувшейся, остолбеневшей, сонной Мальвины Эдуардовны, он скоренькими шагами удалился в свой кабинет.

В кабинете он долго ходил, трогал пальцами корешки книг и негромко, но очень игриво пел. Он пел старинную шансонетку:

Не плачь, не бойся, дочь,
Как верная жена
Невинность в эту ночь
Ты потерять должна, —

с французским припевом. Из зеркала на него глядело маленькое, сморщенное лицо с чужим, незнакомым, детским подбородком. Подбородок оказался детским, со смешной нашлапочкой, о которой он позабыл.

Это был уже настоящий бунт. Системе кабинетного существования был нанесен непоправимый урон. Некоторым образом система эта и опиралась на седую академическую профессорскую бородку.

Но, к ужасу Публичной библиотеки и Академии наук, дело не кончилось уничтожением бородки. На следующий день Ложкин явился на лекцию в огромных, толстых, заливчатых очках, более приличествующих кинорежиссеру, журналисту, начинающему адвокату, чем ординарному профессору Ленинградского университета. И точно – можно было потерять голову, глядя на мир через такие очки.

Но он не растерялся, напротив того – действовал уверенно и, главное, с легкостью, с легкостью необычайной.

Он переменял прическу; серо-седые волосы его были зачесаны теперь вверх, кончались кокетливым коком.

Он выкопал из гардероба старинный вязаный жилет с янтарными пуговицами и немедленно надел его на себя. И угадал – потому что очень похожие заграничные жилеты как раз в ту пору начинали входить в моду и у нас.

В продолжение каких-нибудь двух-трех дней он завалил свой кабинет множеством ободранных, неопрятных книг, среди которых был роман об Антоне Кречете и серия в 35 выпусков о палаче города Берлина.

Бог ведь что он искал в этих книгах!

Он читал их с любопытством второклассника, запершись на ключ от жены и прислуги. Морщась, поминутно поправляя тяжелые очки, он копался в этих книгах, как бы надеясь прощупать... он и сам не знал, что прощупать. Должно быть, какую-нибудь возможность отшутиться от самой идеи своей о бабьем лете или второй молодости.

От Антона Кречета и палача города Берлина он переходил к своему проекту.

Проект был написан очень сухим, деловым языком, но почерком нарочито неразборчивым – надо полагать, профессор боялся, что проект может когда-нибудь попасть в чужие руки.

Он содержал что-то вроде формулы отречения, а от чего отречения – тому следовали пункты. В пунктах стояли между прочим пенсне и бородка и (что было написано условными знаками) жена Мальвина со всеми родственниками, выдуманнными и настоящими.

Вслед за женой, следующим параграфом, профессор отрекался от квартиры.

9

Весьма возможно, что этот проект никогда не был бы приведен в исполнение, напротив – навсегда остался бы в бумагах профессора Ложкина как следы идеи весьма забавной, но бессилой тем не менее повлиять на его почтенное существование, если бы вскоре после составления проекта к нему не явился коллега Леман.

Он пришел грустный и торжественный, в изодранной шинели, которая, как сенаторская того, возлежала на его тщедушных плечах.

Стеснительно улыбаясь, он остановился в дверях кабинета.

Рыжий бобрик его торчал задумчиво, очень серьезно.

Ложкин предложил ему сесть, и сам опустился в кресло.

В кабинете было холодно, неуютно.

Книги с закладками стояли вдоль стола, штора задернута.

Закладки были большие, белые – они были следами брошенной работы. Он устало отвел глаза.

– Чем могу служить? – спросил он.

Коллега Леман молча вытащил из кармана шинели записную книжку с траурной рамкой на переплете и неторопливо пометил что-то. «Ложкин, Степан Степанович, профессор», – пробормотал он.

– Я нашел в библиографическом указателе список ваших книг, профессор, – сказал он почтительно, – и вот мне бы хотелось узнать... Это такие толстые книги (он показал пальцами) или брошюры?

Ложкин протер пальцами очки. Он был несколько озадачен.

– Собственно, почему же брошюры? Нет, именно книги.

– Понимаю, значит, такие толстые книги. Благодарю вас.

Откинувшись на спинку кресла, поднеся близко к глазам свою записную книжку, коллега Леман долго скрипел карандашом.

– А где вы родились? – спросил он внезапно и уже как будто с некоторой строгостью.

Ложкин, серьезно моргая глазами, посмотрел на него и испугался. Посетитель был рыжий, тихий, невозмутимый, торжественный.

Он вовсе не смеялся. Напротив того, он смотрел на Ложкина грустными глазами. Это было грустное превосходство еще живущего человека над покойником.

– Собственно, я родился... Я родился на юге, – несколько теряясь, сообщил Ложкин.

– Как – на юге?

Леман положил на стол карандаш и взглянул на профессора поверх пенсне.

– Но мне же говорили, что вы родились в Белоруссии. Может быть, все-таки не совсем на юге...

– Нет, на юге. В Николаеве, – слегка упавшим голосом пробормотал Ложкин.

Леман долго и неодобрительно смотрел на него.

– Ну, как хотите, – сказал он наконец. – Но возможно, кто-нибудь другой родился в Белоруссии? Ваша жена или дочь?

Ложкин с недоумением покрутил шей и обиделся.

– Виноват, позвольте, как это, – сказал он, начиная с нервностью постукивать пальцами по столу, – а собственно, чем же я все-таки обязан вашему посещению? Чем могу служить?

– Видите ли, я занимаюсь преимущественно покойными белорусами, – объяснил Леман. – Я именно с этой точки зрения обратился к вам. Но если вы не белорус, мне придется отнести вас в смешанный отдел. В котором году, профессор, вы окончили гимназию, реальное училище или кадетский корпус?

Ложкин пожал плечами, привстал и снова сел на стул. Задумчиво щури глаза, коллега Леман сидел перед ним, и зеленоватый отсвет абажура падал на его тихое лицо. Он ждал.

– А к чему же, позвольте, сударь мой, узнать, – сердито спросил Ложкин, – к чему могут послужить все эти сведения? Вам это для какой же цели нужно знать, в котором году я окончил гимназию?

– Для полноты сведений о вас, – скромно объяснил Леман. – Видите ли, профессор, в дальнейшем это может значительно облегчить работу. Вот, скажем, умирает какой-нибудь человек, какой-нибудь белорус, и о нем решительно ничего и никому не известно. Он умирает, и его нет. От него ни малейшего следа не остается. Между тем мною открыт прекрасный способ уклониться от этого печального положения дел. И очень простой способ – нужно заранее составлять некрологи.

– Не-кро-логи?

– Авторизованные некрологи, – торопливо подхватил коллега Леман, – вы можете сами отредактировать или даже сами написать, если вам угодно.

Ложкин вскочил, опершись руками о стол, бессмысленно выпучив глаза, дергаясь ртом, полузадохнувшись.

– Не-кро-логи? – переспросил он, насилию переводя дух. – Вы сказали, не-кро-логи?

Он держался рукой за сердце, облизывал языком пересохшие губы.

– Вон! Вон! Вон отсюда! – яростно прокричал он и, не глядя на Лемана, робко отступившего в сторону, тяжелыми шагами пошел к столику, на котором стоял графин с водой. Он был сер, как мышь. У него ноги дрожали.

10

Всю ночь до утра Ложкин проторчал в своем кабинете. Он не ложился, ничего не ел и ни словом не отвечал на увещания Мальвины Эдуардовны, употреблявшей все усилия, все влияние, которым она когда-то располагала, чтобы заставить его взять через дверь стакан бульона с гренками. От растерянности и волнения она уговаривала его по-немецки. Он молчал. Бульон с гренками так и простоял всю ночь на столике возле двери.

Но в шестом часу утра профессор засвистал. Заложив руки за спину, шурясь, он стоял у окна. Мокрое дыхание оттепели распространялось над улицей, над разбухшими торцами, торчащими из-под тающего снега. Капало. Очевидно, близилась весна. Воробьи сидели на решетке сада, похудевшей от оттепели. Профессор свистал.

Проект, его проект уже вырос перед ним в хитрейшую, грандиознейшую историю, мистификацию, почти аферу. Он перехитрит их всех, никому и в голову не придет, что он может выкинуть такую штуку. А он выкинет. Он выкинет. Авторизованный некролог? Отлично, он напишет, он напечатает о самом себе некролог. И, злорадно поджимая губы, он тут же придумал начало: «Почивший 19-го сего числа профессор Степан Ложкин был, собственно говоря, по призванию музыкант. В молодости покойный С. С. был незаурядным контрабасистом».

Ступая на цыпочках, он подкрался к двери кабинета и осторожно отворил ее. В спальне был не погашен свет, и утомленная Мальвина Эдуардовна спала на широкой кровати. У нее были плотно поджатые губы, она, должно быть, сердилась во сне. Редкие волосы ее были постарушечьи заколоты на затылке.

Ложкин с минуту смотрел на нее, потом на пустое место рядом с ней. Это было его место. Он быстро заморгал мокрыми глазами, нахмурился и, махнув рукой, пошел к платяному шкафу.

Этот пиджак, серенький в полоску, висел, помнится, вот здесь, в углу, направо, на палке. Пожалуй, нужно взять и жилет. Да тот ли это жилет? Потянувшись с жилетом поближе к лампочке, он споткнулся о постельный коврик и чуть не упал. Мальвина Эдуардовна спала, как прежде.

Он рассердился, раздумал брать жилет и повесил его обратно на палку. Что нужно было еще сделать? Он старался не смотреть на жену. Еще нужно было... Она ему всегда напоминала... Нужно было...

Сунув пиджак под мышку, он вернулся в свой кабинет. То, что нужно было, он даже про себя сказать не решился.

Стесняясь, как бы таясь от самого себя, он вытащил ящик из письменного стола и разыскал заметки к своей последней работе. Это были те самые записи конъектур в тексте «Повести о Вавилонском царстве», из-за которых он, помнится, просидел целую ночь в пустом университетском здании. Ничего особенного! Он возьмет эти заметки с собой. Там еще нужно кое-что доработать. Туда же, в портфель, он запихал и пиджак, скатав его, как солдаты скатывают шинели.

Строго глядя по сторонам, он прошел в переднюю. Сонная прислуга испуганно смотрела на него.

– Скажите Мальвине Эдуардовне, – пробормотал он, натягивая пальто, – что я уезжаю. Он поднял воротник пальто и взял портфель.

– К сестре, в Николаев, – добавил он почти шепотом и негнушимися пальцами взялся за ручку двери.

11

В измятом платье, с ненатуральной улыбкой на лице лежала женщина. Она была чьей-то женой.

Она лежала. В измятом платье. В сером платье. С ненатуральной улыбкой.

Пространство, которое минуту назад было чем угодно, оказалось комнатой. Комната была чужая. Стоял стол. Над ним висела лампа. Голова оленя с палкой в зубах, с ветвистыми рогами смотрела на Некрылова нелюбопытствующим взором. В зеркале качались оконные занавески. Стояла кровать. На ней лежала женщина. В измятом платье. Волькина жена. Жена Владимира Красовского, его друга. Оказалось, что он не забывал об этом ни на минуту. Волька умный. Он его очень любит. Он раскаивается...

Нет, он не раскаивался. Он просто сел на кровать. Ему захотелось есть.

12

До третьего дня он не замечал ее. Было известно, что Красовский женат на веселой женщине, которая часто уезжала куда-то. Красовский как-то рассказывал, что она была шведка родом и научила его ругаться по-шведски.

Кроме того, было известно, что она увлекалась спортом. Впрочем, может быть, увлекалась спортом не она, а жена Сущевского или кого-нибудь другого.

Иногда она мешала ему говорить с Волькой. Но ради Вольки он старался вежливо обращаться с ней.

И вот третьего дня – кажется, это было третьего дня, – зайдя к Красовскому, он не застал его дома.

Комната была прибрана. На окне стояли цветы или что-то зеленое и розовое. Эльза – ее звали Эльзой – с засученными рукавами, раскрасневшаяся, стояла на спинке кровати и прибивала к стене бархатную скатерть.

Он посмотрел на цветы, потом на нее. Потом он спросил ее, когда она вернулась, и оказалось, что она никуда не уезжала. Потом... Потом... (он припоминал)... Потом он помог ей слезть со спинки кровати. Скатерть висела криво. Он полез поправлять скатерть, поправил, ловко соскочил и сказал ей, что она похорошела.

– Скажите мне, кого вы обидели? Женщина может так перемениться только после того, как она кого-нибудь обидит.

Ухаживать он, в сущности, не умел. Он становился отчаянно вежлив, угощал вином и был бы, вероятно, банален, если бы не его инфантильность. Инфантильность придавала его уговорам видимость настоящего увлечения.

Красовскому в тот же вечер он сказал, что у него красивая жена.

– Волька, как ты ее уговорил? Она очень сердилась?

На другой день он слушал доклад о литературном быте, покупал туфли, отправился в баню, но баня была закрыта. Потом было еще что-то или очень многое, он ходил с Эльзой покупать шампанское, ругался на кинофабрике с одним из директоров и сказал Тюфину, что от его последнего романа песок скрипит на зубах.

И вот наступил третий день – висит лампа со стекляшками. Качаются в зеркале оконные занавески. Стоит кровать. На кровати лежит женщина. В измятом платье. А над ней – бархатная скатерть, которую и он повесил криво.

Он почувствовал отчаянье. Чужой матрац! Чужая женщина, которую он почти не знает! Следовало бы сказать ей хоть несколько слов, но у него сил никаких не было.

Он изменял друзьям, как женщинам, все-таки любя их. Но с женщинами он все-таки старался не изменять друзьям. Она была Волькиной женой – следовало оставить ее в покое.

Он уже шлялся по комнате, подтанцовывая, трогал руками вещи. Пейзаж, висевший над письменным столом, он перевернул вверх ногами.

– Эта картина так долго висит над Волькиным столом, что грозит сделаться литературным бытом.

Эльза смеялась. Спустя четверть часа она позвала его завтракать.

Он сам взялся разливать чай и сделал это с ловкостью, которой позавидовала бы любая хозяйка. В двадцатый раз он показал ей свои туфли.

– Хорошие? – спросил он быстро. – Вчера купил у одного сапожника. Не заметил, что приехал из Москвы без подошв. Все магазины были закрыты. Двадцать восемь. Дорого?

Потом он принялся рассказывать Эльзе о своей дочке.

Он съел полкило голландского сыра, уверяя, что дети – это чудесная вещь, и уговаривая ее (что было по меньшей мере некорректно) поскорее обзавестись детьми. Вольке это будет только на пользу.

– У меня дочка, например, занимается тем, что сомневается в реальности и целесообразности мира. Она подозревает, что тут дело нечисто. Жена не дает ей ломать игрушки. А по моему – не нужно мешать ей. Мы вместе с ней ломаем потихоньку.

Но когда его собеседница, в свою очередь, начала говорить что-то о детях, он заерзал на стуле, заскучал, даже заскулил немного.

– Разрешите нераскаянному грешнику, – сказал он с неожиданной плавностью, – исчезнуть между первым и вторым блюдом.

13

Самое примечательное свойство филолога, идущего по улице, заключается в том, что он как бы и не идет вовсе. Он стоит, задумавшись, прижимая к груди портфель, из которого торчат книги, и улица, как телеграфные провода, как улица в кино, мерно двигается по обеим сторонам его и кончается тогда, когда кончается мысль...

Профессор русской литературы, идущий по улице Гоголя, недоумевает. Страшнейшая весенняя выюга лупит в стекла его заливчатских очков, мокрый снег тает за воротником пальто. Он недоумевает. Улица кончается вместе с мыслью, начинается площадь. Из портфеля торчат не книги, нет...

Но рукав пиджака, серенького, в полоску.

«Если, невзирая на гололедицу, перейти... Если, невзирая на распутицу, пересечь... Если, презирая распутство, переплыть...»

У профессора русской литературы на ногах огромные боты. Он не решается перейти, пересечь, переплыть, перебраться.

Никого нет вокруг, только мокрый извозчик торчит на углу. Может быть, нанять его? Он осторожно трогает палкой лед. Он наймет, пускай извозчик перевезет его через дорогу.

Помощь долгожданная, но неожиданная, падает как снег с неба.

Человек в полупилотской фуражке, в меховой тужурке, подтанцовывая, подгоняя себя бормотаньем, шипеньем сквозь зубы, пролетает мимо него.

И оборачивается. И возвращается. И спрашивает у него вежливо, но быстро:

– Вам не перейти? Позвольте, я помогу вам...

Профессор растерянно смотрит на его круглое лицо, на его глаза, живые, но как будто лишенные всякого выражения.

Сильная рука поддерживает его, он решается ступить своими ботами на оледеневшую мостовую, он достигает наконец противоположного тротуара.

Некрылов почти по-военному подносит руку к козырьку. Нет, его глаза не лишены выражения – они смотрят на профессора – с нежностью.

– Я ранен в голову и легко забываю фамилии, – говорит он почти учтиво, – но я знаю вас. В тысяча девятьсот четырнадцатом году, в Тенишевском училище, вы выступали против футуристов.

И он исчезает за углом, легкий человек, веселый и быстрый, человек из другой эпохи.

Профессор снова остается один. Он стоит молча. Он прижимает к груди портфель, из которого торчат – нет, не книги! Но рукав пиджака, серенького, в полоску. Его боты снова начинают скользить. Он недоумевает.

14

Комната была слишком вежлива для скандала. Дубовая панель шла вокруг ее стен в скучном порядке. Над стайей фарфоровых тарелок висел портрет старухи с персидскими глазами. Мебель была деревом и холодной кожей.

Трудно было поверить, что девять лет назад в этой комнате было так холодно, что обитатели ее перепутали от холода всех знакомых женщин. Об этом только что рассказал Некрылов.

Он раскупоривал бутылки – со всей неуклюжестью человека, слишком сильного для раскупоривания бутылок.

Это было одно из собраний, которые всякий раз по случаю приезда Некрылова устраивались его друзьями. Он давно уже спутал свою науку со своей литературой. Но ни одного писателя не было здесь. Не для писателей он приезжал в Ленинград. Все, что он сделал, вышло из научных работ по теории литературы – и ключ к этим работам хранился у его ленинградских друзей. Он ценил их. Наука была для него кровным делом. Он тысячу раз готов был вернуться к ней. Мешала Москва, кино, гонорары. Быть может, женщины.

Писателей здесь не было.

За обеденным столом, на мебели, которая была только деревом и кожей, под персидской старухой и фарфоровыми тарелками, сидели филологи.

Он многих не знал, но почти все называли себя его учениками. Даже те, которые изменяли ему.

Он постоянно ссорился со всеми, Драгоманов ко всему миру относился с презрением скучным, как прах, – и ученики (те из них, что тянулись к диссертациям и благополучию) не желали продолжать ссор своих учителей. Они не понимали, что, сглаживая эти ссоры, они сглаживали науку.

И друзья! У него ли не было друзей! Он долго смотрел на Красовского, который был по-прежнему бледен и красив, в котором по-прежнему угадывалась военная выправка, унаследованная от шести поколений. Штабной офицер, который знает, как трудно писать книги! Некрылов еще не забыл о его жене. Он смотрел на Красовского виноватыми глазами.

И Драгоманов. Он наткнулся на Драгоманова взглядом и чуть не пролил вино.

Драгоманов сидел, со скучной настойчивостью рассматривая свои руки, тяготясь шумом. Он был холоден.

Курсистка или аспирантка, которая извивалась, совершенно как игрушечный, добродушный, но все-таки змей (и говорила, несмотря на это, язвительно и остроумно), сидела рядом с ним. Минуту спустя Драгоманов догадался, что она повторяет какую-то из его лекций. И он закрыл один глаз и другим – туманным – сонно оглянул уставленный винегретами, рыбами, винами стол и людей, к которым он не чувствовал ни зависти, ни приязни.

И, оглянув, принялся размешивать ложечкой белую бурду – какое-то восточное блюдо, которое он сам приготавливал из заваренной крутым кипятком пшеничной муки, пополам с сахаром и сливочным маслом.

Он ждал.

Некрылов посмотрел на него с другого конца стола и вдруг забыл, о чем шел разговор по правую руку от него и по левую руку.

– Боря! – крикнул он Драгоманову и показал жестом, что пьет за него. Драгоманов с вежливостью, почти равнодушной, поклонился ему, легко приподнял рюмку.

Это был смотр сил, испытание позиций. Уйдя от науки, живя в Москве, среди чужих людей, среди рвани, которая путалась у него под ногами в кино, Некрылов понимал, что он и его друзья переменялись ролями. Когда-то он приезжал сюда как признанный руководитель – проверять состояние сил, восстанавливать нарушенное равновесие. Теперь пора было перестать притворяться хозяином дома, в котором произошли беспорядки. Беспорядок начинал требовать у него отчета. Отчета требует у него, например, Драгоманов. Он требует отчета? Отлично, он его получит.

15

– Товарищи. Я хочу сделать одно предложение, – начал он почти спокойно, – в Москве есть журнал. Он называется «Мена всех». В нем можно скандалить.

Он не знал фамилии востренького юноши в очках, который, казалось, вот только что окончил Петершуле. Юноша возразил ему, что скандалить не стоит, скандалы автоматизовались.

– Хршо. Я согласен. Автоматизовались. Не в этом дело. Дело, кажется, в том, что вам нужно печататься. Вы хотите печататься?

Фамилию многословной, но ядовитой аспирантки с мужскими жестами он прекрасно знал. Аспирантка с мужскими жестами сообщила ему, что у нее есть статья, которую этот журнал не напечатает. Это была первая обида. Ленинградцы не принимали журнала, который он почти редактировал. Они объявляли журнал сомнительным, они шутили над ним. Он принял вызов. Здесь начинался отчет.

– Товарищи, что такое «Мена всех»? – оглушительно прокричал он уже другим, яростным голосом. – Это шляпы, которые мы оставили в передней. Мы заняли места, а сами ушли пить чай. Товарищи, нужно занять места. Нельзя быть такими спокойными. Борис Драгоманов... – он встал, и кресло откатилось от него с визгом, – Борис Драгоманов смотрит на меня одним глазом. Другой он оставил в резерве. Он шутит.

Меньше всего можно было сказать, что Борис Драгоманов шутит. Левый глаз его остался закрытым, но правый начинал злеть. Лицо было желтоватое, но все еще молодое. Лицо человека, который слишком много знал. Быть может, даже знал наперед – это было самое страшное – и то, что он, Виктор Некрылов, собирался сказать о нем.

– Да нет, шутить не приходится, – почти пробормотал он.

Но Некрылов уже его не слышал. Он никого не слышал. Он кричал:

– Товарищи, больше нельзя отшучиваться. Мы хотели обшутить современность, а правыми оказались те, которые не шутили. Поверьте мне! Было время, когда я перешучивал целые госиздаты! Я выбыл из науки, это была моя ошибка. Но ведь вы же здесь делаете не то, что нужно. Вы не работаете. Вы торжествуете. Вы спокойны. Товарищи... (Он перекричал шум.) Я хочу доказать вам, почему я против спокойствия. Я говорил про «Мену всех».

– Гимназический журнал небызвестного семейства, – холодно и раздельно сказал Драгоманов.

Это была вторая обида. Отчет продолжался.

– Ну, острога, согласимся с остротой. Товарищи, не думайте, что я прекрасно существую. Садясь за стол, я не знаю, как писать, о чем писать. Кроме моей памяти и... и шкуры писателя, у меня ничего нет. Но я живу со своей эпохой, я знаю, как это делается, я защищаю свое. А вы?

Юноша из Петершуле возразил ему, что эпоха представляется ему в виде кассы, из которой, при условии абсолютной удачи, можно иногда получить деньги – по 45 рублей за печатный лист научной работы. Юноша был уже несколько пьян, говорил очень задорно и почему-то в виде тоста.

Некрылов ласково и в то же время с яростью слушал его.

– Сколько вам лет? Двадцать два? Для двадцати двух – мало сделано! Вопрос не в деньгах. Поверьте мне на десять процентов. Товарищи, у готтентотов были такие племена, где люди измеряли время огнем. Они зажигали дерево, и оно медленно горело. Я где-то писал об этом. Они медленно считали время. Потом они переселились на другое место, где дерево горело в несколько раз быстрее. И они умерли. В три года. Товарищи, нам есть еще о чем говорить! Не будем считать время по-разному. Оно вытесняет нас из науки в беллетристику. Оно слопало нас, как хотело. Не нужно отшучиваться. Нужно это давление времени использовать!

– Давление времени? – со скучным презрением возразил Драгоманов и остановил Некрылова, подняв навстречу ему свою узкую, немужскую руку. – Вы используете давление времени? Вы сидите там в Москве на дырявых стульях и делаете высокую литературу.

Он не кончил. Некрылов швырнул в стену стакан с вином, который он держал в руках. Стакан был пущен меткой рукой и попал не в левое окно и не в правое – в простенок, довольно узкий, впрочем.

Он рассадил стакан и с дергающимся лицом оборотился к Драгоманову.

Все молчали.

Молчали и те, кто понимал, что буйство Некрылова было уже не то. Он не в первый раз рассаживал посуду о стену. Он буйнил, видя, что за ним наблюдают.

– Вот то-то и есть, – ни к кому не обращаясь, пробормотал Драгоманов. – Вот оно... Время! Стаканы бьешь. Кричишь!..

Красовский, качнувшись, привстал, схватил Некрылова за рукав и посадил его рядом с собой.

– Витя, выпей воды, – сказал он тихо, – или водки, может быть, еще выпей. И успокойся.

– Ты со мной согласен? Я правильно говорил?

– Я? Согласен. Правильно. Выпей воды.

Одним глотком Некрылов выхлебнул стакан воды и встал, вытирая рукой мокрые губы. Он торопился. Он не договорил.

Расхаживая по неширокому пролету между креслами и столом, трогая вещи, он говорил, говорил и говорил. Он кричал – и в нем уже нельзя было узнать легкого оратора Академической капеллы, ради остроумного слова готового поступиться дружескими связями, женщиной или настроением.

Это было тяжелое буйство человека, защищавшего свое право на буйство. Это была борьба за власть, преодоление зависти к этому умнику с желтоватым лицом и туманными глазами.

Умник же с желтоватым лицом и туманными глазами, слушая его, равнодушно ел рыбу. Косточки он аккуратно раскладывал по краям тарелки.

Некрылов говорил о том, что нельзя так спокойно сидеть на голом отрицании, что когда-то они писали, чтобы повернуть искусство, и «не может быть, чтобы мы играли не в шахматы, а в нарды, когда все смешано и идет наудачу». Он говорил о том, что у него болит сердце от бесконечного довольства, которое сидит перед ним вот за этим столом, и о том, что Драгоманов не имеет права есть рыбу так, как он ест ее сейчас, если он думает, что у нас не литература, а катастрофа...

Драгоманов оставил рыбу и снова взялся размешивать ложечкой свою бурду.

– Не стоило разбивать стакан, – негромко возразил он.

– Один стакан! А посчитайте, сколько стаканов я разбил для того, чтобы вы могли говорить...

Он сказал это, сжав зубы, большие сильные челюсти проступили на его лице, он чуть не разрыдался.

– Ну, милый, милый, брось, чего там... Наше время еще не ушло. Живыми мы в сейф не ляжем, – почти сердечно сказал Драгоманов.

16

Потом начался конец вечера – начались игры и пьянство. Пустые бутылки уже стояли посередине комнаты – вокруг них возились, взявшись за руки, и желторотые студенты, и очкастые, дьявольски умные аспиранты.

В соседней комнате играли в рублик.

Было уже очень поздно, когда аспирант, белокурый и длинноногий, похожий несколько на жирафу, объявил, что желает петь.

Он был пьян и, быть может, поэтому пел меццо-сопрано.

Любовь, как всякое явление,
Я знаю в жанрах всех объемов.
Но страсть с научной точки зренья
Есть конвергенция приемов.

Он не окончил. Хохот грянул с такой силой, что шелковый абажур потерял равновесие и, как бабочка, бесшумно взлетел над столом.

Длинноногий аспирант уже стоял посередине комнаты на разбитых бутылках и размахивал бесконечными руками в твердых, как железо, манжетах. Пустив залиvistую басовую трель, он снова перешел на меццо-сопрано.

Пускай критический констриктор
Шумит и нам грозитя люто,
Но ave Caesar, ave Victor,
Aspiranturi te salutant!⁹

Да полно, был ли он Victor'ом? Точно ли он победил? Быть может, ему следовало не нападать, а защищаться? Но ведь и у них здесь многое было неблагополучно. «Не стоило разбивать стакан». Да, может быть, и не стоило. Он чувствовал себя побежденным.

Весело похлопав белокурому аспиранту, он подтащил к себе Драгоманова и посадил его рядом с собой на диван.

– Знаешь, Боря, – сказал он сквозь шум, сквозь хмель, который нужно было преодолеть, чтобы заставить себя найти нужное слово, – по последним исследованиям... Это изучали в Германии... По последним исследованиям, смертность от ран несравнимо более велика в побежденной армии, чем в победившей.

⁹ Да здравствует Цезарь, да здравствует Виктор, // Аспиранты тебя приветствуют! (лат.)

Он запоминал имена людей, которые обижались на него, чтобы на другой день звонить им по телефону.

Если накануне вечером он уничтожал человека за плохой рассказ (или за хороший), он говорил: «Я вспомнил, что у тебя есть одно забавное место».

Он ссорился на людях и мирился наедине...

Наступало утро, шел снег и делал мир манерным.

Некрылов шатался по Васильевскому острову, почти не догадываясь, что пьян, принимая пьянство за усталость.

Кому он должен сегодня звонить и о чем ему говорить с людьми, которых он обидел?

На Пятой линии он встретил собаку и долго, очень сердито рассматривал ее. Собака сидела под воротами, лохматая, разочарованная, голодная, как собака. И все-таки она смеялась над ним. Она приоткрывала зубы, опускала уши, подавалась назад. Она смеялась над ним, она его обижала.

На всякий случай он сказал ей номер своего телефона:

– Позвони мне, пес, и скажи, что ты не хотел меня обидеть, что после меня будет легко писать. Что я знаменитый писатель.

Он посмотрел мимо пса во двор. Этот дом, похожий на почтовый ящик, был знаком ему. В этом доме, похожем на письменный стол, на площадке второго или третьего этажа по черной лестнице было выбито окно. Он когда-то стоял на площадке, возле разбитого окна, и следил, как мимо двадцатиугольной дыры падал снег, напоминавший кинематограф.

Он ждал кого-то...

– Кого я ждал, пес, и что я здесь делал? И согласен ли ты со мной, что у нас не литература, а катастрофа?

Теперь он знал, кто живет в этом доме. В этом доме, похожем на чемодан, жила Верочка, Верочка Барабанова.

Поднимаясь по лестнице, он бормотал, пел или насвистывал марш. Как все это было знакомо! В который раз он шел к женщине, которая не ждала его, в который раз он знал наперед каждое движение, каждое слово. Он чувствовал себя разбойником, к нему тоска подступала.

На третьей площадке и точно было выбито стекло. Снег падал иначе, чем тогда, утомительнее, тяжелее. Верочка жила здесь. Сегодня вечером он уезжает. Он должен ее увидеть.

Босоногая девица в мужском пальто открыла ему двери. Бормоча, напевая или насвистывая марш, Некрылов прошел мимо нее в коридор. Шесть или двенадцать дверей встали перед ним, как шесть или двенадцать раз повторенный кадр.

Он усмехнулся и распахнул самую знакомую из них.

В комнате было утро и беспорядок. И мольберт, повернутый к стене. Спокойная, как отпуск, за ширмой стояла кровать. Он заглянул за мольберт и за ширму. На мольберте он увидел полотно, усеянное выпуклыми мазками, которые хотелось потрогать пальцем или даже скovyрнуть.

За ширмой он увидел женщину, которая не была женой, сестрой или любовницей друга. За это он был ей искренне благодарен.

Он сел на низенький табурет и с минуту смотрел на нее с детским любопытством. Она лежала, свернувшись калачиком. И он всегда так же спал в детстве. Впрочем, детства у него, кажется, не было. А как он спит теперь?

Нет, он не чувствовал себя разбойником, он был одинок и пьян. И ничего не хотел. И уже не возражал против спокойствия. Неблагополучие шло на него сомкнутыми рядами. Это случилось с ним не в первый раз. Но тогда у него было чем отбиваться.

Разбудил ее он все-таки не потому, что все вокруг становилось страшноватым. Но он загадал. Детское гимназическое суеверие бродило в нем. Он загадал – если, проснувшись, она скажет: «Вы сошли с ума», – он окажется сильней неблагополучия... Если же: «Вы потеряли голову», – значит предстоит спокойствие, конец биографии, значит он существует неверно.

И он разбудил ее. Она открыла глаза и, почти не удивляясь, протянула ему руку. Рука была тонкой, как римская свеча. Некрылов молча поцеловал руку. И не угадал. Подоткнув под себя одеяло, поправив волосы, упавшие на лицо, она сказала с торжеством, которое было немногим веселее его одиночества:

– Дорогой Виктор, вы слишком рано разбудили меня. По отношению к женщине, которая как-то на днях была влюблена в вас, вы поступаете по меньшей мере неблагоприятно. Тем более что у меня сегодня масса хлопот. Я выхожу замуж.

18

Верочка одевалась за ширмой, он видел краешек ночной кофточки сквозь створки, разошедшиеся на петлях. Больше ничто уже не меняло очертаний. Иронически улыбаясь, похожий на карикатуру Чемберлена, он сидел на диване, поджав под себя одну ногу, вертя ступней.

– Верочка, вам нельзя выходить замуж, – сказал он краешку ночной кофточки, створкам, разошедшимся на петлях. – Вы похожи на слишком умных детей, вам нельзя. Вы попадете в дурные руки. Вы будете породистой собачкой в дурных руках.

Он вытянулся на диване, лег, затолкав под голову свой зеленый шарф.

– Я хочу рисовать, – услышал он. Голый локоть мелькнул над ширмой. – Я запретила себе все, кроме живописи. Дорогой Виктор, не старайтесь сбить меня с толку. Все решено.

– За кого?

– Что – за кого?

– За кого вы выходите замуж?

– Не все ли вам равно?

– Я его убью.

Он молча выслушал длинную речь о том, что ей скоро будет двадцать четыре года и что это нелепо. О том, что она хочет ни от кого не зависеть – «и тогда придет все, что только может прийти». О том, что она все предвидела, кроме себя самой, и что она обречена на несчастья. О том, что она хочет повеситься. О том, что она хочет выйти замуж. О том, что с каждым днем она становится все равнодушной. О том, что она принуждена носить платья, которые к ней не идут. О том, что она хочет стать немкой и вязать чулок. «И ему конца не будет, потому что я не умею вязать пятку». О том, что она противна самой себе. О том, что самое важное – нарисовать картину, чтобы она выглядела как что-то пустое, как чистый воздух. И о том, что вчера она разорвала самое лучшее свое полотно. И наконец, о том, что, пока помнят обиду, ее еще не простили.

Некрылов слушал ее, неотчетливо улыбаясь. Он накрылся пальто, стащил откуда-то маленькую диванную подушку. Обида, вот в чем дело. Ее не следовало обижать. Он не позвонил ей на другой день по телефону.

– Почему вы выходите замуж? – спросил он грустно, свалив голову набок. – Потому что я вас обидел? У вас, кажется, четвертый этаж? Хотите, я сейчас прыгну из окна? Если я расшибусь, вы расскажете об этом Боре? Как его зовут?

– Кого?

– Этого человека. Вашего мужа?

– Кирилл.

– Фамилия?

– Кекчеев.

– Армянин? Татарин? Все равно. Я поговорю с ним. Я объясню ему, почему это неправильно. Боря его знает? Я отхлопочу вас у него. Он умный?

В ответ на этот простой вопрос он должен был выслушать обстоятельный, хотя несколько бессвязный доклад о Кирилле Кекчеве. Она устает от слишком умных людей. Ей легче с ним, чем с писателями или художниками. Впрочем, она еще не знает его. Он то слишком ловок, то неуклюж, то теряется, то говорит дерзости. Он влюблен. В нем чувствуется незаурядная настойчивость, он сделает блестящую карьеру. На днях он говорил с ней о завоевании учреждения, как миссионер об обращении дикарей. Он круглый. Говорит по-латыни. Очень молодой. Франт. Важничает. Смешной. Много ест. И ничего не понимает в живописи.

Некрылов сбросил пальто и встал. Вежливый, очень веселый, он с истинной корректностью поцеловал ей руку. Мир вернулся на свое место, он был трезв, удивительно трезв и ясен. Потягиваясь, размахивая руками, он прошелся по комнате. Ему хотелось схватить что-нибудь, смять, связать узлом. Связать узлом он хотел кочергу, но Вера Александровна отняла кочергу и посадила его обратно.

– Я увезу вас из-под венца, – объявил он, прихлопывая по ее руке ладонью. – Вы хорошо рисуете. Вы милая. Я где-то уже писал об этом. И я не могу позволить вам выйти замуж за этого человека. Во-первых, – он протянул это слово, – вы его не любите. Во-вторых, это не человек. Это болезнь.

Она была мила, и он любил ее. Но он не был мил, и она его не любила

1

Несчастье не сломило Мальвину Эдуардовну. В ней проявились внезапно энергия, распорядительность, даже ум. Боевая курсистка, принципиальная курсистка именно акушерских, а не каких-либо других курсов, проснулась в ней на следующий же день после загадочного исчезновения мужа. Как поседевший на своем деле следователь, она шесть раз подряд допросила прислугу. Выяснилось – профессор свистал, потом оделся и вышел. Дальше шли сведения, противоречащие здравому смыслу. Никакой сестры у профессора в Николаеве не было. Жила когда-то тетя, замерзшая в 1918 году. Трудно было допустить, что он поехал на могилу к тете.

Не потеряв бодрости, потрясая почему-то трудовой книжкой, Мальвина Эдуардовна в течение двух часов буйствовала в милиции. Ей представили подробный список всех ленинградских граждан, покончивших за истекшие сутки самоубийством. Здесь был безработный бухгалтер, не сумевший примириться с тем, что домком перевел его в разряд свободной профессии, и двенадцатилетняя девочка, оставившая краткую записку: «Причина – разочарование в жизни». Но профессора Ложкина не было в этом списке.

Прямо из милиции Мальвина Эдуардовна отправилась в Академию наук. Не соглашаясь на непременно секретаря, она потребовала самого президента. Президента ей увидеть не удалось, но выяснилось: Академия наук сочувствовала, обещала принять все меры, зависящие от нее; а впрочем – это было видно по самому тону разговора, – быть может, даже ожидала от без вести пропавшего профессора какого-нибудь фортеля в этом роде. Все ожидали, кроме нее. Она одна его просмотрела.

Из Академии Мальвина Эдуардовна удалилась с достоинством, с твердостью. Но, вернувшись домой, она вдруг почувствовала всю глубину своего несчастья. Боже мой, ведь на нее же смотрели как на женщину, от которой сбежал муж!

К родным она совсем не пошла. Оставались друзья. Разве у Степана Степановича не было друзей, друзей еще с университетской скамьи? Разве его не любили? Не уважали?

На третий день своих бесплодных поисков она надела черное шелковое платье, почти траурное платье, которое скорбно шумело при каждом шаге, взяла лорнет и отправилась к Вязлову.

2

Когда она увидела длинную табачную бороду и сторбленные умные плечи Вязлова, у нее губы задрожали от жалости к самой себе. Но она сдержалась, только поднесла платок к лицу. Вязлов (он вышел в переднюю, чтобы встретить ее) очень сочувственно и с неожиданной в его годы легкостью поклонился ей, поднес к губам руку. В ответ она громко поцеловала его в лоб. Все это произошло в полном молчании, почти торжественно, почти так, как если бы профессор Ложкин не был уже причастен земных сует.

Придерживая ее под руку, Вязлов провел ее в свою комнату, подвинул кресло поближе к камину, усадил ее сам, сел к столу.

Она сидела выпрямившись, крепко сжимая в руках платок, поджав губы.

– Вот, Иван Ильич, пришла к вам. Вся моя надежда на вас. Вы ведь всегда были нашим другом...

Это было сказано с твердостью. Другом он никогда не был. Напротив того, из-за Мальвины Эдуардовны несколько лет находился с Ложкиным в отношениях холодных, она не раз ссорила мужа с друзьями.

Вязлов послушал немного, о чем она говорит.

– Что ж, так и не нашли его, Степана Степановича? – спросил он, разглаживая кулаком усы. – А может быть, он за границу уехал? Я вот тут как-то сегодня ночью подумал, что он за границу уехал. И решил, что в Париж.

Мальвина Эдуардовна изумленно подняла брови:

– Но ведь у него же и паспорта заграничного не было.

– Ну и что ж такого, что не было! Это не имеет большого значения. Вот у меня был такой знакомый, Морачевич, сенатор. Не тот Морачевич, который в полиции служил, а другой, однофамилец. Так он – по крайней мере, так мне его жена рассказывала – как-то раз вернулся с заседания государственного совета, пообедал даже, кажется, – и уехал. В Париж. Так и пропал. Потом его где-то в портах Средиземного моря видели. Жил среди греков, ловил рыбу.

Мальвина Эдуардовна беспомощно развела руками.

– Впрочем, насчет Степана Степановича, – добавил, немного подумав, Вязлов, – действительно трудно такую историю предположить. Этот Морачевич, он ведь глупый был. Ну а в сыском?... В сыском-то отделении вы спрашивали?

– В сыском отделении ничего не известно, – сказала Мальвина Эдуардовна, – решительно ничего. Они говорят, – она оскорбленно поджала губы, – что это личное дело Степана Степановича, что он может жить, где хочет, и я вовсе не вправе ему мешать.

Вязлов подвинул к себе коробку с табаком и слегка дрожащими, сухими пальцами принялся набивать папиросу.

– Гм, это интересно... Такая точка зрения для сыского – это все-таки новость. Это что ж... Такое законодательство теперь? Стало быть, если человек без вести пропал – он имеет на это полное право? Хочу – пропадаю, хочу – нет! Свобода воли, так сказать, индетерминизм. Я вот слышал, что индетерминизм как-то не в моде теперь. А он, оказывается, даже на законодательство имеет влияние. Ну что ж, стало быть, и разыскивать его на основании свободы воли отказываются?

– Не отказываются, но ничего не обещают.

– Любопытно, очень любопытно. А вот раньше сыское отделение философски было менее образованно, но работало отчетливее и, очевидно, более успешно. У меня вот Александр, сын, тоже как-то однажды пропал бесследно. Он, правда, тогда еще маленький был. Его, кажется, нянька потеряла... Или нет, это Андрея нянька потеряла. А Александр Густава Эмара начитался и в Америку убежал. Я тогда тоже в сыское отделение обращался. И нашли. Где-то под Москвой на полустанке задержали.

Мальвина Эдуардовна сидела прямая, бледная. Казалось, она была чрезвычайно заинтересована историей с Александром. Но когда Вязлов кончил, она поднесла платок к глазам и заплакала.

– Ведь он же мне ни одного слова не оставил. Он накануне целую ночь взаперти в своем кабинете просидел. И денег с собой не взял. Ушел с одним портфелем.

Вязлов, нахмурившись, гладил тощую бороду. Он привстал и сочувственно тронул ее за рукав.

– Мальвина Эдуардовна, поверьте слову моему – найдется. Ничего особенного в этом деле не нахожу. Усталость. Он отдохнуть поехал, он сейчас где-нибудь в Царском Селе живет. Отдохнет и вернется.

Мальвина Эдуардовна вытирала мокрые глаза, сморкалась.

– Нет, нет, вы только утешаете меня, Иван Ильич. Я знаю, знаю. Он старости своей не пожалел. Я все понимаю отлично. Он не один уехал.

Вязлов пристукнул палкой и с изумлением уставился на нее. Глаза его иронически сощурились, он шумно откашлялся и пустил дым через нос.

– С кем же он уехал?

– С женщиной, – твердо сказала Мальвина Эдуардовна, – к нему курсистки ходили под видом экзаменов, каждую неделю ходили. Он франтить начал, меня сторониться стал. Его завлекли, завлекли...

3

Когда бессонница перешла в старание уснуть, а уснуть все-таки не удалось, Драгоманов встал и, съжившись, грея под мышками пальцы, вышел в коридор.

Коридор спал и во сне вонял щами.

Прихрамывая, Драгоманов прошел вдоль матовых ламп.

Дохлая студент, известный тем, что даже в поминальной, на похоронах профессора Ершова, речи умудрился пожаловаться на соседство с уборной, попался ему навстречу.

– Ну, как с клозетом? – приветливо спросил его Драгоманов.

Сверху, с третьего этажа, еще долетали раздробленные голоса, стук шагов. Каждую ночь в третьем этаже собирался клуб трепачей, в который входили все первокурсники, твердо решившие без удержу прожигать жизнь.

Драгоманов загнул за угол, вступил в другой, более семейственный запах и, остановившись у комнаты Лемана, ногой толкнул дверь.

Луна спала вместе с Леманом, в его постели.

Он лежал, зарывшись в подушку, узкие плечи торчали из-под серого солдатского одеяла.

Во сне он походил на отставного клоуна, на рыжего, доведенного до изнеможения.

Драгоманов с досадой посмотрел на него. Но пожалел, будить не стал. Не только не стал будить, но заботливо прикрыл детскую пятку, вылезшую из-под одеяла.

Потом сел к столу.

Казалось, он был прибран раз и навсегда, леманский письменный стол: по правую руку и по левую лежали аккуратные стопочки книг. Рядом с бутылкой чернил стоял морской компас. Леман гордился им – компас был подарен ему пьяным штурманом, который пришел в восторг от собственного некролога.

Драгоманов взглянул на стрелку. Север лежал еще напротив юга, запад напротив востока. Они еще не сошли со своих мест, не поменялись ролями.

Драгоманов пожалел, что они не поменялись ролями, и поставил компас обратно.

Со скучным лицом он принялся пересматривать книги.

Леман читал, как выяснилось, о йогах, о радио, о скорейшем и легчайшем способе научиться гипнозу. Тут же лежало тщательно переписанное сочинение о Белоруссии, которое начиналось словами: «Отнюдь довольно!..»

Прочтя без особенного интереса о том, что белорусы прямые потомки яфетидов, и отложив сочинение в сторону, Драгоманов наткнулся на клеенчатую опрятную тетрадь. На обложке ее было вырезано перочинным ножом, и очень искусно:

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
СТУДЕНТА ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИВАНА ЛЕМАНА

а внизу помельче:

с присовокуплением некоторых данных автобиографического характера

Драгоманов оживился, подсел ближе к свету. Стало быть, что же? Студент исторического отделения Иван Леман ведет мемуары? Его все юродивым считают, а он втихомолку записывает. Быть может, он для того и притворяется человеком неопасным, чтобы без помехи можно было наблюдать, записывать, запоминать.

Драгоманов раскрыл тетрадь и уткнулся в нее с живейшим любопытством.

Леман писал:

«Все перечитавши, и несколько раз, что только нашлось своего или занятого, все передумавши, и неоднократно, что только задержалось в моей старой голове, всем наскучивши, наконец с месяц нахожусь я в совершенном бездельи, следовательно, в несносной скуке. Работать в огороде или бродить по окрестностям моего самопроизвольного заточения? Препятствует ежедневный жар. Выезжать на охоту? Стрелять в сие время нечего, к тому же оводы одолевают коней...»

Драгоманов сощурился, с недоумением повертел в руках тетрадь.

– Каких коней? В каком огороде? Впрочем, он летом, кажется, уезжал куда-то. Но «в старой голове»? Он с ума сошел, очевидно.

Он продолжал читать.

«Чем же наполнить день, особенно чем сокращать предолгие предобеденные часы? Писать?.. Я бы, кажется, забыл давно писать, если бы не поддерживал сие неважной перепиской, которая не может дать дельного вещесловия. Но что дельное? Ничтожность не занимательна, следовательно, не должно писать все, что попадать станет под кончик твоего пера. Так вот мой предмет: мое время. Я хочу писать мою жизнь и какие мне памятли важнейшие, случившиеся в течение оной происшествия. Да не подумает кто-либо, что сим маловажным занятием я хочу втесниться в лик творцов сочинений. Отнюдь! Я знаю, какие потребны дарования, сведения, знания, учение, витийство писателям, посвятившим себя или пожалованным препровождать до позднейшего потомства громкие подвиги витязей, славу владык, бедствия народов. Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих, – следовательно, я буду писать как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонов, ни Ливиев, ниже других витий времени нашего и времен минувших. Слог мой, подобно деяньям, будет прост, но правдив, в чем призываю на помощь мою богиню – истину».

Драгоманов, оторопев, гладил себя ладонью по лбу. Леман писал прекрасным языком. Более того – языком, который насчитывал за собой никак не меньше полутора лет.

«Родился я в Белоруссии, в городке Болотном, от родителей ежели не знаменитейших и богатейших, то от самых здоровых и молодых.

Отец Петр Петрович Леман, юноша 21 года, женился по взаимной сердечной склонности на матери моей, 16-летней отроковице Анне Ивановне Кореньковой, и их счастливый союз на десятом месяце был украшен моим появлением. Родиться первенцем от неискусобрачных (за что буду крепко стоять, по меньшей мере с одной стороны), молодых, здоровых родителей, быть воздоену матернею грудью – значит получить с жизнью прочное членоустройство, чистую кровь, здоровые соки... Сие наблюдается по всем хорошим конским и другим заводам.

Взгляните на сего благообразного, преисполненного любезности юношу: не являют ли все черты его лица и все движения его тела, что он есть произведение тихих сладостных минут вечера, когда добрые, чувствительные два существа после вечерней приятной прогулки, в уединенной мирной храмине предаются восторгам целомудренной любви? Не доказывает ли он ярким румянцем своих щек, упругостью своих мышц, широкою грудью, звонким голосом, всегдашней веселостью, что он чадо доброго союза, засеянное дюжим, трудолюбивым земледельцем в ложесна дородные, здоровые подруги, в тени ли ветвистых рощ, в холодке душистого стога?»

Низко склонившись над столом, дымя папироской, Драгоманов дочитал тетрадь до конца.

Леман сообщал в дальнейшем, что мать его, приживши второго сына, на двадцатом году жизни овдовела и, обижаема будучи тетками, вторично поступила в замужество.

Что отчим утопил было его в пруду, неподалеку от деревни Котляковки, но не успел в сем происшествии, будучи остановлен мимо проезжими поселянами.

Что, отдаваясь напоминовениями сколько можно, видит он как бы во сне, что, будучи отправлен на учение в Минск, жил он под начальством какой-то женщины, именем Варвара, «в совершенной праздности», шатаясь по улицам и, «по крайнему изобилию всех плодов, пресыщаясь ими». Что вредные наклонности, происшедшие от сего, заставили его в течение времени погрузиться в распутство. Что попущение своевольствовать со стороны начальства его, женщины Варвары, должно было предать его всем порокам своеволия. Но что белорусское, хоть и плохое, воспитание не только удержало его от всесовершенной гибели, но содейло в нем правила нравственности, доброты и благочиния.

Драгоманов тихо положил тетрадь обратно.

Мемуары были чужие.

Бедный студент исторического отделения Иван Леман! Он списывал их откуда-то. Из Радищева? Из Карамзина? Для его некрологов, торжественных и благопристойных, не хватало торжественных мемуаров. Его привлекала звучность. Слова звучали, как медь, почти как молитва.

«Попущение своевольствовать... Всесовершенная гибель».

4

Прожигающие жизнь первокурсники уже не лупили каблуками в пол, лампы в коридоре были уже погашены, когда Драгоманов вышел из леманской комнаты. Он возвращался к себе – не с тем, разумеется, чтобы снова попытаться уснуть. Но он ловил ясный утренний час для работы.

Снежный нетронутый свет падал от Невы в его окно, вещи стояли маленькие, как дети. С посветлевшими глазами он уселся за стол, разложил рукопись – он писал большую статью о языке прозы с лингвистической точки зрения.

Но что-то мешало ему работать, руки были не те, карандаш был не отточен.

Досадливо качнув головой, он отправился обратно к Леману.

– Леман, материальный писец, материалист, – сказал он и, отрывисто рассмеявшись, стянул с него одеяло. – Студент исторического отделения Иван Леман! Извиняюсь, что разбудил.

Леман негромко взвизгнул, поджимая под себя голые, покрытые рыжим пушком ноги. Он испуганно моргал, отмахивался.

– Леман, важное известие, прими во внимание, – сказал снова Драгоманов и сел к нему на кровать. – Один из твоих некрологов можно, кажется, отправить в газету. Не белорус, – добавил он, начиная щекотать Леману пятки, – но зато профессор. Ординарный профессор, не какой-нибудь. И член-корреспондент Академии наук... Ага! Скончался! Погиб, не оставив за собой ни следа, ни дуновения. Фамилия Ложкин, по имени Степан Степанович. Можешь написать о нем в своих мемуарах: «Он был, и его не стало», или «скончал жите свое», или «жизни более уже не причастен». Напиши о нем, дорогой Леман, дорогой студент исторического отделения Иван Леман. В одном я не сомневаюсь. Об одном я сожалею. В одном я всесовершенно уверен. В том, что тебе, дорогой Иван Леман, не удастся сказать на его могиле поминальную речь!

5

– Все негры – брюнеты. Я – брюнет. Следовательно, я – негр?

Меньшая посылка навряд ли была верна. Профессор логики Визель не был брюнетом. Он был сед. Целая туча седых волос сидела на кафедре. Из тучи изредка слышался смех.

Профессор был знаменитый хохотун и насмешник.

Высокий студент с великолепным носом, с волосами, вдохновенно закинутыми назад, стоял перед ним и, что называется, «плавал».

Он «плавал» уже минут двадцать, но достоинства не терял. На каждый вопрос Визеля он оскорбленно взмахивал шевелюрой, шевелил губами, но молчал.

В экзаменационном листе напротив его фамилии давно уже была нарисована лодочка. Таков был Визеля обычай. Если студент выплывал, к лодочке приделывался плюс, похожий несколько на парус, если же тонул – минус, который можно было, пожалуй, принять за сломанный руль.

К концу сессии целый водный транспорт всплывал на поверхность студенческих неудач.

Ногин, невыспавшийся, усталый, злой, сидел на последней парте и зевал, разглядывая знакомый потолок пятой аудитории.

В книгу он, верный испытанному правилу – перед смертью не надышишься, – не смотрел. Экзамен был приготовлен сгоряча, в три дня.

Три дня подряд он вставал в шесть часов утра и до поздней ночи изучал законы логического мышления, методы опровержения суждений.

Латинское стихотворение, придуманное средневековыми монахами для облегчения запоминания правильных модусов, хлопало в его мозгу, как оконные ставни.

Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, prioris,
Cesare, Camestres, Festino, Baroco, secundae...

Седая грива волос на кафедре казалась ему логической ошибкой.

– Ну хорошо. Оставим негров. Очевидно, вы, коллега, питаете неприязнь к народам хамитской расы. А вот что вы скажете по поводу такого силлогизма? Вы – не то, что я. Я – человек. Следовательно, вы – не человек?

На этот раз студент нашелся быстро.

– Ошибка здесь в том, – уверенно сказал он, – что я тоже человек.

К лодочке на экзаменационном листе неторопливо приделывался руль.

– Не смею сомневаться, – очень серьезно возразил Визель, и весь заходил от хохота на своем тряском стуле, – весь вопрос в том, очень ли вы занятой человек и не можете ли вы прийти ко мне еще раз?

Студент молча взял обратно матрикул и раздраженно засунул его в курс логики, который держал в руках. Он ничего решительно не знал, ни на один вопрос не ответил.

Тем не менее, выходя из аудитории, он громко сказал, оскорбленно потрянув шевелюрой:

– Гм, странно!

И с треском захлопнул дверь.

Ногин невесело посмеялся ему вслед: «Вот сейчас пойдет эта толстуха, кубышка, которая с утра до вечера катается по университетскому коридору. Тоже срежется, пожалуй. Потом я. И черт их возьми, зачем заставляют они восточников возиться с логикой. Визель бородат. Я не бородат. Следовательно, я не Визель. И никакой ошибки нет, я и в самом деле не Визель. И пролечу я сейчас у этого Визеля, как пуля. Эх, нужно было к Вязлову пойти, Вязлов хорошо экзаменует».

Час назад, когда в томительном ожидании профессора он бродил между библиотекой и буфетом, знакомая курсистка рассказала ему, как ее экзаменовал по логике Вязлов. Он задал ей только один вопрос:

– Понятия бывают отрицательные или не бывают?

– Бывают, профессор, – твердо ответила курсистка.

Он пожевал губами, равнодушно посмотрел на нее, немного подумал. Потом поставил в ее матрикуле «вуд». Потом спросил, ткнув пальцем в сторону двери:

– А что ж, там еще многие хотят экзаменоваться?

– Очень многие, профессор.

– Ага. Так вот, подите к ним и скажите, что понятия отрицательными не бывают.

А кубышка-то прекрасно знала предмет! Не давая Визелю сказать ни слова, она энергично и даже как-то хозяйственно сообщила ему, что она аккуратнейшим образом посещала его лекции, что не кто иной, как именно Декарт, был одним из виднейших представителей рационализма, что два частных суждения, состоящих из одинакового материала, но имеющих разное качество, называются относительно друг друга подпротивными...

И Визель приуныл. Он грустно ерошил бороду. Он свесил с кафедры другую руку, и Ногин разглядел на ней, на мизинце, длинный, отточенный, желтый ноготь.

«Нет, не подходит к Визелю этот ноготь, – подумалось Ногину, – к бороде не подходит. Он, должно быть, им на полях отмечает. А что еще можно таким ногтем делать? Миндаль выковыривать?.. Щекотать?.. Чесаться?.. А ведь кубышка-то сдает! Ай да кубышка, хозяйственная комиссия».

Студент, похожий на гриб, тот самый, который у выхода из аудитории сторожил и проверял список экзаменующихся, давно уже подавал ему знаки.

Ногин кивнул ему и поднес руку к виску. В виске стучало, какой-то круглый пузырек катался под пальцами. Он привычно скрестил их, как это делал, бывало, на хлебных шариках – и вот два пузырька начали кататься под пальцами. Давило на глаза, и все казалось нестройным, как при болезни.

Когда он поднялся, чтобы подойти к кафедре, он еще надеялся, что знакомая четкость придет к нему, едва только он произнесет первое слово.

Но четкость не пришла.

Он молча смотрел на дремучую, на грязно-седую бороду Визеля, и борода все разрасталась, становилась все гуще, все грандиозней. Непослушным ртом он сказал что-то о субъектах и предикатах. Бесконечный желтый ноготь водил по экзаменационному листу, отыскивая его фамилию. Эх, напрасно не пошел он к Вязлову!

– При законе исключенного третьего, – услышал он самого себя и удивился, у него был чужой и напряженный голос, – при законе исключенного третьего...

Что при законе исключенного третьего?

Глазки сочувственно смотрели на него из-под нависших бровей. Где-то за семью горами, за стеклянной дверью стояли студенты. И гриб расхаживал среди них, размахивая своим списком, как знаменем, отбитым у неприятеля с опасностью для жизни.

Перебив самого себя, Ногин попросил задать другой вопрос. Визель охотно согласился. Задумчиво почесав своим ногтем за ухом, он предложил Ногину изложить принципы математической индукции.

И Ногин даже не плавал вокруг математической индукции. Он, как якорь, пошел ко дну.

6

Прямо с экзамена он отправился к Драгоманову. У него ломило виски, глаза болели, но вся логика, вплоть до последней страницы, стояла перед ним как на ладони. Он понять не мог, каким образом он срезался.

Драгоманов был не один.

Посередине его комнаты, совершенно голый, стоял человек, которого Ногин узнал по портретам.

Впрочем, человек этот не стоял, а прыгал вокруг свертка с бельем, из которого он доставал сиреневые кальсоны, носки, рубашку.

Драгоманов, посмеиваясь, смотрел на него.

Потом он перевел глаза на Ногина, который изумленно застрял на пороге, не решаясь ни войти, ни выйти, и громко рассмеялся. Но тут и голый увидел Ногина.

Шагнув через кушетку, он закинул кальсоны за спину и быстро сунул Ногину руку.

– Не пугайтесь, – сказал он, – Некрылов. Боря, это кто? Твой ученик? Усади его, если он не женщина. И дай мне воды. Я буду мыться.

Внезапно почувствовав себя гимназистом, Ногин покорно сел на диван.

У Некрылова было большое, белое, круглое тело. Какая-то победительность чувствовалась в нем. Оно распорядилось.

Став обеими ногами в таз от умывальника, он в одно мгновение забрызгал всю драгомановскую комнату водой и мылом.

– Что мне делать с Сушевским? – говорил он и тер, тер мочалкой полные плечи. – Он говорит, что я плохо пишу. Я плохо пишу? – быстро спросил он у Ногина. – Вы – студент? Что обо мне говорят студенты? Ты понимаешь, вот Сушевский, – сказал он Драгоманову, сморщившись. – Ты видел его комнату? Его книги? Он не понимает, что сейчас важно.

– Ну и я не понимаю, – раздумчиво сказал Драгоманов, – неизвестно, что важно. Ничего не важно.

Но Некрылов говорил уже о другом. Он растирал мочалкой крепкие безволосые ноги и говорил о другом.

– Я вчера был очень пьян? Я, кажется, бил посуду? Возможно, что я был не совсем прав. Время покажет, кто был прав. Но, видишь ли, они делают не то, что нужно, твои ученики.

– И твои.

– Хорошо, и мои. Мы занимались теорией для того, чтобы повернуть искусство. А они? Они пишут свои статьи только потому, что эти статьи до них не были написаны. Это неправильно, чепуха, ничего не выйдет. Выйдут помощники деканов. Секретари факультетов. Чем вы занимаетесь? – спросил он у Ногина.

– Сенковским, бароном Брамбеусом...

Ногин покраснел и принялся искать в карманах папиросы, которых у него не было.

– Неверно. Вот видишь, Боря, они уже не понимают, для чего они это делают. – Это было сказано с торжеством. – Они хотят писать правильные книги. Они хотят, чтобы их уважали академики. Почему Сенковским? Зачем вам это нужно?

– Он был арабист, – отчаянно смутившись, объяснил Ногин. – И я тоже занимаюсь арабским и хотел бы... У него есть интересные теоретические статьи о гекзаметре...

– Ну, чего там, Ногин! Смелее, кройте его! – радостно сказал Драгоманов. – Ага, он же ни черта не понимает в гекзаметре, вы можете посадить его, шпарьте!

Некрылов захохотал, почесал затылок, сел задом в таз, расплескал воду.

– Я хочу доказать, – справляясь с застенчивостью, окончил Ногин, – что он под свою теорию о происхождении гекзаметра подводит систему арабского стихосложения.

Некрылов перочинным ножом срезал ногти на ногах.

– Боря, это интересно? – спросил он. – Возможно, что это интересно. Напишите об этом статью. Как вас зовут? Почему я вас раньше нигде не видел?

Он наконец натянул на себя кальсоны и рубашку. Рубашка не сошлась, он оборвал пуговицу и сунул ее Драгоманову в карман пиджака.

– Боря, ты холостой, возьми, пригодится.

Ногин смотрел на него во все глаза. Такого человека он видел в первый раз за всю свою жизнь. Как был он похож на этих людей, «которые все же немыслимы вне нашего времени и

нашего пространства» и которых он придумал, сидя за арабской грамматикой, над Пиренеями Наличного переулка! Какая сила и какой беспорядок чувствовались в этом человеке!

Он уже почти обожал Некрылова. Он ловил каждое слово, смотрел на него влюбленными глазами.

Некрылов ходил по комнате и застегивал брюки. Дважды уже принимался он танцевать чечетку.

Он ловко убрал таз с водой, вытер пол шваброй и произвел в комнате Драгоманова такую уборку, какую она уже давно не видала.

– Тебе нужно купить буфет, – объявил он, убирая с окна стаканы с окурками и пепельницу с картофельной шелухой, – а может быть, даже и жениться... Ненадолго. На год или на два. На ком тебя женить? На ком его женить? – спросил он, обратившись к Ногину. – Тебя. Нужно. Женить. На хорошей нелитературной женщине. На нелитературной и немолодой. Приезжай в Москву, я тебе это устрою.

Драгоманов был женат уже два или три года, но согласился.

– Но только заметь, Витя, что я люблю женщин проказливых, – сказал он очень серьезно. – Шутливых.

С неподвижностью, почти неприятной, он сидел среди целой бури движений, которые ниспосылал на него неугомонный Некрылов.

Изредка он улыбался, желтые зубы его оскаливались, он ерзал спиной по спинке стула, но, для того чтобы помочь Некрылову, не двинул ни одним пальцем.

На затею его произвести в комнате переворот он смотрел, очевидно, с совершенным равнодушием.

– Но все-таки, – говорил что-то такое Некрылов, – все-таки, все-таки... Все-таки я уезжаю. Сегодня вечером. Хотя, может быть, еще и не сегодня. Мне до отъезда нужно еще убить одного человека, Боря. Это не цитата. Я говорю серьезно.

– И не метафора?

– И не метафора.

Он сел на диван, сел на свою ногу и помрачнел. Потом подложил под себя другую ногу. Он сидел по-турецки и сердито вертел ступнями.

– Я не знаю, что мне с ним делать. Я его убью. Или побью. Мне нужно как-нибудь отделаться от него. Послушай, Боря, ты не знаешь, что это за человек – Кекчеев?

Драгоманов нахмурился. Он вынул из кармана пиджака пуговицу, хмуро посмотрел на нее и швырнул прочь.

– Кекчеева знаю, – сказал он медлительно. – Но что с ним делать – не знаю. Бить его бесполезно.

– Ты понимаешь, я не могу допустить, чтобы Верочка вышла за него замуж.

Драгоманов сощурился и задумчиво покачал головой.

– Странно, – сказал он, снова начиная ерзать, – она ведь, кажется, еще молодая женщина. И очень мила как будто. Ты про Веру Александровну говоришь?

– Я говорю про Верочку Барабанову, – сердито вертя ступнями, сказал Некрылов.

Если бы он не был так занят собой, он бы заметил, может быть, что студент, фамилию которого он немедленно же забыл, откинулся назад, на спинку стула, и сперва залился краской, а потом побледнел. Попытался встать и тотчас же с растерянным лицом упал обратно на стул.

Но Драгоманов, обернувшись на скрип, заметил, что с учеником его творится что-то неладное.

Он встал и, прихрамывая, приблизился к Ногину.

– Милый мой, вам, кажется, дурно? – сказал он с сердечностью. – У вас вид больной. Хотите воды? Что это с вами? Вы переутомились, что ли?

7

Комната складывалась перед его глазами с шумом, как кузнечные мехи. Шумело в ушах. Он тупо смотрел на свои руки и подыскивал имена тому, что произошло. Это было несчастье. Это было простое дело. Это был... мор. Чьи-то чужие стихи всплыли, сами собой сказались в его голове:

Это был мораторий
Страшных судов, не съезжавшихся к сессии.

Чепуха. Проведя рукой по лбу, он заставил себя прислушаться к тому, что говорил Драгоманов.

Драгоманов рассказывал о Кекчееве. И с каким омерзением, с какой язвительностью рассказывал о Кекчееве Драгоманов!

Незадолго до революции (рассказывал он) случилось ему попасть в один из лучших петроградских клубов. В отмену картежного поверья, что всем новичкам везет, он в полчаса проиграл почти все, что у него было. Приятель его, художник Катаев, – «ты как будто встречался с ним, Витя, он потом застрелился на фронте», – потащил его пить вино.

– Не то чтобы утешать меня, – пояснил Драгоманов, – но затем, что один пить не мог. На него цыганская тоска напала.

И тут-то, следя за игроками и слушая сплетни, – не было в городе человека сколько-нибудь примечательного, которого бы не знал его приятель, – он впервые увидел Кекчеева.

Кекчеев сидел за золотым столом, с трубкой в зубах, круглый, веселый и радушный.

По правую руку от него и по левую были женщины.

– Прекрасные женщины, – в скобках заметил Драгоманов, – теперь таких и нет совсем. Мускулы какие! Он знал в них толк.

И Кекчеев пил за них. За всех вместе и за каждую в отдельности. И играл. Играл так, что каждая жилка на его лице играла. Но от каждого выигрыша он откладывал для себя только один золотой. Все остальное с радушием истинно русского человека и в то же время с ловкостью европейца раздавал, обеими руками раздавал своим дамам.

И Драгоманов умилился, глядя на него.

– Молод был, меня прямо к нему потянуло. Благородство какое, широта! Легкость какая была в этом человеке!

И Китаев взялся рассказывать ему, что это была за широта. Благородство. Легкость.

В удостоверение же своего рассказа подозвал знакомого крупье, попросил подтвердить.

И крупье подтвердил, разумеется, под строжайшим секретом:

– Константин Иванович, он играет чисто-с, ничего не могу сказать-с. Но только скуповат-с. Он дамам эти деньги по счету раздает. По окончании игры они к нему с лихвой возвращаются-с.

– Не знаю, правда это или нет, – добавил Драгоманов и, отодвинув стул, устроил хроющую ногу на столе между книг, – но не сомневаюсь, что он и теперь может пригласить к себе писателя и поставить ему, буде тот перед ним в долгу, – поставить ему съеденный обед в счет гонорара.

– Я думаю... что это неверно, – быстро сказал Некрылов. – Ему не имело смысла раздавать деньги. Но все равно. Это не тот Кекчеев. Этого Кириллом зовут. Этот еще молодой, ему лет двадцать или двадцать пять, не больше.

8

Ногин и сам не знал, как выбрался он из общежития. Должно быть, с полчаса шатался он по лестницам, по коридорам. В пустой аудитории он лег на парту плашмя, лицом вниз, и лежал так до тех пор, покамест какой-то сердитый старичок, без сомнения один из тех, что жили в квартире заведующего, не попросил его, грозя пальцем, немедленно выйти вон.

Растирая ладонью лоб, Ногин пробормотал извинение. Нетвердо ступая, он вышел вон, немедленно удалился.

Дело было простое. В теории литературы оно приводилось в качестве примера простейшей фабульной схемы: «Она была мила, и он любил ее. Но он не был мил, и она его не любила».

И это простое дело уже нельзя было объяснить бреднями, романтикой, литературой.

Он стоял у университетских ворот с нахмуренным лбом и стиснутыми зубами. Обмызанный лед лежал на мостовой, по льду прыгали похудевшие воробьи.

Беда в том, что она не знает его. Она ни малейшего понятия не имеет о том, что какой-то студент Института восточных языков влюблен в нее так, что ни жить, ни работать без нее не может. Он должен был написать ей. Он не должен был писать ей. Он желает ей счастья.

Знакомый доцент в порыжелом пальто грузно прошагал мимо него, заложив руки за спину, близоруко моргая.

Он желает ей счастья.

Крошечный седой сторож, распахнув шубу, сидел на лавочке у своей будки.

Он желает ей счастья.

И, сдерживая слезы, он ринулся на набережную.

Косой снег встретил его и ветер с Невы. Но он распахнул шинель, сбил на затылок фуражку.

У него щеки горели. Ему было жарко – от жалости к самому себе, от умиления.

9

– Ради бога, простите меня, что я взял на себя смелость явиться к вам, почти не будучи с вами знаком.

Она молча наклоняет голову, просит его присесть и сама садится, закинув ногу на ногу – как она сидела тогда, в тот вечер, – и незастегнутая туфля спадает с ноги и качается на пальцах.

– Дело в том, что я был случайным свидетелем одного разговора – разрешите мне не называть никаких имен – о вас. Я счел своей обязанностью предупредить вас.

Она с живостью поднимает на него глаза:

– О чем?

– О многом.

И о себе, о себе – ни слова.

– Я должен предупредить вас... что на вашу свободу готовится покушение. Что вашему выбору хотят помешать. Что вашему... вашему другу грозит опасность.

Она смотрит на него, на провалившиеся, в темных кругах, глаза, смотрит на него и молчит, и незастегнутая туфля спадает с ее ноги и качается на пальцах.

– Но кто может поручиться мне, что вы говорите правду? Я почти не знаю вас, я встречалась с вами только однажды.

Он улыбается с укоризной, или саркастическая улыбка кривит его губы, он встает и кланяется.

– Чтобы предупредить вас, я решился на поступок, на который никогда бы не решился, если бы дело не касалось вас. Я поступил совестью, какой же еще вы требуете поруки?

Тогда она начинает благодарить его, она протягивает ему руку, и разрезной рукав спадает с локтя и висит, вздрагивая и качаясь.

Он молча подносит к губам руку и твердой поступью удаляется от нее. Он покидает ее навсегда. И о себе, о себе – ни слова...

Он придумал этот разговор, покупая у костлявого инвалида, возле Академии наук, папиросы.

– Что, очень холодно? Вы бы с набережной ушли, ветер, – ласково сказал он инвалиду, и инвалид ничего не ответил, только пожал плечами и принялся плотнее закутывать изорванным шарфом свою шею.

Еще лежа на парте в пустой аудитории общежития, Ногин твердо решил, что непременно должен пойти к Вере Александровне.

Но теперь, поднимаясь по лестнице, он вдруг начал колебаться. Что, если он поступает как мальчишка, как гимназист?

Быть может, он, непрошенный, посторонний человек, не имеет никакого права вмешиваться в чужое дело?

Он остановился на третьей площадке у разбитого окна и простоял несколько минут неподвижно, с бессмысленной задумчивостью следя, как падает тяжелый, мокрый снег мимо разбитого стекла, залепленного пересохшей замазкой.

Наконец с потухшей папиросой в зубах он поднялся на площадку четвертого этажа. Он больше ни о чем не думал – в голове его стоял дым, мешанина, крутеж...

Человек с моржовыми усами, в изодранной студенческой тужурке открыл ему. Он жевал. На взволнованное лицо Ногина он посмотрел равнодушно.

– По коридору, пятая направо, – сказал он, трогая усы ладонью.

И вот Ногин стоял перед пятой направо. Потухшую папиросу он медленно вынул изо рта и бросил на пол. Сердце у него стучало, как метроном, как сердце. Почти ничего не соображая, от волнения позабыв постучать, он толкнул дверь. И дверь отворилась без скрипа.

Он увидел ее лицо, почти несопротивляющееся, с непонимающими глазами. Бледное лицо. И руку, которая машинально придерживала прическу.

Придерживала, но прическа все же рассыпалась.

Холодный пухлый лоб и шестигранные очки он увидел мельком, над нею. Друг, которому грозила опасность... Он был похож на зайца, входящего в тонкости, на зайца с прижатыми, наслаждающимися ушами.

Дыханье, трудное, прерывистое дыханье людей, занятых тяжелой работой, шло по комнате.

В комнате властвовала спина.

Спина круглая, почти немужская, мерно двигалась туда и назад среди разбросанных подушек.

10

Он вернулся домой мокрый и с таким лицом, что старуха, которая отворила ему дверь, растерявшись, заговорила с ним по-татарски.

Тяжело ступая, он прошел в свою комнату.

В комнате горел свет.

Халдей Халдеевич с газетой в руках стоял у окна, дожидаясь, должно быть, его возвращения. Газета выпала из его рук, когда он увидел Ногина.

– Я, кажется, заболел, – сказал Ногин хрипло и упал на стул. Комната кружилась, его била дрожь. Он молча щупал руки. Дрожь окачивала его с головы до ног. Непослушными пальцами

он попытался развязать шнурки на ботинках. Шнурки замekli, он беспомощно старался распутать узлы.

Нужно было добраться до кровати. Но как же добраться, если давило на глаза, если подушка была белым пятном, которое ничем заменить было невозможно?

Халдей Халдеевич стоял перед ним торжественный, в длинном постром сюртуке, необычайно нарядный. Он молчал.

Черная траурная повязка, скромная повязка лежала на рукаве сюртука. Если бы не была дрожь, если бы комната не кружилась, Ногин разглядел бы, что у него были заплаканные глаза, что в кулачке его был зажат мокрый от слез платок.

– Халдей Халдеевич, – все же спросил он, стуча зубами, – это по кому же?.. По кому же вы траур стали носить? Уж не по мне ли?

– У меня умер брат, – тихо ответил Халдей Халдеевич, – я только что прочел об этом в вечерней газете.

Ногин разорвал шнурки и наконец сбросил ботинки. Он шел по комнате, стараясь стиснуть зубы. Постель осталась где-то справа, он уткнулся в стену и обернулся, мутным взором ища Халдея Халдеевича.

– Я просто глуп, глуп невыносимо, – сказал он, раскачивая усталые руки, – мне девятнадцать лет, а я все еще ни слова не знаю по-арабски. Этот голый человек, который танцевал у Драгоманова, я боюсь его, он разбойник. Ах, боже мой, как я глуп! Я никогда больше не буду писать стихи! Мне нужно лечь в постель и положить голову под подушку.

Он в носках ходил по комнате, оставляя на полу мокрые следы...

Время, которое внезапно покинуло его, вернулось обратно в полночь.

В полночь он очнулся на кровати и, взявшись руками за свою голову, стянул с нее одеяло.

Халдей Халдеевич с черным крепом на рукаве сидел у него в ногах.

Какие-то склянки и коробочки стояли на столике, рядом с подушкой. И стакан с чаем. Чай был малиновый, бархатный, красный.

– У вас, должно быть, воспаление легких, – услышал он тихий голос, – я за врачом послал. Лежите спокойно. Пить хочется?

– Пить мне нельзя, – сказал Ногин сквозь губы, сведенные от озноба, – мне нужно письмо написать. Бумаги дайте, карандаш. Только отточенный карандаш, хороший, очень хороший.

Прыгающей рукой он написал что-то вдоль клочка бумаги, который держал перед ним на раскрытой книге Халдей Халдеевич.

– Милый, честью своей умоляю и клянусь, – сказал он что-то не то, что нужно было, и попытался поправиться, – честь моя порукой, но только найдите его, предупредите, записку ему отдайте.

Он закрыл непослушный рот. Комната уже не кружилась, она перебрасывалась толчками, она боролась с водой. Бушевала вода, и он плыл по горячей воде, завернутый в дырявое, захлестнутое ветром одеяло...

Халдей Халдеевич насилу разобрал имя человека, которому была адресована записка. Имя это было ему отлично знакомо.

Он положил записку в конверт и аккуратно заклеил. Потом, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Потом приподнял колпачок, которым прикрыта была лампочка, и посмотрел на Ногина.

Ногин спал, осунувшийся, с развалившимся, большим ртом, в котором тускло блестели зубы.

11

– У меня в голове комедий сколько! Трагедий! Драм исторических! У меня в голове весь русский театр, вплоть до последнего водевиля, сидит! Ты говоришь – Файко! Файко не может писать, он человек рыхлый! А я могу! Я какие слова нашел! Не слова, а все равно как бы вещи, предметы будут со сцены в публику лететь!.. Театр нужно сейчас как делать? На незнакомом языке! На церковнославянском, например: «Да не дерзнет никто совлещи покров с очей власти, да исчезнет помышляя о сем и умрет в семени до рождения своего». Это же черт-те что такое, а не слова. «Помышляя о сем». Ты вообрази такое слово на театре – колени дрожат!

Тюфин поднес к губам кусок сига, сиг скользнул с вилки, упал на пол – и речь о театре осталась незаконченной.

Прохвост, который состоял при нем в секретарях, поспешно бросился подбирать сига.

Кекчеев-старший жевал. Огромные челюсти его ритмически двигались, растирая пищу.

Ресторан был длинный, вежливый, белый.

Женщина привлекательной наружности, но в партикулярном платье танцевала на эстраде, небрежно показывая крепкие соблазнительные ноги. Она танцевала фокстрот, начавшийся револьверным выстрелом и кончавшийся позой, выражающей живейшее из жизненных наслаждений.

Тюфин посмотрел на эту позу хмуро. И отвернулся. С недовольством шлепнув сочными губами, он налил себе вина.

– Я считаю, что в ресторанах это надо запретить, разврат, – сказал он. – И счастье еще к тому же, что с нами Семякина нет. Если бы тут Семякин был, я бы ни за что не поручился.

– А кстати, где теперь Семякин? – подобострастно спросил прохвост.

О Семякине он не имел, впрочем, ни малейшего понятия.

– Умер.

– Неужели умер? – удивился прохвост. – Ведь он же, кажется, был очень здоров физически?

– Кровь с молоком! Корову мог одной рукой поднять! Залечил себя. Каждый час какой-нибудь порошок принимал. Глаз зачем-то зеленой мазью мазал. На спину горчичники клал. Ну и умер.

– Я его знал, он от пьянства умер, – равнодушно разъяснил Кекчеев.

– Не пил.

Тюфин победоносно и в то же время с жалостью заложил руку за борт пиджака.

– Не пил. Ни одной капли в рот не брал, за исключением микстур. Но не в этом дело. Я о нем по другому поводу заговорил. Сидели мы с ним как-то в театре миниатюр. В Туле. Была там одна артистка... Имени нельзя подобрать! Черт-те что, не женщина. И в то же время по вот таким позам (он мотнул головой в сторону танцовщицы) – удивительная мастерица. И вот однажды явились мы с Семякиным в этот кабак. Проходит действие. Ничего. Второе. Тоже ничего. Сидим. А в третьем действии по ходу пьесы она принимает такую позу, что Семякина моего начинает дрожь бить. Сидит сам не свой, дышит тяжело, сквозь зубы. И вот я, к ужасу моему, вижу – встает! Встает, идет через весь партер на сцену, берет ее за руку и прерывает спектакль. И моментально наверх, в кабинеты. Через четверть часа возвращается, занавес снова накручивают на палку, действие начинается сначала. И вообрази...

Тюфин взял в руки пепельницу и радостно пристукнул ею по столу.

– Едва только доходит дело до этого места, она хлоп в ту же самую позу и лежит. Оглянулся я на Семякина, вижу – на нем лица нет. «Не могу, – говорит, – натура, характер такой... Не могу вынести». Ты понимаешь, Костя, у меня сердце сжалось. Я его за руку схватил. «Мадам, – кричу, – мадам, измените позу!» А она, вообрази, со сцены мне отвечает, что без

этой позы свою роль играть наотрез отказывается. Это, говорит, самое выигрышное место, апогей. А тут он уж опять подоспел, хватить ее за руку и опять увел в кабинеты. Опять прервали спектакль...

Кекчеев-старший вытер жирные губы салфеткой и, ничего не сказав, очевидно вовсе не интересуясь концом этой маловероятной истории, грузно прошагал в уборную.

Раскланивающийся, весь в пуговицах, мальчик распахнул перед ним стеклянную дверь.

12

Застегиваясь, он думал, дать ли этому мальчику на чай или не дать. Решил, что не стоит. И не дал.

Толстый, но легкий, добродушный, он прошел на свое место. Тюфин уже скучал без него. Они были приятелями – по ремеслу, если не по сердцу. О дружбе их ходило множество анекдотов. Карикатуристы изображали их вместе. Это была коммерческая дружба, они относились друг к другу как два торговых дома, равно солидных, равно кредитоспособных, равно существующих с девяностых годов прошлого столетия.

Он с удовольствием проследил, как подходит Кекчеев, как садится, как засовывает за воротник салфетку, как берет в руки вилку и нож, как придвигает к себе ветчину. Тюфин посмотрел на ветчину и огорчился.

– Константин Иванович, да брось ты есть на одну минуту, – сказал он с досадой, – ты себя до удара доведешь. Тебе столько есть нельзя. Жиром заплывешь, сердце испортишь. Ты на меня посмотри – на мускулы. У меня ведь сердце какое! Как хронометр, стучит. А отчего, ты думаешь? Исключительно от желудка. Мне прямо сон приснился, чтобы я есть перестал. Приснилось, что меня свинья жрет. Я к гадалке пошел. Говорит: «Перестань есть, барин. Совсем перестань. Ты, – говорит, – очень много свинины жрешь. И от этого в тебе сердце беспокоится». И вот послушался. Не ем. И отлично себя чувствую, на десять лет помолодел. Заметь – это не я говорю, это мне женщины говорят. До неузнаваемости помолодел.

Кекчеев не слушал его.

Шумная компания сидела за соседним столом – молодые люди в слишком свежем белье, дамы в слишком коротких платьях.

В компании этой он без малейшего удовольствия разглядел Кирюшку, сына.

По правую руку от Кирюшки сидела жена Глобачева (нужное знакомство – хорошо), но по левую руку, поджав губы, бросая вокруг себя насмешливые взгляды, сидел Сущевский (пьяница, сомнительный человек – плохо).

Увидев отца, Кекчеев-младший весело помахал ему рукой. Приподняв рюмку, он лихо опрокинул ее в рот.

– За твое здоровье!

Кекчеев ласково кивнул ему в ответ. Он был слегка огорчен, но виду не подал. Женщины – это ничего, но приятели Кирюшки ему мало понравились. «Его женить надо», – подумал он и, насытившись наконец, отодвинул от себя тарелку.

13

Кекчеев-старший напрасно беспокоился за сына. Кирюшка разрастался. Его как будто ветром подхватило. Ветер был попутный. Все удавалось.

Месяц после назначения его редактором прошел, как ночь в вагоне, как если бы его и не было вовсе.

Карьера лежала перед ним, простая, как алфавит. Она складывалась и разнималась, она шла сама собой – едва ли не быстрее, чем ему самому хотелось.

Сегодня карьера сидела по правую руку от него, большая, белокурая, белотелая. У нее были пышные круглые руки, и она сидела, пригорюнившись, за пьяным столом – пригорюнившись, подпирая голову рукой, – ни дать ни взять русская баба за пальцами. Ее звали Евдокией Николаевной, и она была женой человека, который заведовал одним из крупнейших ленинградских издательств.

Вот уж с полчаса он говорил с ней, стараясь как-нибудь расшевелить ее, – она все отнекивалась, водку хлопала рюмку за рюмкой, но оставалась равнодушной, даже как будто становилась все грустнее.

Он казался рядом с ней мальчиком, старательным, пухлым.

– Евдокия Николаевна, – говорил он, пытаясь притвориться более пьяным, чем был на самом деле, – а я ведь в вас влюблен, честное слово, влюблен. Я такую женщину в первый раз за всю мою жизнь вижу.

Евдокия Николаевна посмотрела на него без особого любопытства.

– Ну вот, вы уже начали врать, – грустно сказала она, – вы все начинаете врать с первого же слова.

– Евдокия Николаевна, выпейте вина. – Кекчеев привстал и, наметившись, подхватил с другого конца стола бутылку портвейна. – Я не вру, хотите – я сегодня же ночью докажу вам, что я не вру. Разрешите, Евдокия Николаевна...

– А вы, кроме того, и нахал, хоть и не похоже, – равнодушно покачивая ногой, заметила Евдокия Николаевна, – я вот скажу Петру Васильевичу, так он вас за дерзость мигом выгонит со службы. Вы все нахалы и злодеи и совсем не заслуживаете, чтобы вас любили. Из-за одного такого злодея я сегодня все утро проплакала. И больше не хочу. Мне никого, никого больше не нужно. Если бы были монастыри, я бы, кажется, и мужа бросила, в монастырь бы ушла. Да теперь и в монастырях то же самое, уйти совершенно некуда.

Кирюшка удивленно взглянул на нее и украдкой погладил по руке. Она пожала плечами, но руки не отняла. Выражение лица ее было почти равнодушно.

– А Петру-то Васильевичу я скажу, – добавила она и легонько засмеялась, – он вас за дерзость выгонит вон, непременно выгонит. Не знаю, что это теперь за молодежь пошла! Ведь вы ж вот как будто жениться собрались. Вот и верь вам после этого. Нет, не верю.

– Евдокия Николаевна, – сказал Кекчеев и поцеловал ей руку. – *Timeo danaos et dona ferentes*. Покуда вы меня не прогоните, не женюсь. Ну что ж, и точно уступила мне сегодня одна барышня, ну, милая барышня. Но жениться? Евдокия Николаевна, да как же я могу жениться, если я в вас влюблен. Вот вы не верите, а я без вас жить не могу. Ну что мне с вами делать?

Он, разумеется, врал: он собирался жениться. Верочка Барабанова была его невестой. Она была уже его женой, или почти женой. И он в самом деле любил ее – не для карьеры. Если бы кто-нибудь другой осмелился так сказать о ней, как он сказал: «Милая барышня... уступила», – так он бы полез в драку, пожалуй.

А впрочем, что с Евдокией Николаевной делать, он прекрасно знал. Полное, добродушное колено торчало из-под ее короткого платья. Эх, куда ни шло...

Если бы Суцевский не потянулся к нему с рюмкой, он положил бы, должно быть, руку на это колено.

– Ну, ваше благородие, выпьем, – сказал Суцевский.

Суцевский был пьян и невесел. Он опрокинул рюмку и, не ставя ее на стол, продолжал говорить. Он говорил уже давно, и никто его не слушал.

Каждому он говорил как раз то, что думал о нем, и это было до такой степени необычно, что всеми принималось за шутку.

Томной барышне, которая беспрерывно перебирала четки, он сказал, что у нее пахнет изо рта, какому-то почтенному бородатому человеку, известному покровителю всех начинающих писателей в Ленинграде, он сказал, что на службе его, без сомнения, только за бороду и

держат, что он не человек, а борода для иностранцев. Кекчеева весь вечер называл он вашим благородием, отдавал ему честь, делал ему «на караул» пустой бутылкой. Он, впрочем, всем накучил. Но пить молча не умел или не хотел.

– Кирилл Кекчеев, ваше благородие, сволочь, – с ленивым пафосом говорил он, – ты даже не подозреваешь, собака, что живешь на мой счет. Идея власти ослепляет тебя. Ты молокосос, ты отбросы молочного хозяйства. Если бы ты был в моем полном распоряжении, я проиграл бы тебя в «двадцать одно». Передай мне портвейн! В тот день, когда тебя назначат заведующим всем сектором художественной литературы, я нацеплю красный флаг на мою палку, возьму из Дома печати полдюжины молодых поэтов и пойду защищать от тебя революцию!

Он выпил и надел бокал на бутылку.

– Мы предъявили бы ультиматум с требованием повесить тебя и еще одного проходимца из бухгалтерии, того самого, который заведует выдачей авансов! Мы провели бы закон, по которому каждый гражданин, независимо от редакторов, имел бы право один раз в жизни напечатать книгу, мы уничтожили бы очереди у кассы, мы пустили бы в ход второй лифт! Мы добились бы свободы движений. Бездарный шар над Госиздатом мы пустили бы в воздух – пусть летит! У полуголых богинь мы отняли бы швейные машины. Это был бы веселый поход на двенадцать спящих дев, с которыми мы бы знали, что делать.

– Суцевский, это плагиат, – крикнул ему с другого конца стола человек с бородой для иностранцев, – все это при мне говорил вам Виктор Некрылов.

– Ага, Виктор Некрылов! Спросите о Викторе Некрылове у этого человека. – Суцевский ткнул в Кирюшку пальцем. – Он собирается вернуть Некрылову рукопись его новой книги. Кролики в заграничных жилетах, кролики, получившие высшее образование, начинают глотать удавов. Ай-я-яй, Кирилл Кекчеев! Ай, как мне нужно проиграть тебя в очко твоему папашке. Твой папашка удивительный человек, он милый человек, он прохвост, но он не чиновник. Он тоже проходимец, к нему ничего не пристает, но он не чиновник. А ты чиновник, ты карьерист, Кирилл Кекчеев, ваше благородие, сволочь!

Только теперь он заметил, что в полном одиночестве сидит за столом над пустыми бутылками, над закусками, разоренными дотла.

Кирюшка давно танцевал с величавой Евдокией Николаевной, компания разбрелась, человек с бородой, привлекавшей иностранцев, подсел к другому столу, более подходящему к его возрасту, умственному развитию и социальному положению.

Суцевский грустно ткнул вилкой в рыбий скелет, оставшийся его единственным слушателем. Скелет не сказал ему «аминь», он лежал беспомощный, как скелет, уже не надеясь, должно быть, снова обрести мясом.

– Вот, брат, так и живем. Водку пьем, огурцом закусываем, – грустно сказал ему Суцевский.

14

Ресторан был пуст, лакеи, перевертывая, швыряли стулья на столики, музыканты собирали и складывали ноты, когда Тюфин, несколько осоловевший от вина, но все еще осанистый, легкий, разыскал Кирилла Кекчеева и сказал ему, выразительно двигая губами:

– Кирюша, поди к отцу, милый. То ли он спит, то ли... Впрочем, не знаю. По-моему, просто за ужин платить не хочет.

Кекчеев-старший сидел на том самом стуле, с которого он в продолжение всего вечера только единожды встал, и то по нужде неотложной.

Он сидел огромный, круглый, тяжелозадый, бросив голову на грудь, запустив руки в карманы широких брюк, – и спал.

Это был не фортель, который любил он подчас учинить, когда после ужина приходило время платить по ресторанному счету.

Он спал в действительности, сном натуральным – у него был спящий нос, спящие брови, спящие плечи.

– Вот ведь, не могу разбудить его, – пожаловался Тюфин, – нельзя же его все-таки на всю ночь в этом кабаке оставить! Ведь как бы то ни было – он старый человек, Кирюша. С ним может незаметно для окружающих удар произойти. Он постоянно свинину жрет. Я его предупреждал – да ведь куда там, и слушать не хочет. Между тем свинина человека тяжелит, действует, знаешь, как-то на сердце. Я бы его на твоем месте домой отвез. Видишь ли, если он собрался помирать, все-таки дома ему значительно удобнее будет. Жена, то, се, дети...

Кирюшка посмотрел на отцовского приятеля и подивился. Тюфин был пьян в лоск, изумительно пьян, но держался с легкостью, даже с изяществом. Впрочем, не сказав более ни одного слова, он ушел и несколько погодя вернулся с шваброй, которую отнял у официанта, подметавшего зал. На швабру он вылил все вино, оставшееся недопитым, и с озабоченным, несколько мрачным лицом сунул ее под самый нос Кекчеева-старшего. Кирюшка вовремя перехватил швабру.

Все с тем же задумчивым лицом Тюфин сказал ему в упор два или три крепких русских слова. Потом он повернулся и направился к выходу, шагая твердо, выкидывая вперед полные ноги.

У выходных дверей он сделал легкий пируэт, но не упал, а только приостановился, ухватившись рукой за косяк двери.

Тут же оправившись, он с прежней уверенностью шагнул через порог и исчез.

Кирюшка с минуту присматривался к отцу. Тюфин был прав. Отец старел. Раньше он не засыпал за столом в ресторане.

Он почувствовал к отцу легкую жалость. И превосходство. Его тронула седая голова отца и большое спящее лицо, отмеченное усталостью и силой.

Снисходительно улыбаясь, он потряс его за плечо. Кекчеев не просыпался. Он только бессмысленно мотнул головой и запрокинул ее на спинку стула. Полная грудь его вылезла из-под распахнувшегося пиджака. Он всхрапнул.

Тогда Кирюшка внезапно присел. Он присел и быстро оглянулся вокруг себя внимательными, прищуренными глазами. Никого не было вокруг – последние официанты возились за пальмами, скатывая ковер.

Он торопливо расстегнул на отце пиджак. Короткие пухлые пальцы его двигались беспрестанно.

Улыбаясь от волнения, он запустил эти пальцы в отцовский боковой карман.

Это было мальчишество, конечно (с того времени, как он был студентом, он не позволял себе таскать у отца деньги), но, черт возьми, сегодня вечером он ухлопал все свое жалованье на ужин с Евдокией Николаевной.

Отцовский бумажник дрожал в его руках, пальцы шевелились, он нервно поправил очки...

И, не веря своим глазам, нервно поправил их еще раз.

Халдей Халдеевич, хранитель рукописей, подсчитыватель печатных знаков, самый мелкий служащий из подведомственного ему отдела, стоял перед ним, вскинув голову, заложив руку за борт длинного черного сюртука.

Он стоял неподвижно и молча следил за тем, что, собственно говоря, делали с чужим бумажником знакомые пухлые пальцы его патрона.

Патрон стиснул зубы и быстро заложил руку с бумажником за спину.

– Что вам от меня нужно здесь? – спросил он сквозь зубы, чувствуя, что краснеет отчаянно, усиливаясь вернуть себе спокойствие и краснея от этого еще больше.

Халдей Халдеевич, не говоря ни слова, покачивался на цыпочках, играл губами.

– Ничего-с, – сказал он наконец и весь подобрался, закинув голову еще выше, еще глубже засунул руку за борт пиджака, – мне от вас ничего-с не надобно. Ни здесь, ни где-либо в другом месте. Имею письмо для вас. По просьбе отправителя доставил немедля.

Он положил перед Кекчевым измятый конверт на стол, быстро разгладил его маленькой сухой ладошкой и распрямился.

– В случае же, если намерены вы на это письмо ответить, – он снова приподнялся на цыпочках, – так прошу покорно на мой адрес писать. Впрочем, отправитель этого письма находится в настоящее время в беспмятстве полнейшем. А пожелает ли он, по возобновлении здравого ума и твердой памяти, с вами в какие-либо отношения вступить или не пожелает – того не могу сказать. Может быть, и не пожелает.

Он поклонился, заложив правую руку за спину, спрятав руку, чтобы о пожатии и речи быть не могло, и, подняв плечи, двинулся по темному, усеянному окурками ресторанному залу.

Он шел неторопливо и с достоинством, но все на цыпочках, как часто ходят маленькие ростом, – шел, почти надменными глазами встречая самого себя в туманных зеркалах ночного, разобранного по частям ресторана.

15

Клуб деловой, почти литературный был не слишком оживлен в этот день.

Не то что писатели перевелись в нем. Не то что меньше свиданий – деловых, любовных, литературных – было назначено в этот день на шестом этаже одного из крупнейших ленинградских издательств.

Но Некрылов нагнал тоску на всех. Он был зол в этот день или готовился разозлиться.

Он сидел, качаясь на своем стуле, упершись ногами в стол, за которым обычно сидели, терпеливо дожидаясь редактора, седоусые моряки, внезапно открывшие в себе талант разом и прозаический, и стихотворный, или почтенные писательницы восьмидесятых годов, требовавшие запоздалого признания.

Запоздалого признания требовал на этот раз суровый старик, до странности схожий с Михайловским.

Будучи изгнан со своего привычного места, он примостился у окна и стоял, саркастически улыбаясь и курая такой крепкий табак, что у студентки, отбывавшей практику по редакционной работе, поминутно занималось дыханье.

Некрылов хмуро смотрел на него, свалив голову набок.

Стихи, которые принес в редакцию старик, были посвящены недавно «усопшей на 87-м году жизни, 14 марта по новому стилю, девице Галине Христофоровне Репс».

Они начинались так:

Почти семнадцать лет библиотеке курсов
Ты со старательным раченьем отдала!
И средства из своих учительских ресурсов.
Ну вот и все твои почтенные дела!

Поулыбавшись ядовито некоторое время, он внезапно выступил вперед и попросил у иронического, но слишком здорового редактора разрешения прочесть эти стихи вслух. И прочел. Чтобы его не прервали, он тотчас же перешел к поэме, посвященной Ньютону. Она началась:

Бином и флюксии, земное тяготенье,

Движение комет и радуги цвета.
Вкруг Солнца всех планет с Землей коловращенье,
Что за значительных открытий пестрота!

И кончалась:

Как дуб ветвистый над Россией,
Профессор Кони над страной.

В продолжение двадцати минут редактор уверял его, что профессор Кони никогда не занимался физикой. Подождав, пока редактор кончит, он заявил, что профессор Кони был ему лично хорошо известен и что он совершенно гениально предсказывал погоду.

– Что такое, вы думаете, Ньютон? – спросил он, взяв свою бороду в кулак. – У нас в России, как это я хотя бы на себе самом вижу, не умеют и, извините, никогда не умели ценить талантов. У нас этих Ньютонов тьма. Туча! Подумаешь, флюксии, – добавил он, не замечая, что впадает в несомненное со своей поэмой противоречие. – Почему вы думаете, сие важно в-пятых? Он погоду умел по этим флюксиям предсказывать. И перевирал, предсказывал неточно. Я вот однажды хотел по барометру в Павловск поехать. Стрелка на великой суши стояла. Так в Павловске на меня – вы не поверите – не дождь, а прямо грязь падала с неба. А позвони я к Кони – ни за что бы не поехал. Я потом, как только белье нужно было на дворе развешивать, моментально к Кони звонил. И – как в аптеке. Скажет: будет дождь от двух до сорока семи минут третьего – и верно! В два начинался, а на сорок восьмой минуте его как ножом срезало.

Практикантка, не дослушав, зажав рот платком, выскочила в коридор.

Редактор, который был, должно быть, смешлив по природе, усиливаясь не расхохотаться, туго вращал глазами.

Маленький мрачный писатель (неожиданно обнаружившийся в комнате), у которого лицо было несколько похоже на топор, отрывисто, взрывами гудел, поводя над столом унылым носом.

И только у Некрылова нашлось достаточно силы, чтобы объявить, что стихи ему чрезвычайно понравились. Поэму, посвященную усопшей девице Репс, он даже списал себе на память.

Прости, прости ты нас, великая гражданка...

– Это хорошо, не хуже Доронина, – говорил он, списывая.

В твоей невинности и впредь отчизне толк.
И оплатить ее не пенсией из банка —
Бессмертной памятью – наш вековечный долг.

– Это нужно немедленно напечатать, – объявил он очень серьезно и спрятал исписанный листок в записную книжку. – Сбрейте бороду! Вам пора начинать скандалить!

16

Но когда Михайловский, повеселевший как-то до элегантности, ушел, заметно помолодев, лихо помахивая палкой и порыжелым котелком, когда на смену ему явился с полузакрытыми от презрения ко всему миру глазами Суцевский, одетый в гороховое весеннее пальто и клетчатую кепку, когда прозаик с лицом, несколько похожим на топор, принялся рассказывать

сюжет своего нового романа, в котором намеревался он вывести на чистую воду родную сестру, когда из столовой, находившейся в тесном соседстве с редакцией, донесся мощный запах кислой капусты, заставивший добротного редактора понюхать воздух и сделать аппетитное, жующее движение ртом, когда солнце покинуло тесные редакционные пределы, перекочевав к бухгалтерам и машинисткам, Некрылов снова помрачнел.

Драгоманов, которого он вот уже с полчаса дожидался, книгу которого он взялся устроить в издательстве (потому что не было в Ленинграде человека, который меньше, чем Драгоманов, заботился бы о своих книгах), этот самый Драгоманов, который застрял в девятнадцатом году, терял рукописи, жил как Робинзон Крузо, – обманул его и не пришел. Ладно, его дело!

Напевая сквозь зубы, подтанцовывая, Некрылов мрачно шагал по редакции, трогал вещи.

Подойдя к Сущевскому, он молча нахлобучил ему кепку на нос и снова принялся шагать.

Неприятный разговор предстоял ему. И хуже всего – у разговора этого не было начала. Конец был ему ясен. Ясна была середина. Но начало?

«Оно должно быть вежливым, – подумал он с сожалением. – Если я сразу ударю его, он может убежать. Он убежит, и ничего не выйдет».

И вежливое начало набежало на него, как помощный зверь в народной сказке.

– Вот – Сущевский, – сказал он вдруг и остановился перед ним, заложив руки в карманы. – Живой Сущевский. Скажи мне, милый, зачем ты скучаешь? Зачем это тебе нужно? Вспомни время, когда ты двух слов не мог связать без «которых» и без запятых. А теперь тебя печатают и ты великая русская литература. Ведь ты же с утра до вечера должен радоваться. А ты скучаешь!

– Про запятые и «которые» ты мне говоришь четвертый раз, – скучно качая головой, возразил Сущевский. – И даже руки при этом точно так же держишь в карманах. И думаешь, должно быть, что если все запятые и «которые» пропустить, так выйдет сочинение Пушкина «Пиковая дама». Не выйдет.

– Не сердись, милый. Ты знаешь, что я сегодня утром про тебя вспомнил? Когда ты читал свой первый рассказ и я тебя похвалил, потому что ты был еще очень молодой и в валенках, – Зощенко отвел меня в сторону и сказал: «Виктор Николаевич, зачем вы его похвалили? Ведь теперь он будет писать до самой смерти».

Сущевский посмотрел на него, стараясь казаться равнодушным. Он, впрочем, покраснел немного.

– А знаешь, что я вчера вечером про тебя вспомнил, Виктор? – сказал он почти задумчиво. – Когда Есенин сюда приезжал и ты его за «Москву кабацкую» начал топить, – он, и не отводя тебя в сторону, сказал, что ты именно потому в критики пошел, что из тебя поэт не вышел. И книжку твоих стихов показывал. Ничего себе стихи. Под Маяковского.

Некрылов захохотал, с отчаяньем почесал затылок, развел руками.

– Сдаюсь, – закричал он, – черт с тобой, ставь свои запятые! И скажи мне, что за человек Кекчеев? Кого ни спрошу, все начинают рассказывать про отца. А мне нужно поговорить с сыном.

– Кекчеев – это человек, который учится делать писателям ручкой, – мрачно объявил Сущевский, – он всех нас слопает когда-нибудь. О чем ты хочешь с ним говорить? Он, кажется, собирается вернуть тебе рукопись. На твоём месте я бы и не говорил с ним, а прямо бы по морде. Я его знаю. Он сволочь.

Некрылов приостановился. Сел. Потом переспросил:

– Что? Рукопись? Какую рукопись?

Редактор нервно заерзал на своем стуле, побагровел, сделал сердитое лицо Сущевскому, потом с беспокойством перевел взгляд на Некрылова.

– Не знаю, вот тут говорили, – трогая языком зубы, пробормотал Сущевский. – Будто бы собирается вернуть. Рукопись. Книгу...

Прозаик с унылым носом прервал свой сюжет на самом увлекательном месте, практикантка, по-детски открыв рот, смотрела на Некрылова.

Некрылов рассмеялся.

– Сушевский, у тебя есть секретарь? – спросил он. – Вам всем нужно завести секретарей. Если бы я жил здесь, я бы составил отряд из секретарей и обстрелял бы все ваши издательства с крыши Казанского собора.

– Виктор Николаевич, тут, видите ли, произошла странная история, – беспокойно поправляя пенсне, пробормотал редактор, – книга была принята, у меня в столе лежит проект договора. Я думал, что дело окончится несколькими исправлениями. Но Кекчев... .

– Ну что вы, пустяки, – так что-то сказал Некрылов и встал, почувствовав необыкновенный прилив вежливости, той самой, которой ему так доставало, – мне все равно. Я поговорю с ним.

– Он в секретариате, на этой же площадке, направо, – примирительно объяснил редактор. – Вы поговорите с ним. Он настаивает, видите ли... .

Но Некрылова уже не было в комнате. Втягивая воздух сквозь зубы, он ушел.

И только за дверью, в коридоре, походка его стала тяжелее, глаза потускнели. Он зубы оскалил, он начал поматывать головой... .

17

Машинистка из технического отдела, та самая, что была настоящей розовой стрекозой с белыми и голубыми бантиками, остановилась у дверей секретариата, прислушалась, подняв глаза вверх, и с лицом, порозовевшим от любопытства, побежала дальше. Минуту спустя она вернулась с двумя подругами, похожими несколько на молодых солдат. И подруги казались заинтересованными.

Немного погодя к машинисткам присоединился делопроизводитель из торговой части, известный тем, что умел скрипеть контуженным ухом.

Делопроизводитель, послушав две-три минуты, поспешно выбежал на лестницу и, поймав за рукав Вильфрида Вильфридовича Тоотсмана, вернулся вместе с ним к дверям секретариата.

Секретариат был тем самым служебным помещением, в котором Вильфрид Вильфридович ежедневно проводил ровно шесть часов, минута в минуту, которое он только что покинул, чтобы подкрепить свои силы стаканом чая с французской булкой.

Тем не менее, будучи семьянином, имея за плечами не вполне удачное социальное происхождение, он не только не решился войти в секретариат, но предпочел отдалиться от него на приличное расстояние.

– Там Халдей Халдеевич, ничего-с! Их Халдей Халдеевич разоймет. Будьте покойны, Халдей Халдеевич не допустит драки, – решительно сказал он удивленному делопроизводителю и, строго подняв палец, задом вышел на площадку.

В секретариате шел скандал. Он шел кругами и с каждой минутой забирал высоту.

Он гремел, как труба, слов уже не было слышно. Он был уже не смешон, даже смешливая стрекоза не осмеливалась улыбаться.

– Снимите очки, я сейчас буду бить вас в морду!

И – крик. И отшвырнутый стул прогремел по паркету. Похоже было на то, что начиналась драка.

Целая толпа уже стояла у дверей секретариата.

И никто не решался войти: Вильфрид Вильфридович, в ответственные минуты всегда вспоминавший, что был некогда мировым судьей, кричал с площадки, что «следует ссоря-

щихся примирить искать. Следует, если того учинить невозможно, по караул послать или самим сходить. Следует взять под арест, развести, учинить запрещение».

Поздно было учинять запрещение.

Маленький, измятый, пухлый куль с бельем выкатился из двери и остановился в коридоре, бессмысленно распахнув рот.

Он стоял как бы уже не на ногах, но на штанах, сползающих от страха. Бледный молодой сыр – сыр, с которого упали очки, торчал у него на плечах.

Нельзя было поверить, что это существо, распадающееся от испуга на части, могло курить трубку, отдавать распоряжения, наконец, просто занимать место.

Впрочем, и место его вслед за ним подверглось полнейшему уничтожению.

Некрылов буйствовал. Он рвал ногами бумаги, сброшенные со стола на пол, он расталкивал вещи, он разбивал письменный стол. Письменный стол он разбивал не только с наслаждением, но с ловкостью, с умением – как будто он занимался этим всю свою жизнь.

С какой-то бешеной аккуратностью он выбрасывал ящики один за другим, проламывал их каблуками и раздергивал на части. Стол, как сухарь, крошился под его ногами.

Он ходил по комнате упругой походкой, свалив лысую голову набок, почесывая голову, поматывая головой – как бы выбирая, что еще сломать, раздавить, уничтожить. Потом он выбежал вслед за Кекчевым.

Толпа служащих, соболезующих, возмущающихся, втихомолку смеющихся, стояла вокруг Кекчева. Вильфрид Вильфридович, успевший сбегать за стареньким швейцаром, тем самым, что в вестибюле дает номерки от галош, взволнованно объяснял всем, что и по старому уголовному кодексу вызовы, драки и поединки наижесточайше запрещались.

От растерянности он цитировал наизусть целые страницы. Старенький швейцар слушал его и пугливо озирался. В руках у него были чьи-то галоши...

Некрылов одним движением раздвинул толпу. Он был яростен. Ища какое-то слово, он скрипнул зубами.

Суцевский подошел к нему и взял его за руку.

– Виктор, успокойся, да что ты. Да ты с ума сошел, – сказал он, сам немного пугаясь Некрылова и стараясь не смотреть ему в лицо, – опомнись же, чудак, ведь так ты человека ухлопать можешь.

– У меня с ним счеты, с этим прохвостом, – почти не раскрывая рта, хрипло сказал Некрылов.

Представительный старик с генеральскими бакенбардами – издательский мажордом, славившийся своим умением улаживать скандалы, – уже летел по лестнице, решительный, очень строгий.

– Будьте добры немедленно же покинуть помещение, – объявил он торжественно, не подходя, впрочем, к Некрылову близко, – вы мешаете служебным занятиям.

Некрылов заслонился от него рукой, как от пыли.

– Вы семейный? – спросил он коротко. – Уйдите отсюда, если вы семейный.

И наступило замешательство. Стало вдруг очень тихо. Лысый кассир, похожий на Тараса Бульбу, пролез через толпу, неожиданно взмахнул руками и сказал дрожащим от волнения голосом:

– Я советую позвать милиционера.

Кекчев стоял, держась обеими руками за перила лестницы, коротко дыша, стараясь подобрать отвисшие губы. Давно уже он силился объяснить что-то, пожаловаться кому-то, не то доктору, не то прокурору. Так называемый фонарь разгорался у него под глазом с каждой минутой.

Он тщетно пытался запихать непослушными руками галстук за борт пиджака – галстук болтался у него на шее, растянутый и измятый.

Некрылов медленно подошел к нему, таща за собой Сушевского, который все еще не выпускал его рук из своих. Он уставился на сырое лицо побелевшим, сморщившимся от презрения носом.

– Я забыл вам сказать, – произнес он с какой-то страшноватой плавностью, – чтобы вы... суслик!.. чтобы вы и не думали на ней жениться.

И все видели, как Кекчеев, мельком взглянув в тусклые глаза скандалиста, осел, заискивающе улыбнулся и мелко, очень мелко закивал головой.

18

Но никто не видел, что делал оставшийся в секретариате Халдей Халдеевич. Никто не вспомнил о нем, никто не спросил, почему не поинтересовался он исходом столь редкого под крышей одного из крупнейших ленинградских издательств столкновения.

Между тем Халдей Халдеевич был единственным человеком, которому столкновение это доставило истинное удовольствие. Он и не думал о том, чтобы «ссорящихся примирить искать, чтобы немедленно по караул послать».

Напротив того, когда Некрылов, учинив так называемое оскорбление действием, ходил по комнате, разрушая служебное помещение, уничтожая служебный инвентарь, он предупредительно двигал к нему мебель, поспешно тащил из шкафа папки с делами. Он торжествовал.

Оставшись в одиночестве, прикрыв из предосторожности дверь, он учинил на поверженных кекчеевских бумагах веселую детскую пляску.

Теребя отрастающую бородачку, он танцевал на поверженных кекчеевских делах – танцевал и прыгал, по-медвежьи притопывая ногами. Сняв и поставив на стол старомодные целлулоидные манжеты, он яростно тузил кулачками воздух, накладывая по шее невидимому врагу. Прищурился, плюнув в кулачок, он без промаха лупил в невидимый нос своего бывшего подчиненного. Он был похож на отчаянного мальчишку, на драчуна, оставленного без присмотра, дорвавшегося наконец до драки.

И он дрался всласть, так, как если бы перед ним и в самом деле стоял и смотрел пустыми глазами этот плут, этот плут, этот пролаза!

19

Дождь падает на опустошенные поля Ленинграда.

Снег надает на опустошенные поля Ленинграда.

Дождь пополам со снегом пытается заполнить его пустоты.

Он падает, как подкошенный.

Вожатый рукавом оттирает стекло.

Он падает, не слушая возражений.

Он падает в постель, потому что крышу отдали починить господину из Сан-Франциско.

Трамвай влачится вдоль проспектов, вползает на мосты, и рельсы гудят на мостах, невыносимо гудят – так, что нужно замолчать, нужно закутать голову в одеяло.

И он молчит. У него есть дело. Очень важное. Он едет по делу. Он знает, что это хина гудит в ушах, – зачем ему дали хины?

Остаются за спиной, отходят в непогоду, в вечность мосты, бесшумно пролетают улицы. Свет мигает.

Ногин смотрит в стекло и узнает себя в темно-прозрачном отражении. Неблагополучная стеклянная тень летит вместе с трамваем.

Тень, притворяющаяся отражением.

Тень, которая есть результат столкновения световых лучей с телом, для них непроницаемым.

Тень, которую ни продавать, ни каким-либо другим способом отчуждать от себя невозможно.

Детская песенка звенит в его голове:

Квинтер-Контер с жабой играл,
Квинтер-Контер в яму упал.
У Квинтера-Контера мама была,
Но жаба его хоронить понесла.

Трамвай проходит по кругу, достигает предела. Все выходят. Он остается один. Билеты лежат в его руке, тяжелые.

Он не знает, что с ними делать.

Усталая кондукторша смотрит на него нетерпеливыми глазами.

Он тихо кладет билеты на скамейку подле себя и берет новые. Новые люди входят в вагон, отряхивая с одежды мокрый снег. Они садятся справа от него и слева. Это ничего, это хорошо, что у них эмалированные лица!

Женщине со спящим ребенком он уступает место.

С человеком в мокром треухе он говорит о погоде.

Он объясняет ему, что едет с лекции, лекция затянулась. Он показывает человеку в мокром треухе какие-то книги, которые везет с собой, и тот слушает его с сочувственным видом. Он уверяет его, что едет по делу, важному делу, что работает на двух факультетах, что вот заболел, что вот – не переносит хины.

Трамвай, возвращаясь, вползает на мосты, колеса снова гудят. Снова не слышно ни звука. Глохнут на губах слова.

Тогда он говорит человеку в мокром треухе, что рукой, закинутой назад, она придерживала прическу. Придерживала, но прическа все же рассыпалась. Что Кекчеев, Кирилл Кекчеев, был похож на зайца, входящего в тонкости, на зайца с прижатыми, наслаждающимися ушами.

И человек в мокром треухе, не слыша, сочувственно кивает ему головой. Но женщина поднимает голову и грустно смотрит ему в лицо. Ребенок спит у нее на руках, она легонько покачивает его, поправляет спадающее одеяльце.

И Ногин, помахивая тяжелой рукой, начинает напевать ему детскую песенку, которая звенит в его голове, звенит и не дает покоя:

Квинтер-Контер с жабой играл,
Квинтер-Контер в яму упал.
У Квинтера-Контера мама была,
Но жаба его хоронить понесла.

Но как ему доказать, что он ни в чем не виноват перед господином из Сан-Франциско?

Большая, как паникадило, круглая лампа стояла где-то бесконечно далеко от него. Матовый колпак оплывал вокруг нее, раздувался, лопался, казался мыльным пузырем, продавленной круглой шляпой.

Потом арап в белом халате внезапно возник перед ним из нарушенного пространства. Черная трубка качалась в его руках, докторский молоток торчал за поясом. Арап щупал пульс,

прикладывал к груди толстое волосатое ухо. За его спиной стоял, робко моргая рыжими веками, встревоженно разводя руками, Халдей Халдеевич.

Но вот дышать – дышать было нечем.

И, делая жестокие усилия, чтобы дышать, Ногин вытащил из-под одеяла большой белый предмет с пятью костлявыми отростками. Отростки медленно шевелились и, казалось, ползли на него.

И, не узнав своей руки, он заплакал от ужаса, от слабости, от болезни.

21

Два голоса услышал он, когда очнулся вторично.

Хина больше не звенела в ушах, руки лежали поверх одеяла, тонкие и свободные. Он прислушивался, не поднимая век.

Они были очень схожи, эти голоса. Так схожи, что можно было подумать – сам себя убеждает в чем-то человек, привыкший к одиночеству, разговаривающий с вещами.

– Милый мой, да ведь тому же не менее как двадцать... Да куда там двадцать... Двадцать шесть лет минуло... И ты все еще сердисься на меня? Все еще помнишь?

Голос был тихий, усталый, но плавный. Это не Халдей говорил. Халдей жужжал наедине с собой.

– Помню ли я, как ты, со всеми проистекающими из сего последствиями, меня обманул? Как ты, употребив во зло доверие мое, меня оболгал? Помню!

Вот это и точно было сказано не кем иным, как Халдеем. Но с какой иронией, с каким язвительным жужжанием говорил Халдей!

Ногин открыл глаза, медленно повернулся на бок.

Если бы он не был так слаб, он, верно, спрыгнул бы со своей постели, – таким странным показалось ему то, что он увидел. Смутная мысль, что вот снова начинается бред, заставила его горестно качнуть головой от удивления. Но на бред это все же было не слишком похоже.

Два Халдея Халдеевича стояли друг против друга...

Или нет – стоял только один Халдей Халдеевич, показавшийся Ногину более натуральным. Знакомый сюртук, на котором, впрочем, более не красовалась траурная лента, был надет на нем, – похоже было, что с того дня, как Ногин заболел, он его и не снимал вовсе.

Он стоял, выставив одну ногу вперед, сложив руки за спиной, подергивая плечами.

Другой, ненатуральный Халдей, показавшийся Ногину знакомым не только по сходству с двойником своим, робко сидел перед натуральным на кончике стула. Бог весть во что он был одет, чего только не было накручено на его сгорбленные плечи, на поджатые ноги! Тут было и знакомое драповое пальто Халдея Халдеевича, и его, Ногина, синие студенческие штаны, и какие-то женские ночные туфли с загнутыми концами.

А над кирпичной печкой на веревочке, протянутой от выключателя к окну, висели и дымились паром мокрые брюки, нижнее белье и покоробившийся, уже просохший пиджак, принявший, покамест просыхал, положение, сходное с человеком ораторствующим. Правый рукав его был высоко задран.

– Так, стало быть, ты до сих пор думаешь, что я был тогда виноват перед тобой? Скажи же, в чем, если ты считаешь, что через двадцать пять лет нам еще не поздно объясниться.

– В том...

Халдей взмахнул рукой и снова заложил ее за спину.

– В том, что ты на меня наврал, Степан. В том, что ты, воспользовавшись моим отсутствием, от меня невесту увел. И во многом другом, о чем, только жалея тебя, вспоминать не желаю. Ты нас обоих загубил. И ее. И меня!

Ненатуральный Халдей кутался в пальто, глядел на него усталыми глазами.

– Милый мой, насчет того, кто кого загубил, я ли ее или она меня... Стоит ли теперь говорить об этом? А если я и был в чем-нибудь виноват перед тобою, так за давностью лет...

– За давностью лет? – переспросил Халдей с презрением. – А что, если эту давность лет я тебе в особое преступление вменяю? Давность лет! А как ты жил эти годы? Книжки читал? Чужие работы переписывал? Вспомнил ли ты обо мне хоть единожды? Ты ханжа, Степан! Ты ханжа и разбойник!

Ненатуральный Халдей придвинулся к печке и робко вытянул вперед сероватые, слегка дрожащие руки. Почерневшая шея вылезла из-под воротника пальто, он походил на японца.

– Ну, ханжа так ханжа, – слабым голосом возразил он, – ну, что я могу теперь сделать для тебя, милый? Ну, разбойник. Ну, книжки читал. А что насчет нее, так ведь я же ее не принуждал, она по своему желанию именно за меня, а не за тебя замуж вышла.

– По своему желанию? Ты говоришь, по своему желанию? А ты забыл, как по моем возвращении ты мне за невесту предлагал дипломную работу написать? За нынешнюю жену свою, за Мальвину Эдуардовну, в девичестве Рекс, предлагал исследование о Смутном времени за меня написать? И рассыпался-то как! Рассыпался!

Халдей Халдеевич на цыпочках прошел по комнате. Он как будто старался успокоить себя. Но вернулся еще более чопорным и гневным.

– Не забуду, – сказал он торжественно, – докуда дыхание в груди моей не исчезнет и кровь не охладет. И не прощу никогда. Это уж не судьба, которая может непредвиденное бедствие наслать на человека. Ты меня так обманул, как никакая судьба обмануть не может! Не я, но всякий, имеющий довольно сил, отомстил бы тебе за обиду, которую ты учинил надо мной! Ты ханжа, Степан, и не только ханжа! Ты скаредный злоумышленник, ты присвоитель чужого...

Халдей Халдеевич сам себя прервал жужжанием. Впрочем, это было уже не жужжание – шумела вода в водопроводных трубах, рассыпался пол, трещали обои...

Собеседник его сидел перед ним, опустив голову.

Ногин давно уже узнал его. Это был Ложкин, покойный профессор Ложкин, тот самый развращенный, погруженный в распутство, преданный наслаждениям самого скотского характера буйный брат, по которому Халдей (или это уже в болезни померещилось?) носил траурную ленту.

И он сидел перед кирпичной печкой, этот буйный брат, в его, Ногина, синих студенческих брюках.

Сидел тихо, очень тихо, как бы боясь моргнуть глазами, качнуть головой.

– Да что ж ты теперь-то меня за все это упрекаешь? – ответил он наконец и негромко вздохнул. – Поздно теперь. Ведь я ж с ней всю жизнь прожил, с Мальвиной. А ты бы, чем меня упрекать, подумал лучше о том, кому из нас большее выпало счастье – мне ли, который за двадцать пять лет ни одной минуты себя не чувствовал человеком, или тебе с твоим одиночеством? Да и о чем же говорить теперь? Она уже старуха, да и мы с тобой старики. Не смешно ли теперь вспоминать о том, как когда-то мы из-за нее поссорились с тобой?

– Не смешно!

Халдей стоял посередине комнаты, как одеревенелый. Руки его, заложенные за спину, крепко схваченные одна другой, заметно дрожали.

– Не смешно, – повторил он и вдруг заплакал. Он сторбился, лицо его сморщилось, маленькие слезы запрыгали из мохнатых, покрасневших глаз.

Не вытирая слез, он все искал что-то в карманах измятого парадного сюртука – как бы не зная, что делать со своими руками.

Тогда заплакал второй, ненатуральный Халдей, тихо заплакал, так же тихо, как сидел он давеча на кончике стула, боясь качнуть головой. Он только раз горестно взмахнул руками и заплакал.

Ничего не сказав, стараясь только не показать, что он очнулся, что он весь разговор слышал, Ногин бесшумно оборотился к стене и натянул одеяло по самые уши.

Непонятная радость его душила. И слабость. Он сердито вытер глаза концом простыни.

И должно быть, поэтому он не видел, как Халдей Халдеевич, сгорбившись, стесняясь, обнял брата и стал похлопывать крошечной рукой по плечу, подбодряя его, плача сам, а его уговаривая не плакать.

«Забыв долг, поправ честь, презрев стыд и усыпив совесть...»

*Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за захватское их посещение. Архирей изволил благодарить настоятеля Н – й церкви за бравое и хватское исполнение обязанностей.
Потебня. Лекции по русской грамматике*

1

Через час после отречения профессора Ложкина от жены, от квартиры, от системы кабинетного существования его видели в университетском общежитии. Один из студентов встретил его выбегающим из драгомановской комнаты. Был седьмой час утра, рассеянный свет стоял над лестницами и коридорами общежития, и в этом свете Ложкин мелькнул как отражение, в любую минуту готовое исчезнуть. Он держал в руках портфель и на ходу старался затиснуть в портфель серенький пиджачок.

И Драгоманов показался на пороге своего жилья, хромой и веселый. Он смеялся. Вслед Ложкину он кричал какие-то слова, показавшиеся очень странными студенту, проживавшему в соседстве с клозетом:

– Почему пиджак? А почему не штаны?

Молчаливый, как отражение, Ложкин мелькал уже где-то в пролете, где-то на последней площадке.

Последний человек, видевший его в пределах университета, был крошечный седой сторож у ворот.

Была гололедица, и профессор, подобно конькобежцу, скользил вдоль ректорского домика, испуганно запахивая шубу. Сторож встрепнулся, хотел помочь, но, покамест он выбирался из своей будки, отражение растаяло, профессор исчез.

2

В издательстве, которое вот уже целый год держало его книгу, не решаясь ни выпустить ее, ни рассыпать набор, он получил часть своего гонорара. Это были небольшие деньги.

Он уехал. Разумеется, не на родину, не на могилу к тетке, замерзшей в восемнадцатом году, но к старому гимназическому приятелю доктору Нейгаузу.

Тридцать лет назад после какой-то неудачи Нейгауз покинул Петербург и поселился в маленьком уездном городке, неподалеку от одной из третьестепенных станций по Октябрьской железной дороге.

Ложкин никогда не переписывался с ним, но знал, что где-то под Питером или между Питером и Москвой живет Август, доктор Август Нейгауз. Он вспоминался длинным, нескладным, корректным, слегка сумрачным гимназистом с белой каемочкой из-под воротника плотной форменной тужурки.

Однажды – это было тотчас же после сдачи магистерских экзаменов – Ложкин послал ему одну из своих первых книг, но ответа не получил. Книга была послана от гордости, не оттого, что еще дороги были старые друзья, надписана не так, как следовало ее надписать, – и Нейгауз ничего не ответил.

А потом прошло ровными шагами – шагами, много раз измерившими расстояние от библиотеки университета до библиотеки Академии наук, – то, что прошло потом. Прошла жизнь.

Именно эти слова сказал себе Ложкин, когда вместо корректного гимназиста с белой каемочкой воротничка увидел старого, слегка сгорбленного, костлявого врача с седыми, желтыми, моржовыми усами.

3

Нейгауз не узнал его при встрече – но, когда узнал, расцеловался с ним и не менее четверти часа тряс его за руки, хлопал по плечу.

Он захохотал грубым голосом, охрипшим от молчания, когда Ложкин объявил ему, что приехал отдохнуть, – захохотал так, что кухарка, навряд ли слышавшая когда-нибудь, как ее хозяин смеется, в испуге прибежала снизу, из кухни, с граблями в руках, с засученными рукавами.

Он усадил Ложкина в широкое кресло с кожаной подушечкой у изголовья – это кресло было единственной мягкой мебелью в его доме. Он завалил весь стол какими-то пышками, рыбками и маленькими прошлогодними печеньями. Он приказал своей стряпухе немедленно же ставить пироги и кричал ей что-то насчет кардамону, чтобы она не забыла, как в прошлый раз, положить кардамону, шафрану.

Растаяв, подобрев, Ложкин ходил по маленьким уездным комнатам и любовно смотрел на Нейгауза – как давно уже не смотрел ни на одного человека в мире.

За ужином они не спрашивали друг друга о личных делах. Одного за другим перебрали они своих учителей – сурового латиниста, прозванного Бородой, человека действительно бородатого, которому однажды устроен был грандиозный скандал с битьем стекол, с обстрелом педелей, и Саньку Княжнина, математика, которого все так и звали Санькой, невзирая на то что ему было никак не менее пятидесяти пяти лет. Ложкин даже изобразил его – поджав губы, заложив одну руку за спину, а другой язвительно щекоча подбородок.

– Нейгауз, что ты делаешь, мерзавец? – сказал он быстро. – Ты очень плохо кончишь, Нейгауз. Садись! Моментально на место!

Нейгауз хохотал, держась за бока, вытянув длинные сухошавые ноги.

Они вспомнили Викторина Павлова, преподавателя географии, прославившегося тем, что мама записала его в Союз русского народа. Он медленно входил в класс с зонтиком и указкой, был смешлив и, фыркая, закрывался рукой. Они перепутали: Союз русского народа тогда еще не существовал.

И Митьку Лаптева, историка, который, сидя на кафедре, вычесывал блох частым гребешком и потом старательно давил их на классном журнале.

Ложкин огорчился, услышав, что Санька тридцать пять лет тому назад был повешен собственной кухаркой, что Лаптев, доведенный преследованиями директора до душевной болезни, избил его зонтиком при попечителе округа и, будучи с позором изгнан из гимназии, умер в безумии.

А Губошлеп? А Линкс, старый дерптский студент, который, увлекаясь, на уроках немецкого языка показывал приемы фехтовального искусства и шрамы – следы старинной вражды между корпорациями Borussia и Victoria?

Что это была за бурса, боже мой! И как это было далеко, как непохоже, что все это было.

4

Ложкин проснулся под утро. В комнате было полутемно. Он лежал тихо, покрытый одеялом до самых глаз, стараясь уснуть и смутно сознавая, что уснуть уже не удастся. Потом он с усилием приподнял голову с подушки, пошарил рукой выключатель.

Никакого выключателя не было, не было и самой лампы, не было даже ночного столика, на котором она стояла. Не было пенсне, не было книги, которую он вчера не успел закончить. Или это было не вчера, но третьего дня, но...

Он слез с кровати и босыми ногами пошел по скрипучим половицам. По половицам – не по паркету: пол был другой. Он подошел к окну, отдернул занавеску. Снег лежал в низком палисаднике – хрупкий, почерневший, подтаивающий. Маленькие голые клены качались от ветра. Наступало утро. Утро было другое.

Потирая озябшие руки, он вернулся и сел на кровати, закутавшись в одеяло. Он удрал, удрал, вот в чем дело! Он бросил жену, отрекся от квартиры. Никто не знает, где он, – ни жена, ни прислуга, ни Публичная библиотека, ни Академия наук. А он у Нейгауза, в глухом городишке в трех верстах от одной из третьестепенных станций по Октябрьской железной дороге.

И чтобы снова заснуть, ему не нужно перебирать дня, оставленного в кабинетах библиотек, в аудиториях университета. Трамвай больше не гудит на поворотах, оконные переплеты не отражаются на потолке – а если и отражаются, то ничем не напоминают другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагает профессор Ложкин.

Он был свободен наконец. Он мог делать все, что хотел, он мог ложиться, когда вздумается, и, когда вздумается, вставать. И не нужно было разговаривать с людьми, не нужно извиняться перед ними за свое существование.

Не было книг, стены были простые, бревенчатые, свободные.

Не нужно было улыбаться.

5

Почти все свободное от занятий время Нейгауз проводил над верстаком, со стамеской, с рубанком в руках. Он любил делать вещи. За исключением мягкого кресла для важных гостей, все, что увидел Ложкин в его маленьком доме, было сделано его собственными руками.

Он был прекрасный врач, что, впрочем, нисколько не мешало ему относиться скептически к своей профессии.

– Единственный случай, когда причина идет за следствием, – сказал он Ложкину, – это когда врач идет за гробом своего пациента.

В городе его любили, крестьяне за десятки верст приезжали к нему лечиться. Прославился он после истории с печным горшком. История была такая.

Лет пятнадцать назад мужики во главе с волостным старшиной приехали за ним, чтобы отвезти его в одну из окрестных деревень.

Там под иконами лежал огромный волосатый старик, очевидец Отечественной войны, которого, по предписанию из обеих столиц, необходимо было сохранить для празднования столетней годовщины 1812 года.

Он кричал. Печной горшок стоял на его животе.

Вернувшись из городской больницы, где он был поражен лечебным свойством сухих банок, он взял печной горшок, намылил его, сжег в нем клочок кудели и сам себе поставил на живот вместо банки.

Живот ушел в печной горшок без остатка.

Три растерянных фельдшера суетились вокруг старика. Они тщетно пытались под наблюдением пристава засунуть под горшок пальцы.

Старик ругал их по матери. Уверяя, что он был лично знаком с Бонапартом, что у других очевидцев в паспортах подчищены года, он требовал у фельдшеров немедленного облегчения.

Нейгауз с минуту смотрел на него – моржовые усы его чуть заметно дрожали от сдержанного смеха.

Оглядевшись, он заметил у печки кочергу. Все следили за ним с любопытством. Он взял в руки кочергу и, сказав только с легким латышским акцентом: «Ну, теперь держись, старый хрен», – ахнул по горшку кочергой. Горшок разлетелся в куски. Стодвадцатипятилетний волосатый живот вылез из-под него, обожженный, сильно потрепанный, но веселый.

С тех пор Нейгауза на сто верст кругом знал каждый ребенок. Он был прост. Ему прощали чудачества. Чудачеством считали, например, его привычку купаться в местной речке каждое утро, летом и зимой, в любую погоду.

На следующий же день после приезда Ложкина он и Ложкина потащил купаться – и тот с ужасом смотрел, как, сбросив с себя широкие штаны и легкий чесучовый пиджак, Нейгауз начал приседать на берегу, сгибая и разгибая узловатые руки. На острый ветер, который заставил Ложкина поднять воротник пальто и поплотнее завязать кашне вокруг шеи, он не обращал ни малейшего внимания.

– Очень полезно, *voluntas sana in corpore sana!*¹⁰ – крикнул он Ложкину и, кончив гимнастические упражнения, полез в воду.

Лед еще только что прошел, вода была очень холодна – но он неторопливо окунулся несколько раз и, слегка сгорбившись, хлопывая себя по старому кряжистому телу, вылез на берег. Ложкин растерянно смотрел, как, плотно утвердившись на длинных сухих ногах, он стер с себя ладонями воду и принялся с силой растираться мохнатой простыней.

Он должен был поехать в больницу в этот день, но ради приезда старого приятеля не поехал, и они целый день бродили по городу. Нейгауз показывал город. Указав рукой на дом, он говорил кратко: «Вот дом», на аптеку – «Вот аптека», на почту – «Вот почта».

Показывать было нечего. Аптека была аптекой, дом – домом, почта – почтой. Жители не были похожи на дикарей.

Как все молчаливые люди, Нейгауз говорил мерно, не сливая слова, останавливаясь на неожиданных местах. Показав аптеку, больницу и почту, он рассказал Ложкину несколько случаев из своей практики.

Пришел к нему однажды милиционер с разинутым ртом. Он как бы пел – беспрестанно, но бесшумно. Отчаянно ворочая языком, он кое-как объяснил Нейгаузу, что раскрыл рот, чтобы хлебнуть щей в трактире, да так с разинутым ртом и остался. Трактирщик с подручным старались закрыть рот насильно, но не могли.

– Я стукнул его кулаком по челюсти, – кратко объяснил Нейгауз, – это был, конечно, простой вывих. Но в рот, покамест он дошел до меня, набилось очень много пыли и всякой дряни. Когда он закрыл рот, он чуть не задохнулся.

По дороге к дому Нейгауз припомнил, что, расставаясь по окончании гимназии, Ложкин, и он, и Крейтер, и Попов, и еще кто-то решили собираться каждое пятилетие. Крейтер был теперь профессором математики в Бостоне, Попов умер лет десять тому назад.

Зато здесь же, в городе, живет и служит в Губстатбюро не кто иной, как Женька Таубе, – «ты, должно быть, помнишь его, Степан, он был на два или три класса старше нас с тобой».

Тут же решено было позвать Женьку Таубе. Решено было в тот же вечер устроить «на лужайке детский крик» – так выразился Нейгауз.

¹⁰ Здоровая воля в здоровом теле! (*лат.*)

6

«На лужайке детский крик» начался с того, что Нейгауз затеял варить глинтвейн и сам старательно толоч корицу, сыпал в кастрюлю сушеную гвоздику, отмерял пивным стаканчиком сахарный песок.

– Ты увидишь, милый мой, что я не забыл еще, как это делается. Помнишь, как мы варили пунш в бабаевском доме?

Ложкин помнил. В бабаевском доме жили пансионеры. Нейгауз был пансионером и признанным тамадой на всех гимназических вечеринках.

Потом пришел Женька Таубе, дряхлый старик с тощими седыми баками, с подвижным носом. Один глаз у него был постоянно прищурен, что придавало его лицу скептическое выражение. Другой косил.

Ложкин был немного испуган его появлением. Но Женька даже не посмотрел в его сторону. Понюхав слегка воздух, он прямо отправился к тому месту, где возился с глинтвейном Нейгауз.

Он попробовал глинтвейн и объявил, что в нем маловато водки.

– Пошел ты к черту, – с сердцем сказал ему Нейгауз и, схватив за плечо, повел к Ложкину.

– Самый мнительный человек в мире, – сказал он очень серьезно, – хлеб, на который села муха, мажет йодом, прежде чем положить в рот. Из преданности к советской власти до сих пор не решается надеть галстук, так с запонкой и ходит.

Ложкин пугливо смотрел на старика. Галстука на нем действительно не было. Он был ужасен.

7

Нейгауз сидел, расставив ноги, расстегнув ворот рубахи, упрямо встряхивая седым хохлом, падавшим ему на лоб. Похожий на старого, кряжистого гусара, он пел, обняв руками бутылки:

Edite, bibite,
Col-le-giales,
Post multa secula
Po-cula nulla!¹¹

Некому было подпевать. Collegiales, одни, разбросанные по всему миру, давно забыли и думать о том, что были когда-то его друзьями, другие и вовсе предпочли переселиться в комнаты тесные, тихие и сыроватые, далекие от всякого шума.

Только Ложкин по временам подпевал ему грустным голосом:

Pocula nulla!

Как весело было доказывать когда-то, что бессмертия не существует!

Но в конце концов разошелся и он. Глинтвейн был крепок. Женька Таубе соврал, что водки было маловато.

¹¹ Ешьте, пейте, Коллеги, Пройдут века — Попоек не будет! (*лат.*)

– А помнишь Марусю Навяжскую? – спрашивал он. – Какая девушка была, косы какие! Ты приударял за ней, Август.

Нейгауз пел, без всякой нужды размахивая руками. Он был пьян, моржовые усы его обвисли.

– А Лапина горка? А дом с чертями на Губернаторской? – спрашивал Ложкин. – А реалист Мими, которого ты чуть не утопил на выпивке после выпускных экзаменов? Я хотел тогда сказать тебе, чтобы ты его не топил, но очутился в канаве и сказал что-то совсем другое. Ты бы утопил его, если бы не городские.

– И очень жалею, что не утопил! – стуча кулаком по столу, кричал Нейгауз. – Я очень жалею, что не утопил его. Он был белоподкладочник! Мими, собачья морда, зачем ты смотришь гордо? – внезапно вспомнил он и рассмеялся, обнял Ложкина, приподнял на воздух и снова, с нежностью, посадил на стул.

– Чего вспоминать, лучше пей, докажи, что ты еще не совсем заржавел над своей историей литературы!

И Ложкин пил. За всю свою жизнь он, кажется, не выпил столько, сколько в доме Нейгауза за один вечер. Уж и на Женьку Таубе он смотрел с любовью.

– Брось статистику, займись астрономией, Женя, – говорил он, держа статистику за рукав и сам себя слушая с удивлением, – переезжай в Ленинград, возьми за планеты. Подсчитай их, этого еще никто не сделал. И не женись. Не слушай Августа, не женись. Еще Пушкин сказал, что жена – род теплой шапки с ушами.

Женька принохивался к нему. Он молчал, один глаз косил, другой саркастически шурился. Он женился сорок лет назад, астрономия его не привлекала. Он был пьян по-другому.

Отняв свои руки от Ложкина, он заложил их в карманы и вдруг фертом прошелся по комнате, выбивая дробь маленькими кривыми ногами.

И тогда все перепуталось в охмелевшей голове профессора Ложкина. Пьяно мотал он головой, пьяно бродил по комнатам, натываясь на мебель.

– Профессор... Не ищите, друг мой, особенного значения в том, что...

В чем? В чем не должен искать он особенного значения?

Веселый усатый человек – почтальон или почтовый чиновник – вдруг появился в комнате, как во сне. Это он допил оставшийся глинтвейн, это он притащил из кухни нейгаузовскую кухарку и заставил ее танцевать с платочком вокруг Женьки Таубе, который все еще ходил фертом и все приседал, напрасно стараясь выкинуть из-под себя то правую, то левую ногу.

Это он потребовал от Ложкина профсоюзный билет, заявив, что не желает находиться в присутствии гражданина, не состоящего в профсоюзной организации.

И Нейгауз положил его под стол? И чиновник извинялся?

И Женька ли Таубе, сильно скосившись, полез кухарке за кофту, или это он, профессор Ложкин, полез кухарке за кофту и кухарка, обидевшись, показала шиш и ушла из комнаты, одернув платье?

Только одно запомнилось ему: как стоял среди комнаты кряжистый шестидесятилетний гимназист доктор Август Нейгауз и пел, вскидывая седой хохол, размахивая широкими, как тарелки, руками:

Edite, bibite,
Collegiales,
Post multa secula
Pocula nulla!

8

Бессонница смотрела из всех углов, из серого окна, задернутого рассветом. Он сидел неподвижный, серый. Он неслышно дышал, у него билось сердце. Он чувствовал отвращение к вещам, стоявшим вокруг него, к мебели, рассыпанной во время вчерашней пирушки, к остаткам пищи на столе, залитом вином.

Пикник! Это был пикник. Вот куда ушел его бунт, вот на что он променял свою жену, свои книги.

Стараясь не шуметь, он встал и, держась рукой за голову, принялся собирать свои вещи.

Преодолевая мучительную ломоту в пальцах, он написал прощальную записку Нейгаузу.

Он благодарил его за радушие, просил извинить за неожиданный отъезд, вызванный обстоятельствами непредвиденными.

На опустошенном столе он нашел кусок лимона и, очистив его ложечкой от мокрых крупинок чая, съел с жадностью.

В котором пункте его проекта стоял этот кусок лимона, и косоглазый Женька Таубе, и почтовый чиновник с кудрявыми лихими усами?

Со стесненным сердцем он уезжал от Нейгауза. Бунт не удался.

9

Он думал о Драгоманове в поезде – быть может, поэтому, встретив его на Знаменской площади, не поверил глазам своим и прошел мимо.

И точно – легко было не узнать Драгоманова: так изменился он за эти несколько дней, отделявших нынешнюю встречу от последнего разговора в университетском общежитии.

Он стоял, прислонившись к решетке памятника, засунув руки в рукава своей драной шинели, глядя вокруг себя туманными глазами. Хлястик был оборван на шинели, она висела на его узких плечах больничным балахоном. У него лицо стало меньше. Истасканные красномордые проститутки шныряли вокруг него, мальчишки продавали ароматную бумагу.

И Ложкин вернулся и снова прошел мимо Драгоманова, схватившись было рукой за шляпу, но так и не поклонившись от растерянности. Тогда Драгоманов оборотился, все теми же туманными глазами посмотрел ему вслед и вдруг снял перед Ложкиным шапку.

– Степан Степанович, – сказал он почтительно. – Очень рад, что наконец встретился с вами. Я так и забыл вернуть вам ваше пенсне. Кроме того, я должен принести вам мои искреннейшие извинения. До сих пор понять не могу, как я мог позволить себе так неучтиво вести себя в разговоре с вами.

10

И вот началось путешествие – путешествие за потерянным пенсне, за утраченным временем, за концом разговора.

Драгоманов шел впереди – прихрамывая, подняв голову, не глядя по сторонам.

Он был похож на босяка, но шел как римлянин – со свободным достоинством человека, который считает излишним смотреть себе под ноги. И неторопливо. Но Ложкин все же бежал за ним, подняв воротник шубы, поправляя кашне, боясь простудиться.

Он был спокоен. Он был как будто даже слегка огорчен встречей с Драгомановым. Драгомановская вежливость его пугала.

11

Проспект 25 Октября был пуст. Фонари только что погасли, и каждый дом казался тупой коробкой с тусклыми стеклами. Он был пуст и безлюден, серый арктический рассвет лежал над ним, как падающее небо. На панелях, возле потускневших окон магазинов и черных ворот, стояли закутанные в огромные шубы сторожа, продрогшие до костей, но еще сохраняющие торжественную неподвижность своего ночного одиночества.

Был ветер, крыши серели и таяли.

12

– Степан Степанович, вы любите Невский проспект? – спросил Драгоманов очень свободно и закинул ногу на ногу. Они уже сидели в трамвае. – Я его прямо терпеть не могу. Единственная часть города, которую если не люблю, так по меньшей мере уважаю, – это Васильевский остров. Я думаю, что если бы Петру удалось из него Венецию сделать, так это было бы самое забавное место на земном шаре. И, кроме того, там очень пивные хороши, на Васильевском. Я много ездил по Востоку, видел все эти портовые кабаки – они с лингвистической стороны действительно очень интересны. Я одно время портовым аргом Средиземного моря очень увлекался. Но таких пивных, как на Васильевском острове, ни на Западе, ни на Востоке вы не встретите. Идешь себе где-нибудь по Двадцать седьмой ЛИНИИ, и вдруг в угловом доме, от которого один только угол и остался, стоит пивная. И все, что угодно, вы в ней можете получить! Колбаски эти, заперченные до того, что дух захватывает с непривычки. Горох к пиву. Воры сидят. И хозяин – тоже, несомненно, вор, но благообразный, почтенный, с окладистой бородой и с глазами ясными, молодыми. Очень хорошо.

Ложкин согласился с ним. На Васильевском острове он жил уже тридцать лет. С тех пор как защитил магистерскую диссертацию, ни в одной пивной не удосужился побывать. Но зато когда он был студентом...

Три пушечных выстрела бухнули один за другим с короткими промежутками. Началось наводнение.

Не кончив фразы, он обеспокоенно взглянул на Драгоманова.

– Три фута выше ординара, – равнодушно объяснил Драгоманов и встал: трамвай уже скатывался с Дворцового моста. – Итак, Степан Степанович, когда вы были студентом...

13

И комната драгомановская как-то изменилась с того дня, когда Ложкин, сопровождаемый странным вопросом о штанах, бежал из нее, беспомощно запахивая шубу.

Комната была уж не просто грязна, неприглядность ее уже нельзя было оправдать шуточной фразой о Робинзоне Крузо. Пол был усеян окурками и картофельной шелухой, ровный слой пыли лежал на столе, на книгах; черная, как земля, подушка валялась на неприбранной постели. И Драгоманов больше не извинялся за все это, может быть, даже и вовсе не замечал. В комнате чувствовалось падение.

Он помог Ложкину снять шубу, предложил ему стул и сам сел, скрестив и вытянув ноги. У него был усталый вид. Он молчал.

Ложкин любовно вертел в пальцах свое старенькое пенсне, дышал на него, крепко протирал платком стекла, смотрел на свет.

Потом надел и, слегка склонив голову набок, попробовал прочесть название одной из книг, лежавших на столе. Прочтя и удовлетворившись этим, он вопросительно взглянул на Драгоманова.

Драгоманов молчал. У него было уже не усталое, но скучное лицо.

Его уже не забавляло, казалось, что ординарный профессор краснел перед ним. Или не краснел. Лениво потянувшись к столу, он отыскал под грудой книг ножницы и принялся старательно вырезать из бумаги... Черт знает что он вырезал из бумаги!

Ложкин задумчиво посмотрел на него, и вдруг Вязлов, скореженный, страшный, с папиросой, зажатой в кулаке, вспомнился ему.

– Человек, о котором вы изволили упомянуть, в сущности говоря, по сложности своей человеческому уму почти не понятен.

И он его как будто преемником Шахматова называл?..

– Борис Павлович, а почему вы еще не академик? – спросил он и сам немного удивился вопросу. – Ведь у вас же очень много трудов. И солидных.

– Так ведь никто же не помирает. Вакансий нет, – равнодушно возразил Драгоманов.

Ложкин растерянно мигнул и почему-то снял пенсне. Ответ был несколько неожиданный.

– То есть как вакансий? Я говорю, членом-корреспондентом, – нерешительно сказал он. – Вы ведь все-таки молоды еще.

– А что я им корреспондировать буду? – внезапно огрызнулся Драгоманов. – Я даже, если хотите, уж и состою корреспондентом.

Ложкин тер пальцами переносицу.

– Как состоите? Не помню.

– А я корреспондентом «Сибирской живой старины», – грубо объяснил Драгоманов. – Псевдоним – «Голос с мест». Пишу, и деньги платят. А Академия наук своим корреспондентам, сколько мне известно, не платит. Впрочем, я согласен, – добавил он, успокаиваясь. – Но прежде я должен одну из моих работ закончить. Кстати, Степан Степанович, может быть, и для вас тема ее окажется небезынтесной. Работа называется «О рационализации речевого производства». Завтрашний день, если здоров буду, намерен прочесть ее в Научно-исследовательском институте.

Ложкин откинулся на спинку стула, высоко вверх подняв свой детский, раздвоенный подбородок. «Рационализация речевого производства»? Он недоумевал. Потом он испугался.

«Берегитесь его, – снова вспомнил он Вязлова, – говорят, что китайцы, среди которых он живет...»

И для чего ему нужно было приходиться к Драгоманову? О чем ему говорить с этим человеком?..

Драгоманов положил на стол то, что он вырезал из бумаги. Положил, разгладил пальцами, посмотрел со стороны и не торопясь изорвал.

– Степан Степанович, а как с вашим проектом? – медленно спросил он.

И Ложкин весь сжался на своем стуле.

– С каким проектом?

– Насчет вашего пиджака, – равнодушно продолжал Драгоманов. – Вы, помните, собирались пиджак на мосту подбросить? Или на набережной?

Ложкин покраснел. Он улыбался неотчетливо, смутно.

– Ну что вы, Борис Павлович, вздор, – пробормотал он.

– Почему же вздор? Очень любопытная идея, впрочем уже использованная в литературе. Пиджак, и в пиджаке записку. Как же, прекрасно помню. И вы знаете ли, Степан Степанович, я вот очень много думал над вашим проектом и решил, что редакцию посмертной записки нужно слегка изменить. Не «прошу в моей смерти никого не винить», но «прошу в моей смерти

никого не винить. Штаны оставляю на себе в припадке отчаянья, зная, что это противоречит принципу разумной экономии». Об этом-то я и кричал вам вслед. Вы недослушали.

Ложкин нервно вертел шеей, оттягивал воротничок рубашки. На щеках у него пятнами проступил румянец.

– Я потому хотел предложить вам это, – безжалостно продолжал Драгоманов, – что один пиджак решительно никого в вашей смерти уверить не мог бы. Вот у меня, еще в харьковской гимназии, один приятель был. Так он, вознамерившись устроить точно такую же мистификацию, не только куртку с себя снял, но и штаны. Правда, он потом на собственных поминках напился и по всему городу бегал, доказывая, что давно уже мертв, погиб в волнах, но, доведи он свое предприятие до конца...

Ложкин вскочил.

– Борис Павлович, вам угодно надо мной шутить? – спросил он очень высоким голосом и распрямился. – Вы думаете, что некоторые обстоятельства, заставившие меня – о чем я жалеть не перестану – обратиться к вам, дают вам право на шутовство? Вы надо мною смеете издеваться? Я полагал найти в вас человека, заслуживающего если не уважения, так простой приязни. Вы должны извинить меня. Я ошибся.

Он был бледен от бешенства. Резко оборотившись, он подбежал к вешалке, сорвал шубу и распахнул дверь.

14

В 1821 году, когда Рунич и Магницкий обвиняли Санкт-Петербургский университет в том, что он, следуя посторонним целям, «забыл долг, пограл честь, презрел стыд и усыпил совесть»; когда профессор русской словесности Галич в ответ на обвинения написал, что, сознавая невозможность отвергнуть или опровергнуть предложенные ему вопросные пункты, он просит не помянуть грехов юности и неведения, – но на восторги и объятия Рунича ответил угрюмым молчанием, а в ответ на предложение переиздать его книгу с признанием вместо предисловия молча удалился; когда университет опустел и окончилось наконец длившееся три дня заседание конференции, назначенной для разбора дела, один из профессоров, обвиненных в государственном преступлении, выйдя на улицу, впал в забытие, пошел прямо, как солдат, и шел всю ночь, не разбирая дороги.

Он пересек весь город – и к утру матросы задержали его в Коломне, «откуда он был приведен домой, впад в чрезвычайное расслабление телесное и душевное».

Именно в таком профессорском забытии, имевшем более чем столетнюю давность, бродил по Васильевскому острову Ложкин. Покинув Драгоманова, отказавшись наотрез даже переждать непогоду – было очень ветрено, шел дождь пополам со снегом, – он вышел из университетского общежития и, стараясь по неизвестной причине держаться поближе к парапету набережной, пошел прямо вперед, крепко сжимая в руках портфель, который становился все тяжелее.

Он с недоумением взглянул на сфинксов, преградивших ему дорогу.

От парапета он отошел с недоверием.

Памятник адмиралу Крузенштерну он не узнал.

Как по университетскому коридору, шел он по городу, с достоинством наклонив голову, свободной рукой взявшись за борт своей шубы. Как аудитория, шумела Нева. Бледная луна еще стояла над Академией художеств.

Он шел, не замечая ветра, который дул ему в спину, леденил голову, делал легкими ноги.

Хорош же он был после пьяной ночи, после глупого разговора с Драгомановым, едва ли что не окончившегося нервическим припадком! Хорош же он был в своей длинной, по

земле волочащейся шубе, со своим достоинством, со своим портфелем, из которого торчали не книги, нет, – но рукав пиджака, серенького, в полоску.

Что сказала бы, встретившись с ним у Масляного буяна, его жена – Академия наук и его судьба – Мальвина Эдуардовна? Какие доказательства привел бы он в доказательство того, что без всякого тайного умысла шел он по городу, как по университету, в оправдание того, что, как аудитория, шумела Нева?

И только неподалеку от взморья усталость наконец его сломила. Он присел на деревянную тумбу, косо торчавшую из-под грязного снега, и осмотрелся. Он был не в Коломне, но в состоянии чрезвычайного расслабления – телесного и душевного. Не в Коломне – но в странном месте, о существовании которого он – всю жизнь свою проживший на Васильевском острове – никогда не подозревал.

Почернелые от времени избы, запущенные, обломанные, до самых окон ушедшие в землю, стояли среди восьмизэтажных домов, которые далеко не часто можно было увидеть и в центре города. Узкие железные трубы, обгрызенные и закоптелые, торчали на сползающих от дряхлости крышах. Стояли хлевы. Стоял на столбах навес. Ленивая свинья важно бродила между грязных льдин, выброшенных во время половодья на берег. Баба в повойнике, в тонком платье, которое ветер обдувал вокруг ее голых жилистых ног, доила козу у крылечка. Пел петух.

Это была деревня, скучная деревня, не более как в тридцать дворов, стоявшая прямо напротив города, который был в этот час больше городом, чем когда бы то ни было. Но дома, вброшенные в толпы лачуг, были одинокие, пустые. Они казались еще более одинокими потому, что через крыши лачуг смотрели на взморье – на равнину снега и льда, просеченную темными пространствами воды. Здесь был конец города, конец путешествия. Пушка была почти не слышна здесь – или звуки выстрелов относилось в сторону ветром. Но она бухала не напрасно. Даже с того места, где стояла кривая тумбочка, где сломила наконец профессора Ложкина усталость, видно было, что вода стояла высоко.

15

Это не было знаменитым наводнением 1924 года, когда Нева справляла столетний юбилей своей войны с Петербургом.

Когда торцы, всплывшие наверх, как огромное деревянное поле, проваливались под ногами лошадей.

Когда женщины снимали туфли и сапоги и с высоко поднятыми юбками переходили дорогу.

Когда отрезанные от своих жилищ люди яростно торговались с извозчиками – единственными обитателями города, для которых наводнение было удачей.

Когда из затопленных магазинов тащили мешки с мукой и никто не знал, грабят магазины или спасают товары, принадлежащие государству.

Когда свет погас во всех домах.

И сигнальная пушка стреляла через каждые три минуты.

Когда растерявшиеся милиционеры не знали, что делать с водой, не слушавшей приказаний.

Когда, уничтожив движение, погасив свет, выключив телефоны, вода установила безвластие и тишину, которую не знал город со времени своего основания.

Когда раскольники, застрявшие на братских могилах Марсова поля, громко молились, радуясь, что пришло наконец время исполниться предсказанию о гибели города, построенного антихристом на болотных пучинах.

Когда пожарные, похожие на ушкуйников, плавали в лодках по улицам, не напоминая венецианские каналы.

Когда очереди за хлебом и керосином и суетливость людей, наскоро изменявших привычные представления, напоминали Февральскую революцию.

Это было одно из очередных василеостровских наводнений, случающихся не раз в столетие, но почти каждую весну и каждую осень.

16

Никто не предупредил профессора Ложкина о том, какой опасности он подвергался, сидя на своей кривой тумбочке и близоруко поглядывая на разновременные строения, которыми кончалась гавань. Порт и взморье были безлюдны, на две версты вокруг нельзя было различить ни одного человека. Он был слегка удивлен, увидев воду у самых ног. Некоторое время он недоверчиво рассматривал ее, придерживая рукой пенсне: вода пришла к нему, как старый приятель. Она и не собиралась уходить. Напротив того, с каждой минутой она располагалась все удобней.

Пожав плечами, он встал и, обойдя кругом почти всю Гаванскую часть, по Наличному переулку снова направился к порту. Бог весть почему приспичило ему именно по взморью бродить в это неурочное для прогулок время.

И он снова вернулся бы в порт, если бы толпа не преградила ему дорогу.

Толпа стояла в Наличном переулке и с любопытством смотрела на воду. Вода наступала медленно, тихим шагом. Люди отступали. Никто не волновался. Наводнение, в сущности говоря, совершалось в полном порядке. Вода наступала, как люди. Люди отступали.

Порядок нарушал только мастерской в зеленом переднике, с горьковскими усами. Мастерской был пьян: уже довольно давно ругал он наводнение по матери и грозил ему кулаками. Он единственный не отступал вместе с толпой. Крича что-то о пожарных, будто бы опять проглядевших наводнение, он яростно прыгал на верхних ступеньках своего дряхлого домишка, который был чуть ли не первым затоплен водой.

Впрочем, до тех пор, покамест он прыгал, никто не заботился о нем. Только какая-то старушка сказала с сожалением, что вот Иван Иванович опять гуляет, а работа стоит.

Но когда все хозяйство Ивана Ивановича было вынесено водой из подвала на простор Наличного переулка, когда колодки, как утки, поплыли мимо него, – он перестал прыгать. Махнув рукой, он снял с себя опорки, повесил фартук на завиток от кронштейна и полез в воду. Одну или две колодки он успел поймать, но, погнавшись за третьей, оступился. Попал ли он в яму, которых немало имеется не только на Наличном, но и в любом месте Гаванского участка, или вода сбила его с ног – но только Ложкин, внимательно следивший за ним, вдруг понял, что мастерской тонет, что, если ему не помочь, он захлебнется.

– Позвольте, как же так, ведь нужно же помочь, потонет, – сказал он растерянно.

Старушка, жалевшая Ивана Ивановича, охотно согласилась с ним, что потонет.

– Ничего, скоро пожарные приедут, – сказала она Ложкину, – его пожарные вытянут. Но только если его вода не унесет. А если унесет – нипочем его тогда не найти, хоть тресни.

– Но, позвольте, он еще живой, – взволнованно пробормотал Ложкин.

– Нет, не живой, утонул... Прими, Господи, душу раба твоего, – сказала старушка и перекрестилась. – Советки власти что делают, – прибавила она и заплакала.

Сам не понимая, что он делает, Ложкин медленно пошел к воде... Он уже не слышал, что кричали ему вслед – а что-то кричали. Смутно соображая, что портфель следовало бы оставить, портфель замокнет, что он сейчас потеряет портфель, он прошел несколько шагов по направлению к сапожнику и остановился, беспомощно озираясь. Шуба его всплыла наверх, и он для чего-то старался утопить ее свободной рукой, ноги мгновенно закоченели.

А сапожник вдруг встал, и вода оказалась ему по пояс. По-прежнему ругаясь по матери, потрясая пойманными колодками, он полез обратно на лестницу.

Сконфуженно моргая, стараясь не упустить портфель, Ложкин пошел обратно. Шуба, раздувавшаяся как парашют, плыла за ним по воде. Огромный пожарный, похожий несколько на древнерусского стрельца, как их изображают в опере, ухватил его под мышки и вынес на сушу.

Тогда из толпы, глядевшей на него с любопытством нескрываемым, выбежал, жужжа, маленький старичок с мохнатым лицом, с движениями повелительными. Ложкин, топчась на месте, хлюпая галошами, стоял и ежился, не зная, что делать с шубой, с портфелем, со шляпой, которую ветер срывал с его головы. Он пришел в себя только тогда, когда мохнатый старичок, Халдей Халдеевич, архивист, подсчитыватель печатных знаков, подошел к нему вплотную и положил руку на его плечо.

– А, это ты! – сказал Халдей Халдеевич очень сурово и так, как будто они только вчера расстались. – Ты весь мокрый. Идем сейчас же ко мне. Ты простудишься. Тебе переодеться нужно.

Я здесь стою и не могу иначе

1

Доклад Драгоманова о принципе речевого производства был назначен в большой зале лектория.

За четырьмя столами, поставленными против кроткого председателя в каре, не было ни одного свободного места.

В больших стариковских очках сидели штатные аспиранты. Сверхштатные были без очков.

Научные сотрудники сидели со строгими и печальными лицами. Только один из них, рыжий, как капитан Долрой из честертонского романа, был так здоров, что невольно улыбался. Улыбка пробивалась сквозь важность.

Действительные члены, крайне редко посещавшие институт, ждали начала доклада, чтобы уснуть. Кое-кто уже мотал головой над столом. Были среди них и впавшие в детство. Были и заслуженные ученые, авторы многих трудов. Впрочем, только заслуженные. Войди в эту залу вежливый и гениальный Шахматов с тихим голосом и лишенными честолюбия глазами – он не нашел бы здесь достойного преемника. Здесь были люди старательные, с почтенными трудами, с почтенными ошибками.

Назначенное время давно прошло, секретарь уже два или три раза подставлял свои часы к кроткому председательскому носу.

Драгоманов не появлялся.

Розовый седоусый старик сидел рядом с председателем и нетерпеливо потирал плешь. Он был пузат. Казалось, что, если его проткнуть иголкой, из него, как из вербного чертика, с жалобным писком выйдет воздух. Старик был действительным членом института – впрочем, не по милости божьей, а по родству с одним из членов коллегии. Неаккуратность Драгоманова его раздражала. Казалось, он с каждой минутой раздувался от нетерпения.

Кто-то из аспирантов, заметив за ним это свойство, очень удивился, снял очки, протер их и надел снова. Потом написал записочку соседу. Записочка пошла по рукам. Кто-то засмеялся.

Драгоманова все не было.

Кроткий председательский нос бледнел.

Когда Леман появился в дверях, никто не обратил на него внимания. Университет его знал. Но в институте он был мало кому известен.

Потолкавшись немного у входа, он вышел на середину зала и поклонился. Потом обошел каре и спокойно опустился в кресло, предназначенное для референта.

Он положил перед собой портфель, вынул из портфеля рукопись и солидно откашлялся.

– Профессор Драгоманов поручил мне прочитать его доклад. Он нездоров и просил меня передать свои извинения присутствующему здесь в полном составе институту. Кажется, в полном составе присутствуют? – строго спросил он председателя.

– Да, почти что... Как будто в полном, – растерянно сказал председатель.

Леман качнул головой с удовлетворением.

– Но как же так, – сказал председатель и немного подвинулся к секретарю. – Григорий Павлович, как же так... Как же все-таки без докладчика... Может быть, отложить?

– Нет, не нужно откладывать, я сейчас прочитаю, – сказал Леман. – Но прежде чем приступить к докладу, – продолжал он уже другим, торжественным голосом, – я предложил бы почтить вставанием память покойного профессора Ложкина.

Сдержанный шум пронесся по каре и смолк. Седоусый старик обмахнулся платком, побагровел. Рыжий и научный сотрудник перестал улыбаться. Кто-то встал.

– Отложить, отложить... До полной известности отложить, – зашептал председатель и тоже встал.

Все постояли немного, потом сели.

Леман с деловым видом рылся в своем портфеле. Он вынул стопочку повесток, перегнулся через стол и передал одну из них лингвисту с узкой мочальной бородой.

– Передайте, пожалуйста, вашему соседу и дальше, по рукам, – попросил он учтиво.

Лингвист заглянул в повестку, почитал немного и вдруг затревожился, захлопотал.

Повестка была напечатана на машинке под лозунгом «Россия должна знать своих ученых».

Она объявила о том, что третьего мая в помещении университетского общежития состоится организационное заседание «Общества памяти усопших белорусов», на котором специалистами, равно как и родственниками усопших, будут прочтены некрологи, посвященные профессору Ложкину и другим пропавшим без вести служащим Ленинградского университета.

Леман прочел эту повестку вслух. Рыжий бобрик его стоял, как на часах. Жесты были убедительные, плавные.

2

Доклад начался с утверждения, что в настоящее время язык представляет собой результат неорганизованной речевой деятельности. Представители совершенно различных социальных и профессиональных групп пользуются общим речевым материалом. Служащие говорят точно так же, как безработные, лица свободных профессий – так же, как буржуазия.

Полагая, что человеческая речь опирается на различные функциональные деятельности, Драгоманов предлагал ввести нормативное разделение ее на группы и закрепить это разделение государственным законом.

Розовый старик идиотически раскрыл рот и записал в блокнот какое-то возражение. Необходимость государственного закона казалась ему не вполне доказанной.

Штатные аспиранты учено смотрели на секретаря.

– «Таким образом, человеческую речь следует разбить на группы, – убежденным голосом читал Леман, – и между группами провести строгие границы, нарушение которых следует облагать соответствующим штрафом».

Границы были следующие:

1. По профессиональным признакам:

- а) язык технический, с многими подгруппами;
- б) язык безработных;
- в) язык удаленных со службы за сокращением штатов;
- г) язык растратчиков и т. д.

2. По социальным признакам:

- а) язык полунинтеллигентных людей, именующих себя интеллигенцией;
- б) язык буржуазии, также именующей себя интеллигенцией;
- в) язык свободной профессии и т. д.

– В вашем институте, например, – добавил от себя Леман, – можно было бы провести зону между речью действительных членов, научных сотрудников первого и второго разряда и аспирантов. И тогда с первого слова будет ясно, к какому из этих разрядов принадлежит то или другое лицо, что повлечет за собой прежде всего полнейшую определительность во взаимоотношениях.

Лысына пузатого старика наливалась клюквенным соком.

– «Направив язык по разным линиям речевой деятельности, – читал Леман, – мы добьемся точного разграничения между разговорами служебными, семейными (с женой и детьми) и любовными. Особь, желающая склонить к половой связи другую особь, будет пользоваться совершенно иными речевыми средствами, чем та же особь, делающая служебный доклад или препирающаяся с женою. Равным образом лица, желающие почему-либо разговаривать на улице, должны будут руководствоваться нормами, отличающими разговор с знакомыми людьми от разговора с незнакомыми или полужнакомыми. Так, субъект, желающий нанять извозчика, должен говорить с ним как с незнакомым или, по крайней мере, полужнакомым лицом. Но ввиду того, что извозчик является техником свободной профессии, то субъект, нанимающий его, должен ввести в разговор лексический багаж, характеризующий и эту социально-профессиональную группу».

Леман положил доклад на стол и сомнительно прищурился.

– Здесь, мне кажется, профессор Драгоманов должен был слегка уточнить вопрос, – сказал он, – как же быть, если субъект желает просто побеседовать с извозчиком, вовсе не намереваясь вступить с ним в производственные отношения?

На левом фланге каре послышался смешок и пропал. Кто-то из действительных членов проснулся, толкнул соседа и стал слушать. Что-то носилось в воздухе, что-то мешало спать действительным членам. Розовый старик сидел раздувшийся, страшный, готовый брызнуть клюквенным соком. Научные сотрудники второго разряда, не зная, как отнестись к докладу, терпеливо ждали, как к докладу отнесутся сотрудники первого. Откровенно смеялись покамест только сверхштатные аспиранты.

– «Какая же польза получится от введения научной организации речевого сознания? – с флегматическим видом читал Леман. – Польза большая. Речевая деятельность отнимает, по приблизительным подсчетам, что-то около двухсот калорий ежедневно. Человек говорит от пяти до десяти часов в сутки, не считая храпа. Ввиду неорганизованности речевой деятельности он затрачивает для объективизации своего сознания очень много лишней энергии, которую следует использовать по совершенно другой линии». Хотя бы для устройства разумных развлечений, – прибавил от себя Леман.

«Трудно предугадать меры, – писал далее Драгоманов, – которые необходимо принять для успешного проведения в жизнь принципа рационализации речевого производства. Полагаю уместным предложить институту выделить для этой цели специальных речевых агентов, обязанностью которых было бы наблюдение за речевым порядком как на улицах и в учреждениях, так и на частных квартирах. Если этот план кому-нибудь покажется смешным, предлагаю вспомнить, что милиционеры управляют же уличным движением посредством личного воздействия и целой системы штрафов. Точно так же и речевые агенты, которых следует выбирать из числа физически сильных лингвистов-аспирантов, могли бы облагать небольшим штрафом граждан, переходящих без соответствующего разрешения из одной группы речевой деятельности в другую».

Шум прервал его. Действительные члены, разобрав наконец, что драгомановский доклад был прямым издевательством, возмущенно верещали.

Нервно дергая глазом, Жаравов прошел вдоль заднего каре и вышел вон, возмущенно хлопнув дверью. Апоплексический седоусый старик молча отдувался, чувствуя приближение удара. Сверхштатные аспиранты аплодировали.

– Виноват, – недоуменно поправляя пенсне, сказал Леман, – разрешите. Я еще не кончил...

Кроткий председатель, решившись наконец на буянство, грянул колокольчиком об стол. Детские волосики его развеивались от волнения.

«Полагая, что вышеизложенный проект при правильной постановке дела, – писал далее Драгоманов, – может иметь государственное значение, прошу институт передать его для раз-

работки в соответствующую энергетическую комиссию. В заключение покорнейшая просьба ко всем присутствующим здесь действительным членам, научным сотрудникам и аспирантам. В 1917 году у меня... – (Стало быть, у профессора Драгоманова, – добавил в скобках Леман) – пропала рукопись под названием „О психофизических особенностях говора профессоров и преподавателей Петербургского, Петроградского и впоследствии Ленинградского университета“, размером в восемь печатных листов, напечатанная на машинке системы „Адлер“. А также пропала и сама машинка „Адлер“. Нашедших или знающих что-либо о местопребывании машинки просят доставить таковую за приличное вознаграждение».

Вот тут заревели все, без различия рангов. Кричал председатель, так кричал, как будто его резали без ножа. Кто-то размахивал перед леманским носом повесткой «Общества усопших белорусов». Покрывая шум, рыжий научный сотрудник кричал, что нужно еще проверить активность Драгоманова, что Драгоманов не активный.

Леман обиделся за Драгоманова, но стоял молча. Лицо у него было слегка огорченное. Поведение членов собрания казалось ему очень странным. Причина смятения была ему неясна.

Дождавшись, когда шум начал понемногу стихать и действительные члены, вскочившие со своих мест, попадали обратно, он собрал листочки в портфель, вылез из-за стола и боком пошел к двери. Все слышали, как, поймав за пуговицу седоусого толстяка, он приставал к нему с какими-то объяснениями.

– Разве я что-нибудь напутал, профессор?..

Председатель привстал, рванулся к колокольчику, потом убрал руку.

– О поведении действительного члена института профессора Драгоманова будет доведено до сведения коллегии, – объявил он и упал в кресло, – объявляю заседание закрытым.

3

В ночь под Новый год девушки толпой пробираются к овину, и каждая, закинув на голову сарафан, становится к окошечку, выходящему из ямы овина: «Суженый, ряженный, погладь меня».

Если покажется девушке, что ее погладили жесткой рукой – значит будет ворчливый, старый муж. Если мягкой, мохнатой рукой – стало быть, муж будет ласковый и красивый.

И не дай бог по дороге к овину услышать:

1) звук поцелуя, что предвещает потерю чести, и

2) звук топора, что предвещает смерть.

Так гадают девушки в деревнях. Они льют воск или олово, они выбрасывают за ворота лапти.

В Васильев вечер они ходят под окна и подслушивают разговоры соседей, стараясь по отдельным, долетающим до них словам узнать свою судьбу.

Ложась спать, они оставляют на одной ноге чулок: «Суженый, ряженный, разуй меня» – или привязывают к поясу замок, запирая его на ключ и ключ положив под подушку: «Суженый, ряженный, разомкни меня».

Они ходят по ночам в курятник, ловят петуха на нашесте и по цвету его перьев определяют цвет волос будущего мужа.

Так гадают в деревнях. В городах гадают иначе.

4

В детстве Верочку Барабанову называли «мухой». Она говорила «к» вместо «х», и вышло «му ка». Теперь это казалось ей трагическим предзнаменованием. Живопись не была для нее «брачным оперением». Она действительно любила ее. Когда в ее присутствии начинали

говорить о кубизме, у нее делалось почти религиозное выражение лица. Впрочем, к левым художникам (она считала себя левой) она попала потому, что ближайшая подруга ее была замужем за супрематистом.

Но живопись не шла, вот в чем дело! Живопись не шла, ею нельзя было защищаться от того, что приходило к ней, не спрашиваясь. Никакие клятвы в верности больше не помогали.

Правда, живописи своей она изменяла не чаще и не реже, чем всякая другая девушка – с сухими и волнистыми волосами, с милой манерой братья за вещи. За изменой следовало раскаянье, за раскаяньем клятвы («Будьте добры, немедленно поклянитесь, гражданка, в том, что...»), за клятвами – новые измены.

Но то, что случилось теперь, до сих пор бывало с ней только во сне. Это было уже не простое сумасбродство. Два человека претендовали на нее – и оба по праву. Один – потому, что она дала ему слово (и не только слово). Другой – потому, что она его любила.

Предстоял выбор. Она не знала, на что решиться.

Кирилл Кекчеев – это значит, что можно будет:

1) работать спокойно, а то вчера, в припадке отчаянья, она разорвала мастихином полотно, над которым работала не отрываясь две с половиной недели;

2) спать по ночам, а то сегодня она провела целую ночь не раздеваясь, положив голову на спинку стула.

Это значит, что больше не нужно будет:

1) мучиться из-за темной комнаты, в которой нельзя лиловой краски отличить от зеленой;

2) приходиться в отчаянье из-за платьев, которые к ней не идут.

И никому больше она не позволит отрывать себя от работы. И она больше не будет возвращаться к ней, наказанная и благоразумная.

И будет все. И ничего не будет.

Виктор Некрылов – это была полнейшая неизвестность. За ним не только не числилось никаких преимуществ, но, напротив того, множество недостатков:

1) он был женат;

2) с ним нужно было сражаться;

3) он был слишком свободен, было бы лучше, если бы он служил. Она представляла себе эти длиннейшие антракты между короткими, стремительными наездами из Москвы – или даже в самой Москве, если она за ним поедет!

4) у него работа, друзья, жена, дети;

5) у него опять-таки жена.

Спасибо! А у нее?..

За ним было только одно преимущество: она его любила.

Но может быть, она и Кекчеева любит?

У нее теснило грудь, ей просто плакать хотелось. Ирония, которой она гордилась, расчетливость, которую она скрывала, – все пошло прахом. Она решительно не знала, как ей поступить.

Вот тут и началось гадание.

5

Она не лила воск, не выбрасывала свои туфли за ворота. За воском нужно было идти в мелочную лавочку, а выброси она свои туфли за ворота – их бы немедленно стащили.

Она не стояла у овина с платьем, закинутым на голову, дожидаясь, чтобы кто-нибудь погладил ее по голой спине жесткой или мягкой рукой.

Не так-то просто было найти в городе овин или даже вовсе невозможно. А какие руки были у ее суженых – она и без того превосходно знала.

Ложась спать, она не оставляла на ноге чулок, надеясь, что кто-нибудь ее к утру разует. «Суженый, ряженный, разуй меня». Это случалось с ней. Но это не решало вопроса.

Она гадала по-своему.

Любимым гаданьем ее были нолики.

Она писала В, это значило Виктор – и потом много ноликов, столько, сколько напишет рука.

В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Под В она писала К – это был Кекчеев, и снова столько ноликов, сколько напишет рука.

К 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Но секрет этого гадания был известен ей. Рука всякий раз писала ровно столько ноликов после В, что первой зачеркнутой из букв оказывалась К.

Рука не соглашалась на спокойную жизнь.

Тогда она бросила это гадание. Она заподозрила в нем намерение, заранее обдуманное. Рука – это была все-таки она сама, Верочка Барабанова. Должна же была решить не Верочка Барабанова, но случай.

Тогда она принялась гадать по книге. Сборник рассказов Зощенко попался ей под руки.

Она открыла наудачу.

«А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники», – прочла она с недоумением. И рассмеялась.

Верно – все дело было именно в слабом развитии техники. И безусловно, бедность. Быть может, если бы не бедность, она не стала бы колебаться.

«Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и все к простоте идет...» – прочла она в другом месте. Не то. Нет, не то.

Она раскрыла книгу на следующей странице – и обрадовалась. «Человек пропал буквально и персонально», – прочла она с торжеством. Буквально и персонально пропала она. Вера Барабанова пропала буквально и персонально. Вот она сидит на подоконнике, ловит в стекле свое отражение, поправляет волосы и пропадает – буквально и персонально.

Но за кого ей выйти замуж – этого она в книге Зощенко не нашла. А кроме Зощенки и нескольких книг по живописи, которые уже никак не подходили к ее положению, ей посоветоваться было не с кем.

Тогда она вверила свою судьбу безбородым.

Клятва на этот раз была произнесена торжественнее, чем обычно.

– Клянусь, – сказала она шепотом, но очень убедительным шепотом, – что если первым из-за угла покажется безбородый, тогда за Некрылова. Если бородатый – за Кекчеева.

Жребий выпал скорее, чем она ожидала. Старенький почтальон показался из-за угла и, бодро потряхивая сумкой, на кривых ногах пересек дорогу. У него была борода, к сожалению, у него была густая борода с проседью. Кончено. Теперь уж ей не отвертеться. Почтальон, который вот уж целый год носит к ней письма, которому она каждый раз давала на чай, – подкачал. Она соскочила с подоконника и взволнованно прошлась по комнате. Стало быть... Стало быть... Стало быть, она выходит замуж за Кекчеева.

– С чем вас и поздравляю, Вера Александровна, – сказала она сердито и по-мужски заложив руки в карманы кофточки.

Аquareльные краски валялись на столе, на туалете. Подрамники были свалены один на другой. Кисти стояли в вазе щетиной вверх. Она взяла одну из них и задумчиво ткнула ее в масленку.

За Кекчеева.

Вот и краски пожухли, должно быть, плохо был загрунтован холст! Не везет ей, нет, не везет. Вот теперь нужно возиться с пульверизатором, покрывать холст лаком.

Пересиливая себя, она принялась за работу. Не шла работа. День был пасмурный, краски были плохо видны, холст трясся при каждом прикосновении.

Она бросила кисть. За Кекчеева.

А почему, собственно говоря, из-за какого-то почтальона, пусть даже бородатого, она должна портить свою жизнь? К шуту почтальона, она не согласна.

– Имею честь представить вам дуру, – сказала она, взглянув в зеркало и подумав мельком, что волосы у нее сегодня свежее, чем всегда, и это идет к ней, – нерешительную дуру, которая сама не знает, чего она хочет. Которой следует повеситься, и все тут.

Она не договорила. Шаги послышались в коридоре. Сама судьба приближалась к ней, шагами тяжеловатыми, осторожными. Шагами Кекчеева. Дорого дала бы она сейчас, чтобы за этими шагами узнать походку легкую, танцующую...

Шаги приблизились, пропали. Кто-то локтем старался нажать дверную ручку.

Она взволнованно обернулась.

Некрылов, не постучав, вломился в комнату. Руки его были полны пакетами, за плечом, подхваченный веревкой, висел небольшой чемодан. В коридоре было темно, вот почему он шел осторожно.

Бросив все пакеты на пол, размотав шарф, – ему было жарко от шарфа, – он схватил ее за руки и посадил рядом с собой на диван.

– Я лег ему поперек дороги, – сказал он и радостно оскалил зубы, – я отбил вас у него. Ему еще рано жениться. Теперь ему больше нравится холостая жизнь. Вы уже уложили вещи, Верочка? Мы едем через час, в девять двадцать.

6

Мокрый как мышь был извлечен профессор Ложкин из очередного василеостровского наводнения. Халдей извлек его, передел, упрекнул за ханжество и помирился с ним после двадцатипятилетней ссоры.

Потом пришла тишина и недоумение.

Посвистывая, он бродил по опустошенной татарской квартире – и недоумевал. Руки его, заложенные за спину, выглядели сиротливыми. Он похлопывал ими на ходу.

И все чаще он пел последнее время. Вспомнил даже песни, которые слышал мальчиком от прислуг в дохлом чиновничьем доме своих родителей:

Часовой! – Что, барин, надо? —

Притворись, что ты заснул...

Произошло отклонение. Он отклонился.

– Куда вы отклонились, профессор? – бормотал он. – И имеются ли об этом отклонении известия в Публичной библиотеке, в Академии наук?

О жене он вспоминал все чаще.

Она уже не была женщиной, которой он обязан был улыбаться. Улыбаться было некому – разве молодому студенту, странной дружбе которого со своим братом он ежечасно удивлялся. И некому было рассказывать за обедом о том, как прошел день – над повестью ли о Вавилонском царстве или над житиями святых.

День проходил теперь не в кабинетах, не в аудиториях, но между комнатой Ногина (он ухаживал за Ногиным, покамест Халдей подсчитывал в одном из крупнейших ленинградских

издательств печатные знаки) и заброшенными улицами Петроградской стороны, по которым он бродил часами.

Никто больше не упрекал его за то, что он вышел без галош, за то, что он забыл дома зонтик.

Свобода, о которой он столько лет мечтал, сам себе в том не признаваясь, стояла теперь вокруг него, не буйная, как в доме Нейгауза, а тихая, очень простая.

И он не знал, что ему делать с ней.

Как-то, проходя мимо одного из детских садиков, появившихся за последнее время на тех местах, где раньше были пустыри, он остановился и долго смотрел на детей.

Дети. Быть может, все дело в том, что у него никогда не было детей? А ведь он хотел, очень хотел – это Мальвочка не хотела. Быть может, если бы у них были дети, все пошло бы совсем по-другому. Не нужно было бы делать то, что он сделал. Не нужно было бы жалеть о том, что он сделал. Жалел он не себя – жену.

7

Он и сам не знал, как это случилось, но после трех-четырёх дней пребывания своего у брата он попросил его зайти к Мальвине Эдуардовне.

– Я бы сам зашел, но, знаешь ли, она... Она на меня, пожалуй, сердиться станет...

Халдей Халдеевич молча кивнул головой и отправился бриться. Надев свой парадный сюртук, он со строгим лицом и очень долго рассматривал себя в зеркало.

Перед тем как уйти из дому, по привычке, образовавшейся за последние две-три недели, он зашел к Ногину. Ногин лежал еще больной, но уже заваленный книгами. Ему нельзя было много читать после болезни, Халдей по поручению врача постоянно отнимал у него книги. Сегодня было не до того – сегодня он был важен.

Подойдя к Ногину, он пощупал ему лоб, спросил, как спал, какова температура.

Ногин оторвался от чтения и взглянул на него с любопытством.

– Боже мой, какой у вас сегодня торжественный вид, – сказал он весело. – Вы уж не на свадьбу ли собрались? Если на свадьбу, так за мое здоровье не забудьте выпить. И мне притащите чего-нибудь. Я за ваше выпью.

Халдей Халдеевич смахивал с сюртука пушинки.

– Иду стариков мирить, мирить стариков, – объяснил он шепотом и вдруг сморщился, затрясся от мелкого, беззвучного смеха. – Иду Степана с женой мирить. Ведь он же себе места не находит. Скучает без жены. Скучает.

И он ушел. Час спустя он вернулся растерянный, расстроенный, мрачный.

Пригласив брата в свою комнату, он усадил его напротив себя (Ложкин, не усидев, тут же вскочил и взволнованно пробежался по комнате) и сказал ему торопливо:

– Видишь ли... Нужно проведать ее, Степан. Ты проведай ее. Я сказал ей, что ты придешь. Она была очень рада.

И когда Ложкин, надев дрожащими руками шубу и шапку, сбежал по лестнице, Халдей вернулся к себе. Он запер дверь своей комнаты и долго ходил, спотыкаясь, отрывисто бормоча что-то, с детским отчаяньем всплескивая маленькими руками.

8

Когда Мальвина Эдуардовна уверилась в том, что муж ее пропал без вести и нет ни малейшей надежды на его возвращение, она не впала в отчаянье, не стала надоедать родным и знакомым сетованиями на свою судьбу.

Жену профессора Блябликова, явившуюся к ней с соболезнаваниями, она приняла более чем сдержанно, почти сухо.

– Степан Степанович уехал отдохнуть, – объявила она, поджав губы. – В непродолжительном времени он возвратится.

То же самое сказала она и студентам, которые пришли к Ложкину сдавать зачеты.

– В непродолжительном времени профессор возвратится.

Все в доме шло так, как будто Степан Степанович и точно уехал отдохнуть. Его прибор ежедневно ставился на стол к обеду. По вечерам прислуга оставляла на его ночном столике стакан с кипяченой водой, который он имел обыкновение выпивать перед сном.

И все-таки Мальвина Эдуардовна затосковала. Бессонница ее одолела – она почти перестала спать.

Тихо лежала она и все прислушивалась к чему-то, – быть может, к стуку двери внизу, у подъезда.

Сперва она боролась с бессонницей – поздно ложилась, гуляла перед сном, пила на ночь какую-то маковую настойку.

Все было напрасно.

Однажды она зашла в кабинет мужа. Множество книг, которые она теперь как бы увидела впервые, стояло на полках, рукописи были сложены в неровные стопочки на краю стола – и пыль лежала на них робким, нетронутым слоем. Она переложила рукописи, вытерла пыль и с тех пор уже не пускала прислугу в кабинет, убирала сама.

И, убирая, она все старалась найти хоть какие-нибудь следы, по которым можно было бы объяснить себе самой причины его ухода. Почему он ушел от нее? В чем она была перед ним виновата? Если она иной раз позволяла себе покричать на него – так разве легкая была у нее жизнь? Разве просто было двадцать пять лет прожить с таким человеком – погруженным с головой в свои книги?

Мысли путались в ее мутной от бессонницы голове, слезы застилали глаза. Она ничего не понимала.

Ночью, устав от слез, от бессонницы, она вдруг решила, что вовсе не знает его. Вовсе не был он так уж погружен в науку. Она забыла его – такого, каким он был в первые годы их супружеской жизни.

Ведь он же был веселым человеком. Он шутил, писал эпиграммы, играл какие-то вальсы на фортепиано. Нельзя было вообразить себе – ведь он же танцами руководил на балах!

И она снова плакала – подолгу, до полной усталости, приводившей за собой не сон, но тяжелую, неосвежающую дремоту.

Так, спрятавшись между бессонницей и тоской, подкралась к ней болезнь.

9

Как-то под утро (это было на вторую неделю после исчезновения мужа) она почувствовала, что у нее затекла рука. Она пролежала несколько минут неподвижно, терпеливо дожидаясь, когда пройдет неприятное чувство одеревенелости, отсутствие власти над своей рукой. Потом она зажгла свет. Рука была большая, опухшая, пальцы шевелились как чужие.

Слабым голосом она позвала прислугу. Никто не отзывался.

Она сидела прямая, в одной рубашке, с одеялом на ногах. Никто не отзывался. Тихо было в комнате, тихие стояли вокруг нее вещи, но все-таки ей было страшно отчего-то, у нее сердце стучало.

Она потушила свет и снова легла, спрятав опухшую руку под подушку.

А наутро распухли и ноги, распухло все тело. Она приказала прислуге подать себе зеркало и не узнала себя – так страшно переменялась она за ночь. Нос вытянулся, лицо было синевато-бледным, тени лежали на нем, глаза казались потускневшими.

– Вот, матушка моя, – сказала она прислуге и оттолкнула зеркало с отвращением. – Умираю. Видно, одной тебе придется Степана Степановича дожидаться.

И она выгнала врача, которого позвала к ней испуганная прислуга, а двоюродной сестре, явившейся ее проведать, велела сказать, что благодарит, но принять, к сожалению, не может.

К болезни своей она относилась с презрением. Гадливо морщась, рассматривала она свое опухшее тело. Тяжело дыша, она ставила безобразные, отекающие ноги на коврик возле кровати и зачем-то разминала их, жалостно раскрывая рот от боли, с которой не могла совладать.

И потом она часами лежала, не трогаясь с места, не говоря ни слова и только шурясь иногда, как будто что-то смешное, что-то очень забавное шло в бесконечной дремоте перед ее тусклыми глазами. Скучно ей было и некому было пожаловаться на смертельную, сердечную скуку...

Такой и нашел ее Ложкин. Стремительно вбежав в комнату, он так и остался стоять у порога, в нахлобученной черной шляпе, с пенсне в руках, с высоко поднятыми недоумевающими бровями.

10

Мальчик, отправленный под именем Вильдерштейна в Италию, становится художником и влюбляется в графиню В. Возвратившись на родину, он встречается с сумасшедшей женщиной, которая приходит в себя перед смертью и по некоторым признакам признает в Вальдерштейне своего сына. Священник открывает ему, что он граф В. Он узнает, таким образом, что его возлюбленная приходится ему сестрою и, потрясенный, начинает вести отшельнический образ жизни.

Мария Жукова. Русские повести. 1841 г.

Раненый русский офицер попадает к польскому помещику и влюбляется в его дочь. Оправившись, он снова возвращается на поле брани и в первом же бою падает от руки брата своей невесты.

Вл. Владиславлев. Повести. 1835 г.

Юный корнет, разжалованный за дуэль в солдаты, влюбляется в соседку по имению, княжну, за которой ухаживает командир его полка. Убедившись в том, что княжна не любит его, полковник начинает мстить солдату. На первом же полковом учении он наносит ему тяжкое оскорбление. Это происходит накануне того дня, когда солдату возвращают его прежнее звание. Не будучи, однако, в силах снести оскорбление, он убивает полковника ятаганом, который мать подарила ему ко дню рождения.

Этот подарок, сработанный под знойным небом для сильной руки и раскаленной крови, посвященный мщению, палач христианских голов, модная игрушка воинственных щеголей Востока, лучшая жемчужина азиатского пояса, – этот подарок был: ятаган.

Н. Павлов. Три повести. 1835 г.

За болезнью Ногин не успел вернуть эти книги в университетскую библиотеку. Теперь он чуть не плакал над ними – никогда не был он так чувствителен, как теперь, в дни выздоровления. Грустные истории о девушках, похищенных разбойниками и умирающих от избытка душевных переживаний, о подкидышах, просящих подаяния под окнами отеческого дома, о вдовах, отказывающихся от брака с любимым человеком из уважения к священной памяти мужа, трогали его до чрезвычайности. Он забыл о классификации, в которую он старался втиснуть авторов этих повестей, читанных им для работы о Сенковском. Он все принимал всерьез.

Белокурые офицеры, стреляющиеся и стреляющие в других на каждой странице, доводили его до сердцебиения.

Но ни одной любовной истории, хоть сколько-нибудь напоминающей его собственную, он не нашел. Да и не искал. На сюжет, в котором герой так до самого конца романа и не встречается с героиней, пожалуй, не польстился бы ни Вельтман, ни Полевой, ни даже какой-нибудь Петр Бурломский.

Роман его был окончен.

Простейшая фабульная схема была разрешена запиской, которую он послал с Халдеем. Он не сомневался в том, что Вера Александровна вышла замуж за Кекчеева. Он сделал это – и не раскаивается. Он желает ей счастья.

– «И из-за такой глупой истории вы хотели застрелиться? – читал он вслух Гейне и плакал. – Сударыня, когда человек хочет стреляться, у него всегда есть достаточное основание для этого – верьте мне. Но знает ли он сам это основание – другой вопрос. До последней минуты мы играем комедию сами с собой, мы маскируем даже свое страдание и, умирая от раны в сердце, жалуемся на зубную боль. Вы, сударыня, знаете, без сомнения, какое-нибудь средство от зубной боли? А у меня была зубная боль в сердце. Это скверная боль, и от нее очень хорошо помогает свинец с тем зубным порошком, который изобретен Бертольдом Шварцем».

О скандале в одном из крупнейших ленинградских издательств он почти ничего не знал. Халдей Халдеевич не считал нужным рассказывать об этом пустом деле. В ответ на настойчивые расспросы Ногина о Кекчееве он сказал кратко:

– Гражданин сей более в издательстве не служит. За неумение держать себя с так называемыми литераторами удален по сокращению штатов. Ему набили морду-с.

Но как и при каких обстоятельствах ему набили морду, этого Ногин от старика не добился. Халдей бормотал, жужжал, отмахивался – быть может, и ничего не знал, а быть может, знал, да говорить не хотел.

Впрочем, Ногин не так уж и настаивал. Все, что произошло до болезни, до постели, на которой он с месяц провалялся в жару, он вспоминал (или старался вспоминать) с любопытством, почти холодным.

Его теперь другое занимало.

11

Для того чтобы стать писателем – так ему казалось в детстве, – вовсе не нужно писать стихи, повести или романы. Достаточно было придумать одно слово, всего лишь одно, но такое, чтобы оно было лучше всего Пушкина, Байрона, Шекспира. В четвертом классе гимназии он даже пытался найти это слово. Одно время ему казалось, что это – «колыбель», потом (начитавшись Майн Рида) он решил, что это – «каррамба».

Мысль о забытых признаках вещей его теперь привлекала. Никто не замечал, что перчатка – это была почти рука, стул – сидящий человек, тонконогий или приземистый, с сутулой спиной или с прямой. Сходство вещей с человеком его поражало.

От пустых петроградских улиц девятнадцатого – двадцатого года, с необыкновенной остротой обнаживших прямолинейную сущность города, у него осталась смутная идея о стране геометриков. Руководителю этой страны он давно придумал имя – Вольдемар Хорда Первый. Очереди запомнились ему правильными кривыми. Похудевшие люди казались не просто похудевшими, но плоскостными, потерявшими треть измерение. Потом это забылось, но он долго носился с мыслью, что искусство должно строиться на формулах точных наук. Что мир вещей, управляемый формулами, должен под новым углом зрения войти в литературу.

До сих пор он колебался, не знал, стоит ли писать об этом. Формулы были еще гимназией, учебниками, письменными работами. Им не хватало нарушения. На нарушение это (или на

то, что показалось ему нарушением) он наткнулся, перелистывая логику, которая осталась не сданной за первый курс.

Он взялся за книгу без малейшего удовольствия. Борода Визеля еще застилала ее страницы. Но, проверяя себя по конспекту, он внезапно наткнулся на вопросительный знак, который был поставлен на полях книги его рукой. Одна страница осталась непонятой при первом чтении курса. Вопросительный знак стоял над теорией Лобачевского о скрещении параллельных линий в пространстве.

Он взял в руки карандаш, перечитал теорию еще раз – и поразился. Как же так?

Стало быть, стоит только одну аксиому подвергнуть сомнению, чтобы вся система, на основе которой работали десятки поколений, была перестроена снизу вверх? Стоило только один раз не согласиться с тем, что параллельные линии параллельны, чтобы на принципе нарушения системы создать новую – и не менее стройную. Вот человек, которого по праву должно было именовать властителем страны геометриков – Вольдемаром Хордой Первым!

Именно так – логикой – и началась эта ночь. Кончилась она прозой.

12

Еженедельно впадавшая в бешенство татарка больше не кричала на своего полумертвого хозяина за стеной. Хозяин умер. Гортанные родичи утащили его труп.

Рано ушедший спать Халдей Халдеевич не жужжал за спиной, не тыкался в углы.

Никого не было в комнате, из которой еще не ушла болезнь. Он был один. Простые вещи стояли вокруг него. Скланки на подоконнике, коробочки с порошками. Лампочка была прикрыта самодельным бумажным колпаком, и бумага покоробилась, пожелтела...

Бумага начала дымиться наконец, когда он бросил карандаш и, взволнованный, прошелся по комнате. Исчерканная рукопись лежала на столе. Он смотрел на нее искоса, почти со страхом. Она не была еще окончена, он не знал, что это такое. Взглянув на часы, он поразился, увидев, что прошло не более двадцати минут с тех пор, как он взялся за работу.

Папиросы, спрятанные от Халдея, лежали в самом укромном месте письменного стола. Врач запретил ему курить после воспаления легких.

Он сунул папиросу в рот и затянулся жадно.

Оставалось свести параллели. Нужно заставить их встретиться. Наперекор времени и пространству.

Он кусал себе ногти. «Параллели, параллели», – написал он здесь и там на листе и нарисовал острый профиль с горбатым носом и тонкими губами.

«Нужно заставить их встретиться», – начертал он крупно-прекрасными арабскими буквами, но по-русски.

Потом написал сразу на всем листе бумаги от края до края:

«Дул ветер, шумела грозно Нева, вздымая свинцовые волны».

13

Очень взволнованный, размахивая рукописью, он побежал будить Халдея Халдеевича.

– Халдей Халдеевич, милый, – сказал он и пошел шарить выключатель.

– Милый, – сказал он и, схватив Халдея Халдеевича за плечо, потряс его и сел на кровать. – Вы взгляните только, что я сделал. Я рассказ написал.

Халдей Халдеевич раскрыл глаза и снова зажмурился. Потом вынул из-под одеяла маленькую ручку и отмахнулся от него.

– Как можно... Как... Как можно, – пробормотал он испуганно.

– Халдей, – торжественно сказал Ногин, забывая, что такого почтенного человека вовсе неприлично звать по прозвищу, а не по имени-отчеству. – Халдей Халдеевич, дорогой, вы только послушайте меня. Я теорию Лобачевского в литературу ввел. Параллельный рассказ. Я на одном листе два рассказа в один соединил.

Он совал Халдею листки, Халдей все отмахивался, жевал губами.

– Ведь вы же и не поправились еще, – сказал он, начиная жужжать понемногу. – Вам по ночам работать нельзя, нельзя работать.

Ногин осторожно подложил под себя листки, сел на них, чтобы они не разлетелись, и вдруг поцеловал Халдея.

– Папиросу бросить сейчас же. Вам нельзя курить, запрещено, – растерянно пробормотал Халдей.

– Халдей Халдеевич, я брошу папиросу. Но вы посмотрите, что я сделал. Я заставил их на Университетской набережной повстречаться ночью. Они у меня, как старые приятели, разговаривают. Никто не поймет ни черта. Разные эпохи. Разные страны.

Халдей Халдеевич хмуро двигал губами.

– Ночью? Ночью нужно спать, спать нужно-с. Особенно после такой болезни. А не шляться по набережной.

– Халдей Халдеевич, вы тоже ничего не понимаете, – радостно сказал Ногин. – Никто не поймет, это ясно. И я очень рад этому, очень рад. Новые мысли всегда ругали. Галилея чуть не повесили за то, что он вращение Земли открыл.

– Вы написали рассказ? – разобрал наконец Халдей Халдеевич и ужаснулся. – Вы, должно быть, с ума сошли, сошли с ума, вот в чем дело.

– Я не сошел с ума, даю вам честное слово, – счастливо сказал Ногин. – Но мне его прочитать кому-нибудь нужно до зарезу. Если вы не станете слушать, я пойду старуху будить. Старуха по-русски не понимает. Я кого-нибудь с улицы притащу. Дворника. Халдей Халдеевич, милый, четверть часа, ей-богу, четверть часа, никак не больше.

Он с таким жалостным видом смотрел на Халдея Халдеевича, что тот не выдержал наконец.

Хихикнув внезапно, он взбил подушку и сел на кровати, обхватив руками колени.

– Ну, читайте, – сказал он, – и как прочтете, сейчас же спать, спать, спать. Как можно... Как можно...

14

Вернувшись, он до утра не мог уснуть. Все было ясно до сердцебиения. Это был не рассказ. Это было возвращением пространства. Среди людей, выпавших из времени, он ходил, растерянный и робкий. И вот кончено. Он возвращается. Он все понимает.

Эти люди вдруг предстали перед ним в странном отдалении, в таком, которое нужно, чтобы написать о них. И он о них напишет.

И теперь не нужно будет убеждать себя, что время подождет тех, кто очень занят, кто по целым ночам сидит над арабскими словарями. Он не потерял времени. Он только шел боковой дорогой и теперь возвращается – вооруженный.

Проза. Холод прошел по спине. Так вот на что он променял друзей, сосны в Лесном, детство...

Проза.

Он ходил, легкий, и раскачивал руки.

15

Легки, как в театре, лестницы Публичной библиотеки. Крестообразны, как в монастыре, своды ее плафонов.

Здесь ветхо-угрюмые фолианты в переплетах из дубовых досок.

Здесь Гутенбергова Библия, первая книга в мире.

Здесь молитвенник, с которым вышла на эшафот Мария Стюарт.

И Коран из мечети Ходжа-Ахрар, над которым был убит зять Магомета.

Здесь сжатые металлическими застежками рукописи задыхаются за стеклами в ясеневых шкафах, наблюдая медленную смену своих хранителей.

Выцветают буквы, желтеет бумага.

Здесь есть книги, купленные и завоеванные, вывезенные из Персии, Турции, Польши.

Добыча войн, мятежей, революций.

Здесь есть книги, выросшие из книг, и книги, изобретенные впервые.

И просто книги.

И еще раз книги.

Здесь есть кабинет Фауста – с красными гербами первых типографщиков.

В нем хранятся инкунабулы – колыбельные книги, первенцы типографского искусства.

Арабский зеленый глобус с астролябией стоит над попитром для письма, и книги закованы в цепи.

И на архитраве, над капителями колонн помещена надпись, заимствованная из устава монастырских библиотек:

«Не производите никакого шума, не возвышайте голоса здесь, где говорят мертвые».

Здесь люди ходят тихой поступью, люди, которые относятся к книгам, как к равным.

Они приходят молодыми, уходят стариками.

16

Ничего не изменилось. Все так же стояли вдоль длинных зал стойки с каталогами, и, низко склоняясь над ними, с той же неторопливостью писали карточки библиографы.

Были среди них и незнакомые, молодые.

Ложкин спустился в рукописное отделение. Сухая паркетная лестница привычно поскрипывала под его ногами. Никого еще не было, кроме одного из помощников хранителя – молодого англоязычного человека, которого он не любил.

Он рано пришел. Но что ему делать одному по утрам в опустевшей квартире?

Книги лежали на том же месте, на его полке, в шкафу постоянных посетителей. В том же порядке лежали они, как он их оставил, – от широкой *in folio* тихонравовской летописи до маленьких томов погодинского собрания.

Он сел, протирая пенсне, упираясь близорукими глазами в очертания стен, построенных из дерева и переплетов.

«Повесть о Вавилонском царстве», вот она. Какого, помнится, списка ему не хватало?

«И бысть црца южичьская иноплеменница именемъ малъкатышка. Си прииде искоусити Соломона загадками и та бе мдра зело».

Он быстро восстановил конъектуру: Малкатшка, Malkat-švo, царица Савская, древнееврейский текст.

Как досадно, что за всеми этими делами он еще не переговорил с гебраистом. И не только Malkat-švo, там было еще какое-то сомнительное слово.

«Она же виде іако въ воде седит царь воздыа порты противоу ему. Онъ же виде іако красна есть лицом тело же ей волосато бысть іако щеть, власы онеми она оубадаше мужа бывающа съ нею. И рече Соломонъ мдрцем своимъ. Створите кражму с зелиемъ...»

Кражму. Вот этого-то слова и не понял Жданов. А посмотрим, есть ли оно в Пискаревском списке?.. Когда он поднял утомленные глаза от Пискаревского списка, он услышал оживленный разговор где-то рядом, едва ли не в соседнем пролете рукописного отделения.

– Я ей говорю, – услышал он, – матушка, говорю, моя. У меня вот двое сыновей, начитавшись Майн Рида, в Америку собрались убежать. До Вержболова доехали. Если бы не сыскное – убежали бы. Обратитесь, говорю ей, в сыскное. Найдут... Ну что ж, пошла она в сыскное – возвращается – плачет. Отказываются, видите ли, искать. На том основании, что это личное дело убежавшего, и будь она ему хоть трижды жена – все равно мешать не имеет права. Ну что же, удивился я... Философы какие... Индетерминисты. Раньше сыскное отделение было не столь блестяще образованно, но работало куда успешней. И все-таки, говорю, вы бы успокоились. Уверяю вас, что он в какую-нибудь санаторию поехал. Отдохнет и вернется. Но тут она, видите ли, и слова мне сказать не дает. «Мне достоверно известно, говорит, что он не один уехал... Он с аманткой уехал. Он, говорит, франтиться начал, и его завлекли. Вот теперь он в Париж поехал». Я говорю – позвольте, Мальвина Эдуардовна, как же в Париж? Да ведь у него же и паспорта заграничного не было...

Ложкин машинально шарил что-то в карманах пиджака. Карандаш? Футляр от пенсне? Это о нем говорили, о нем. О нем уже рассказывали анекдоты. Как о жене Блябликова, которая вместо мужа управляла Киевским университетом. Как о слависте, обвиненном прусской Академией наук в плагиате.

Что он искал? Футляр? Платок? Карандаш?

Криво улыбаясь, он встал и, обойдя книжные шкафы, пошел прямо к тому месту, откуда слышен был разговор.

Вязлов сидел там, опираясь локтями о раскрытые книги, касаясь книг длинной табачной бородой. И за ним – гном-академик, исследователь японской литературы, и Жаравов, и еще кто-то.

Пенсне отсвечивало. Он притронулся пальцами к пенсне.

Первым заметил Ложкина гном. Он медленно поднялся. Единственный глаз его моргал тревожно.

За ним поднялись и другие. Недоуменно разводя руками, вскочил Жаравов. Старик-хохотун, оказавшийся тут же и улыбающийся потому, что он всегда улыбался, тихонько перекрестился и тоже встал.

И только Вязлов остался сидеть на своем стуле, хотя именно он-то и уверял несколько минут тому назад, что Ложкин умер – не просто без вести пропал, но именно умер.

– По-человечеству жаль его. Занимался, разумеется, пустяками, в свое время, кажется, о канонизации Павла Первого хлопотал, но все же хороший был человек. Умер.

И как будто даже не без некоторого удовольствия повторял он это слово:

– Умер!

И он же менее всех смущен был тем, что Ложкин, вопреки его утверждению, оказался жив. Будучи человеком скептического склада ума, он не считал возможным, чтобы привидение могло явиться для научных занятий в рукописное отделение Публичной библиотеки.

Да, впрочем, Ложкин вовсе и не был похож на привидение. Лицо его отнюдь не напоминало чертежа из учебника геометрии, в рассеянности он не вынул вместо часов пригоршню червей из кармана.

Он тихо стоял перед Вязловым и его коллегами – стоял, ничего не говоря, только неловко поживаясь, двигая плечами, как будто ему узок был пиджак. Все молчали. Кто-то громко зевнул от волнения.

– Степан Степанович, – сказал наконец очень свободно Вязлов и встал, опираясь на палку. Он подошел к Ложкину, обнял его. – Вы ли это? Да ведь мы же вас, страшно сказать, похоронить успели. Панихиду по вам собрались заказывать.

Ложкин громко поцеловал его куда-то мимо, в бороду.

17

С какою, казалось, приятною встретили они его, как внимательно прислушивались к каждому его слову.

Жаравов – вечный противник его, неутомимый оппонент на каждом ученом собрании – как рассыпался теперь перед ним, с какой угодливостью справлялся о делах, о здоровье.

Как радостно хохотал, заглядывая ему в глаза, рыхлый, похожий на бабу, старик-архивист.

И даже гном, с которым Ложкин был почти не знаком, подсел к нему, дружески хлопая по коленке.

Ложкин мало говорил. Слегка жмурясь, он беспокойно трогал пальцами пенсне.

Он знал этой приятности настоящую цену.

18

Сгорбленный, с серым лицом, вернулся он к своим рукописям. На чем он остановился? Ах да, он сравнивал рассказ Синодальной Палеи с Уваровским списком:

«И рече Соломонъ мудрецемъ своимъ створите кражму съ зелиемъ и помажете тело еіа на отпаденіе власомъ...»

Ничего не произошло. Произошло одиночество. Усталость. Забудут анекдоты о нем, забудут и его самого – вот такого, каким он был сейчас, седоусого, с утомленными старческими глазами.

– Молодость? Вторая молодость? Нет, старость, милый мой. Старость ложится тебе на плечи. Где взять тебе душевную бодрость, чтобы с достоинством перенести ее?

Помнится, студентом, увлекаясь Сенекой, он доказывал, что жизнь, как драгоценная вещь, должна занимать немного места, но стоить дорого. Измеряться не временем, но делами. Какие же дела могли бы измерить его жизнь? Что занес бы он в свои двадцать пунктов, на которых, подводя итоги, помешался покойный профессор Ершов? И сколько лет осталось ему до двадцатипятилетнего юбилея? Как легко было когда-то, словами того же Сенеки, доказывать преимущества человека, свершившего все, предназначенное ему в жизни, но умершего рано, – перед тем, в удел которому досталось только долголетие. Не он ли сам, не профессор ли Ложкин был убежден когда-то, что первый живет и после своей смерти, а второй умирает задолго до ее прихода.

Как дорого дал бы он теперь за то, чтобы с мужеством смотреть на каждый свой день как на последний. Его жизнь. Она похожа на длинную и глупую историю Танузия, прозванную за ничтожество *charta sacata*!¹²

И решительно все равно, сколько времени он будет сидеть еще над минеями и палями.

«И помажете тело еіа на отпаденіе власомъ. Хитреци же и книжници молвяхоу, іако совокупляется съ нею. Заченши же отъ него...»

А бунт его! Ведь это ж была просто тоска – тоска по самому себе, обида на то, что не удалась, что зачитана жизнь.

¹² Воинская история (лат.).

Но ничего не начинается снова, время не возвращается обратно. Неуклонное, оно гонит его в гавань тихую и сыроватую – от которой никто не смеет отказаться.

Ну что ж, есть известная доля доблести и в том, чтобы уйти, когда гонят. Нужно только делать вид, что уходишь добровольно.

Вот он не хотел уйти добровольно, он возражал, позабыв о том, что время не слушает возражений. И все-таки он уходит. Он отступает к своим книгам, да простится ему непокорство, да простится ему смерть жены!

«Заченши же отъ него и иде въ землю свою и роди снь и сеи бысть Навуходносорь».

Он поднял глаза. Приветливый, горбатый на одно плечо старик – хранитель рукописного отделения – неторопливо, плавно приближался к нему, слегка склонив голову набок. Ясное, с голубыми глазами лицо его вежливо улыбалось.

Он радостно поднял руки, узнав Ложкина, – казалось, он приветствовал его от имени всех фолиантов, толпившихся за его спиной. Приблизясь к нему, он приложил руку к сердцу и сказал голосом, детским от учтивости:

– Soyez le bienvenu, monsieur!

19

Черные люди счищали острыми лопаточками грязь с асфальта. Потолок был как в оранжерее. Тележки, запачканные черным маслом, толпились у багажных вагонов, у тупика, из которого не было выхода паровозам. Вокзал был каменный, железный, похожий на самого себя. На себя самого не был похож Драгоманов.

Равнодушно сунув Верочке руку, ничего не сказав Некрылову, он оставил их на перроне и вернулся в буфет. С буфетчиком он долго торговался. Выбрав большое яблоко, он грубо съел его.

– Вас, кажется, нужно поздравить – медовый месяц, или как там это называется, – сказал он, обчищая языком зубы. – Так вот, я тебя, Витя, поздравляю, а вас, Вера Александровна, – нет. Вас не поздравляю.

От вежливости его и следа не осталось, он уже пальцем чистил зубы. Никого не нужно было поздравлять, даже и показывать не нужно было, что он знает историю этой поездки.

Он был зол, эти женщины вокруг Виктора его раздражали. Юбки, хвастовство.

Некрылов насторожился, засвистал. Что-то переспросил коротко. Потом рассмеялся.

– Он завидует, – объяснил он Верочке, – но мы уже условились с ним. Через две недели он приезжает ко мне в Москву, и я выдаю его замуж, за очень хорошую женщину. Она не очень проказливая, но она... она будет проказливая.

– Через две недели, – размеренно сказал Драгоманов, – я уеду куда-нибудь к чертовой матери. В Бухару, может быть. Или в Персию. Я решил, Витя, перевести весь Узбекистан на латинский алфавит. Может быть, мне удастся устроить им приличную литературу.

– А зачем тебе уезжать? Для биографии? Не уезжай. У тебя университет, наука. Тебя уважают. С кем же я буду браниться, если ты уедешь?

Драгоманов ничего не сказал. Он смотрел на Веру Александровну. У нее было счастливое лицо. Это его раздражало.

– С женой, – сказал он наконец. – Ты будешь браниться с женой. С учениками. Они предъявят тебе счет – за плохие киносценарии, за случайные фельетоны. И ты будешь уничтожать их. У тебя будет дело.

Некрылов недовольно поднял брови.

– Я могу существовать один, – сказал он сердито, – без учеников. Это ты возишься с учениками.

– Боже мой, они уже опять начинают спорить, – с ужасом сказала Вера Александровна. – Сейчас поезд уйдет, носильщик куда-то пропал с вещами. Борис Павлович, ведь вы же умница. Согласитесь с ним, честное слово, мы опоздаем.

Некрылов сделал ей ласковую гримасу.

– Ученики... Ты все рассказываешь им. – Он схватил Драгоманова за рукав. – Ты рассказал им полное собрание своих сочинений. Ты возишься с ними днем и ночью.

– Из уважения к Вере Александровне не смею спорить, – иронически сказал Драгоманов. – Разреши только сказать, что ты за себя слишком спокоен, Витя. Они напишут о тебе много книг, твои ученики. Это будут романы. Они не умеют писать романы, но для того, чтобы вывести тебя, они научатся этому делу. Они проедут на велосипедах по тем местам, по которым ты прошел с барабанным боем.

– Ах, боже мой, куда же все-таки девался этот носильщик? Виктор, взгляните, это не он стоит вот там, у вагона?

Не дождавшись ответа, Вера Александровна отчаянно махнула рукой и побежала к носильщику.

Некрылов не тронулся с места, даже не поглядел ей вслед.

– Почему ты хочешь поссориться со мной за... (он посмотрел на вокзальные часы) за десять минут до моего отъезда? Тебе не удастся поссориться со мной. Учеников не существует в природе. Ты их выдумал, Боря, и на свою голову. Со мной они ничего не сделают. Но тебя они живым положат в сейф. И ты этого, быть может, не заметишь.

А на это Драгоманов ответил уже вовсе странными словами.

– А в сейфе хорошо лежать, – сказал он раздумчиво. – Лежишь себе под замком, и не нужно ежеминутно читать газету, как во сне, или еженедельно лекции в университете. И не нужно удирать в Персию от жены, от друзей, от китайцев. От времени. И не нужно торговать наукой.

Он не успел договорить. Два звонка пробили один за другим. Пора было садиться в поезд. Вера Александровна, обеспокоенная, сердитая, кричала что-то с площадки, делала Некрылову какие-то знаки.

Они обнялись. Поезд тронулся. Некрылов легко вскочил на площадку, рядом с Верочкой.

И, выглянув из-за тупой стены вагона, он в последний раз увидел Драгоманова. Он глазами нашел его на отъезжающем от поезда темноватом перроне и, еще раз прощаясь с ним, приветственно поднял руку. Но Драгоманов не ответил ему. Он стоял, заложив руки в рукава своей драной шинели, поводя вокруг себя туманными, ничего не выражающими глазами. Он был похож на босяка. На перроне он стоял как человек, которому не удалось уехать.

20

И Некрылов продолжал думать о нем.

Когда ночные поля уже начали проходить мимо вагонных окон и все быстрее.

И маленький носач-проводник пришел в купе, чтобы отобрать билеты.

И синяя лампочка зажглась над белыми простынями постелей.

И сонная тишина установилась в вагоне.

Когда оказалось, что мягкий равномерный грохот колес никому не мешает уснуть.

Верочка сидела у окна, усталая, похожая на большеглазую, нерусскую девочку. Он видел, что она стесняется раздеваться при нем, – уже два или три раза она расстегнула и снова застегнула нижнюю пуговочку на кофте.

Она смотрела на него немного пугливо. У нее были худые руки – это он только сейчас заметил – и уморительные, милые плечи. Он дружески поцеловал ее, сказал что-то, вышел.

Шершавая мыслишка, зацепочка осталась у него в голове от спора с Драгомановым – и сама собой пошла дальше. Опровержение себя самого, смутный разговор со своей честностью, с правом своим говорить и поступать так, как он говорит и поступает.

Заложив руки в карманы, он ходил по узкому коридору вагона, ходил и пел или бормотал сквозь зубы. Он больше не льстил себе, не хвастал. Что ж, пора было поговорить с собой начистоту. Спор с Драгомановым – он-то знает, что это не простой спор. Время спорит за них. Время, а не Драгоманов грозит ему учениками. Время напишет о нем роман...

– А пусть-ка оно сперва научится писать романы, – говорит он тихо, или поет, или бормочет сквозь зубы. – Ага, пусть научится. Это не так-то просто.

Но дело не в угрозах. Он не пуглив. Пускай его ученики едут на своих велосипедах по тем местам, по которым он прошел с барабанным боем. Он будет стоять у финиша и махать флагом. Победителю он подарит свою последнюю книгу. С дружеской надписью. Он покажет им, как обращаться с машиной.

Дело в ошибках. Дело в том, как писать. Как использовать время.

Быть может, ошибка, что он пишет книги, а не работает по освоению Сибири, что он пишет книги, а не строит аэропланы, что он породнился с литературой.

Быть может, ошибка, что в его книгах нет людей, а есть только отношения к ним, что он заслоняет собой людей, которых описывает, что он не может справиться с собой.

– А ведь трудно писать о живых людях, – говорит он, оправдываясь, или поет, оправдываясь, или бормочет сквозь зубы, – ай как трудно! Не знаешь, что важно, что нет. Что можно. Что нельзя.

Он заглянул в купе. Верочка спала, по грудь закрывшись одеялом. Он первый раз видел ее с косой. Она была милая, очень простая.

Как всегда в поезде, была уже сбита ночная пора, бог весть который шел час, близилось ли утро, много ли станций миновал поезд.

Он снова вернулся в коридор. Проводник-носач прошел мимо него и контролер с дорожным фонариком, с ключами в руках. Длинный ряд дверей, похожих друг на друга, как солдаты, стоял вдоль коридора.

О чем он думал? Он жаловался, жалел о своих ошибках.

– «В слезах моя душа», как сказал Айзман, – пробормотал он.

А вот и еще одна ошибка! Ирония, которая съедает все вещи вокруг него. Мешает ему писать. Которая страшнее для него самого, чем для любого из его противников. Что ему делать с ней? И нужно ли ее обезоружить?

Он остановился.

– Ошибка этого вагона в том, что в коридоре нет вентиляторов, – беспомощно оглядываясь, промычал он сквозь зубы.

В вагоне было жарко.

И снова он принялся ходить, заложив руки в карманы, заглядывая то в одно окно, то в другое и всюду встречая черные пятна деревьев, откосов, полей. Припрыгивая, ходил он, свалив голову набок. Ходил как клоун, немного заскучавший, не очень уверенный, но все же веселый.

Как в мейерхольдовском «Ревизоре», стоял длинный ряд дверей вдоль коридора.

Да, он был все же весел. Через ошибки, через иронию – кто посмел бы упрекнуть его в том, что он своему времени не нужен?

Вот, Драгоманов... Вот, умник милый!.. Кому это нужно – то, что у тебя вышло? Ты много знаешь – кому это нужно – то, что ты знаешь?

И точно – лучше лечь в сейф, чем быть прапорщиком, который думает, что вся рота идет не в ногу, а только он один в ногу.

И точно – лучше уехать в Персию, чем, как в «Декамероне», рассказывать сказки, чтобы не заболеть чумой.

Время право, что его раздавило.

Так он ходил, весело-несчастливый человек, очень хороший, очень умный.

Потом он вернулся в купе и долго сидел у столика, не раздеваясь, покачиваясь в такт движению поезда, подпирая пальцами подбородок.

Верочка вздохнула во сне. Он вдруг увидел ее. Одеяло сползло с ее плеч. Он заботливо подоткнул одеяло.

И как всегда – когда он долго смотрел на спящего, все вокруг начало становиться страшноватым.

Но на этот раз он не почувствовал себя одиноким. Ему захотелось подразнить ее – а разбудить было жалко.

«Ну что, что твой Кекчеев? – сказал он про себя, но все равно как бы и вслух и показал ей язык. – Какое ничтожество! Какой канцелярист!»

Он построил ей веселую рожу.

– Я очень хорошо сделал, что дал ему по морде, – объяснил он ей, – но я должен честно признаться, что я бил его не за то, что он хотел на тебе жениться. Но за то, что он существует. За то, что его приставили к литературе. Ты понимаешь, – тыльной стороной ладони он вытер рот, – ты понимаешь, у каждого человека свой способ быть нечестным. Его способ не нравится мне. А ты бы его слушалась. Ты бы его уважала.

И Верочка дышала ему в ответ – тихо, очень послушно. Она соглашалась.

Но была ли она ему нужна или нет и зачем он увез ее с собой – об этом он ничего не говорил, не думал. Он знал, что все равно еще придется что-то решать, с кем-то объясняться, в чем-то раскаиваться. Он не мог сейчас раскаиваться, он устал, ему спать хотелось.

Он будет раскаиваться завтра или послезавтра.

А сегодня не стоит тратить времени на то, что можно сделать завтра.

– В сущности говоря, – сказал он и снял пиджак, – я не уверен даже в том, взойдет ли завтра солнце.

21

Он спит в купе, в тесноте, между стандартных стен, которые так не похожи на стены стеклянных комнат, придуманных Велимиром Хлебниковым – гюль-муллой, священником цветов. Гюль-мулла полагал, что человечество должно жить в стеклянных комнатах,двигающихся непрерывно.

Он спит, человек, который не боится времени, и город удаляется от него во сне – сонный город, в котором ночь назначает молчание.

И на дне ее, среди покорных книг, мучится бессонницей Ложкин. В старом пальто, превращенном в халат, бродит он по осиротевшей квартире. Бьют часы в столовой, шуршат обоями мыши в кабинете, постель стоит в спальне, пустая, с холодными простынями. Мудрое слово звенит в его голове, как часы. Он устало проводит рукой по лбу. Где прочел он, кто подсказал ему это горькое слово?

– Время проходит, говорите вы по неверному пониманию? Время стоит. Проходите вы.

Дрожа от озноба, он ложится в постель. Стараясь, чтобы все спуталось в голове, он поднимает под веками глаза. Он старается уснуть, он подражает самой последней перед сном минуте.

Он засыпает.

Как доверчивое животное, спит в отцовском доме Кекчеев, сын Кекчеева, внук купцов, трус.

Он только что отпустил проститутку, он еще чувствует во сне теплоту и уют ее тела. Полная белая грудь его ровно дышит под раскрывшейся рубашкой.

Спит весь город, от охтенских рыбаков до острова Голодая. Как сонная рыба, лежит на арктической отмели Васильевский остров – финская Венеция с заливами, засыпанными землей, с бухтами, превращенными в площади и проспекты.

Но не спит Драгоманов.

Пять китайцев-изгнанников сидят напротив него. Он учит их русскому языку.

Китайско-русская грамматика, как камень, лежит в желтых костяных руках. У них сухие, напряженные лица. Родина стоит за ними в иероглифах, просвечивающих сквозь русские буквы.

– В прекрасных занавесях пустота, соловей жалуется, человек в горах ушел, обезьяна удивлена, – важно читает по-китайски Драгоманов.

– Соловей жалуется, человек в горах ушел, обезьяна удивлена, – послушно повторяют китайцы.

1928–1980

Двойной портрет

1

Какое все-таки счастье, что жена так слепо верит ему! Сейчас она войдет, не стучась, смешно щурясь (она скрывала близорукость), и спросит значительно: «Ну как?» – хотя ничего не произошло и не могло произойти за ночь.

Снегирев вскочил и стал делать гимнастику, поглядывая не без удовольствия на собственное отражение, мелькавшее в стеклянной двери балкона. Раз-два! Он почти не сомневался, что анонимное письмо написала Шахлина или та рыжая, которая никак не может забыть, что как-то в Керчи, от нечего делать... Он легко приседал, выбрасывая руки.

День был солнечный, за просторными окнами неподвижно стоял морозный воздух, пронизанный светом снега и солнца. Раз-два! Лежа на спине, Валерий Павлович делал «ножницы», ритмично раздвигая ноги. Да, часов в шесть он позвонит Ксении. Он подумал о ее ногах, розово-смуглых, с тонкими лодыжками, еще загорелых с лета. Не слишком ли часто? И вообще, не много ли женщин? Все-таки уже не тридцать. И не сорок.

Он не мог удержаться от смеха, когда, осторожно ступая длинными ногами, в болтающемся халате, жена вошла и спросила:

– Ну как?

2

...Шахлина или та, рыжая, фамилию которой Мария Ивановна никак не могла запомнить. Эти девчонки! Они все влюблены в Валерия Павловича, ревнуют, способны на гадость. Нет, письмо – вздор! И она умно поступила, показав его мужу. Но как быть с Алешей?

Она надела халат и пошла будить Валерия Павловича. Он уже делал гимнастику, розовый, со спутанными волосами, и когда Мария Ивановна показалась на пороге, засмеялся и сказал:

– Все в порядке.

Чувство озабоченности, которое Мария Ивановна постоянно испытывала по отношению к мужу, к его делам, настроению, здоровью, не то что исчезло, но как бы отошло в сторону, когда она оделась к утреннему кофе. Она считала, что именно к завтраку нужно одеваться тщательно и даже нарядно. В черном платье, которое – она это прекрасно знала – особенно шло к ней, она вошла в столовую, где Валерий Павлович уже сидел за столом, небрежно просматривая газеты. Сказать или нет? Глядя на мужа, свежесбритого, моложавого, аппетитно жующего, с круглыми блестящими глазами, она думала о том, как неприятно будет ему узнать о проступке Алеши. Но сказать все-таки необходимо. Алеша учится в одном классе с Женей Крупениным, а Женя мог рассказать об этой истории дома.

– Лариса Александровна звонила, что ей лучше. Подумать только, после второго сеанса. – Мария Ивановна лечила знакомых сердоликом, хотя окончила институт Театрального искусства.

Валерий Павлович промолчал, и она обратилась к другой теме. Она привыкла к тому, что муж начинает слушать ее не сразу.

– Матрешу просто не узнать после того, как умер Павел, – сказала она оживленно. – До неузнаваемости поправилась и похорошела. Естественно! Вечно с синяками ходила.

Матреша была лифтерша, а Павел – ее муж, слесарь-водопроводчик.

Мария Ивановна покровительствовала лифтершам, домашним работницам, маникюршам. Она была из рода Козодавлевых и любила повторять, что на самом деле Козодавлевы – это старинная шведская фамилия Коос-фон-Даллен.

Валерий Павлович опять промолчал, и она решилась наконец перейти к делу:

– Прекрасный молодой педагог, которого на последнем родительском собрании называли находкой для школы. Почему мальчики вдруг ополчились на него – загадка! Причем именно Алеша, у которого, кстати, по истории всегда были пятерки.

Валерий Павлович поднял глаза от газеты:

– А что случилось?

– Решительно ничего.

– Все-таки?

– Алеша сказал грубость историку и получил тройку по поведению.

Валерий Павлович отложил газету:

– Он дома?

– Да, но только...

– Позови его.

Мария Ивановна умоляюще сложила руки, но у него опасно потускнели глаза, и она торопливо пошла за сыном.

Алеша вошел, потупясь, и сказал:

– С добрым утром.

Он был похож на мать – длинный, бледный, с широко расставленными глазами.

– Алеша, расскажи отцу... За что ты получил тройку по поведению?

– Я писал контрольную, а Геннадий Лукич подошел и отобрал.

– Почему?

– Не знаю. Очевидно, решил, что я списываю у Женьки.

– И это все?

– Да.

– Неправда, Алеша, – возразила Мария Ивановна. – Ты сказал ему грубость.

– Не сказал, а прошептал. Я не виноват, что он расслышал. Вообще, я не списывал.

– Допустим. Но все-таки... Что ты ему сказал?

Алеша не ответил. Он вынул из кармана какую-то монету и стал вертеть ее в пальцах.

– Говори! – бешено крикнул Валерий Павлович.

Алеша вздохнул:

– Я исправлю тройку.

– Что ты ему сказал, я спрашиваю!

Алеша покраснел болезненно, слабо. Он смотрел в сторону, с трудом удерживая дрожащие губы.

– Если вы непременно хотите знать, я сказал, что он сволочь.

– Что?

Алеша поднял глаза на отца, вскрикнул и побежал к двери. Мария Ивановна догнала его:

– Алеша, я очень прошу тебя... Должна же быть причина... Еще в прошлом году...

– Потому что он сволочь, сволочь, сволочь! Из-за него честных людей расстреливали.

Он гад!

Алеша выронил монету, покотившуюся к ногам Валерия Павловича, кинулся за ней, но отец уже поднял монету.

– Ах вот в чем дело! Тогда сядем. – Он взял стул. – И поговорим спокойно.

– Валерий, я прошу тебя... Тебе вредно волноваться.

– А я и не волнуюсь. – Валерий Павлович вертел в руках монету. – Видишь ли, в чем дело, Алеша... Ты осмелился обвинить своего преподавателя в тяжелом преступлении. На каком

основании? У тебя есть доказательства? А если это клевета? Нет, Алеша, преступление в данном случае совершил не он, а ты. И называется оно – ты еще не знаешь этого слова – инсинуацией. Кстати, откуда у тебя эта монета?

– Выменял.

– Старинная?

– Да.

– Ты сегодня же извинишься перед историком, – пряча монету, сказал Валерий Павлович.

– Разумеется, – поспешно подтвердила Мария Ивановна, взглянув на сына, который, упрямо опустив голову, направился к двери. – Тебе пора, Валерий.

Алеша обернулся.

– Отдай монету, – прошептал он.

Валерий Павлович сделал вид, что не слышит.

– Иди, Алеша, – сказала Мария Ивановна.

– Пускай он отдаст монету.

Валерий Павлович засмеялся.

– Ладно, тогда давай меняться, – с неожиданным добродушием сказал он. – Твоя монета – мои марки. Ты ведь собираешь с портретами?

– Да.

– Я тебе знаешь какого Людовика Восемнадцатого достану – только держись!

– При Людовике Восемнадцатом марок не было.

– Ах, не было? Тем хуже для него. Ну, иди сюда.

Он обнял сына за плечи.

– Мир!

В кабинете зазвонил телефон, и Валерий Павлович вышел из столовой. Ему хотелось закрыть за собой дверь – это могла быть Ксения, но он сделал над собой усилие и не закрыл.

– Валерий Павлович?

– Да.

– Сотников, из парткома. Зайдите к нам, Валерий Павлович.

– Что случилось?

– Ничего особенного. Тут справлялись о вас.

– Кто?

– Какой-то Кузин, из газеты «Научная жизнь».

– Что ему нужно?

– Зайдете?

– У меня лекция в час.

– Вот перед лекцией и зайдите.

3

Валерию Павловичу не понравилось, что им заинтересовалась газета, потому что у него были враги, и эти враги, до сих пор сидевшие тихо, оживились теперь, зимой 1954 года. Оживился, например, старый маньяк Кошкин. Мелькнула здесь и там в научных журналах фамилия Остроградского. Это было неприятно, хотя Валерий Павлович, разумеется, ничего не имел против его возвращения.

Перед лекцией он зашел в партком. Сотников ждал его. Да, приезжал какой-то Кузин из газеты «Научная жизнь», спрашивал, – ну, черт его знает, обо всем на свете! Почему-то интересовался защитой дипломных работ. Потом заговорил о вас. Что вы делаете? Где напечатаны последние работы?

– Что же вы ответили?

- Правду.
 - Именно?
 - Я сказал, что вот уже добрых двадцать лет вы читаете лекции. А насчет работ посоветовал зайти в библиотеку за справкой.
 - И больше ничего?
 - Да. Впрочем, нет. Уходя, он спросил о Черкашине. Известна ли мне причина самоубийства?
 - Что же вы ответили?
 - Не известна.
 - И больше ничего?
- Сотников засмеялся:
- Спросил еще – с какого этажа? Я сказал, что с одиннадцатого. Обывательское любопытство.

4

Статья «Совесть ученого» была запланирована в сентябре 1954 года, и то, что узнал Кузин, еще раз убедило его в необходимости появления этой статьи. Точнее было бы сказать, что его убедило не то, что он узнал, – он почти ничего не узнал, – а настойчивое стремление секретаря парткома внушить ему, что подобная статья может принести только вред. С этим Кузин никак не мог согласиться.

Фальсификация в естествознании давно стала бедствием, и необходимо было доказать, что оно не только обходится очень дорого, но и подрывает наш авторитет за границей. Еще недавно, при Сталине, писать об этом было не только опасно, но невозможно. Теперь положение изменилось, и Кузин энергично убеждал начальство, что газета больше не имеет права делать вид, что бедствия не существует.

Кузин был «разработчиком» – редакция держала несколько сотрудников, занимавшихся главным образом проверкой и подготовкой материала. У него была странная внешность – острый, кривоватый нос, острый кадык на длинной шее, седеющие волосы, падающие на лоб, глубоко сидящие, вспыхивающие глаза. Он был похож на Дон Кихота... Приятели-художники рисовали его пятью острыми углами. На самом деле это был антипод Дон Кихота – трезвый человек, не любивший терять времени даром.

В крошечной комнатке отдела естествознания он ждал звонка Горшкова, своего шефа, опытного журналиста. Человек мнительный, осторожный, Горшков умело пользовался инерцией известности, позволявшей ему в течение многих лет сохранять солидное положение. И теперь, думая о предстоящем разговоре, Кузин нервно морщился, представляя себе квадратное лицо шефа и толстые руки, нерешительно перелистывающие разработку. А ведь она была хороша! Правда, Кузин почти не коснулся атмосферы, в которой обычно возникает фальсификация. Это завело бы его слишком далеко. Не написал он, к сожалению, и о секретности, хотя ему было совершенно ясно, что фальсификация почти всегда опирается на секретность, как это было, например, в знаменитом деле Прошьяна.

Но все-таки Кузин отвел душу. Втайне он надеялся, что когда-нибудь его разработки дойдут до ЦК и произведут соответствующее впечатление. Был же подобный случай в «Литературной газете»!

Как все разработчики, Кузин мучительно хотел печататься. Он мечтал о больших, в три колонки, статьях, вокруг которых закипали бы споры. Он видел свои подвалы перепечатанными в «Правде» с кратким, но лестным для него редакционным примечанием... Иногда печататься удавалось. И всякий раз это был праздник, хотя его заметки – он это знал – были написаны принужденно и сухо.

Впрочем, на этот раз не было никакой надежды, что Горшков поручит ему написать статью. Вопрос был серьезный, и автора надо было найти серьезного, с именем. Задача! Он мысленно перебрал несколько имен. Но этот – он решил – не возьмется, а тот не тянет. Третий был политически хорош, но статья была бы одновременно и резкой, и скучной.

Наконец Горшков вызвал его. На этот раз он держался уверенно – должно быть, позвонил главному редактору и получил благословение.

– Кому поручить?

– Алексей Сергеевич, а что, если мы попросим...

Он назвал фамилию.

– Откажется.

– Почему вы думаете? Он же пишет о людях науки?

– Намучаешься с ним, – вздохнув, сказал Горшков. – За каждое слово будет цепляться.

– Зато, если он заинтересуется материалом, он хорошо напишет. Я поговорю с ним, хорошо?

– Поговорите. Ничего не выйдет.

– А я думаю, выйдет. И вы знаете почему? Помните историю студента Черкашина?

– Да, но при чем же здесь...

– Алексей Сергеич, у него в романах постоянно такие истории. Он согласится.

5

Ольга, вдова студента Черкашина, жила на Кадашевской набережной, в квартире, переделанной из подвала. Эти квартиры и до сих пор обращают на себя внимание своими окнами, против которых стоят буквой «п» кирпичные стеночки, огораживающие от осенних дождей и весенних разливов.

Быстрая, никогда не жалующаяся, Черкашина мертвела, думая о том, что ее шестилетняя дочка, которую тоже звали Олей, может заболеть от постоянной сырости. Она ненавидела длинный, с каменным полом коридор, освещенный единственной лампочкой, эти неудобные длинные комнаты – свою и соседей, – которые когда-то были второпях нагромождены да так и остались на добрые полстолетия. Давно пора было обменять комнату, да кто же согласится переехать в подвал?

В райсовете от нее приняли заявление, на работе – в Библиотеке иностранной литературы – обещали помочь. Но все это было туманно, неопределенно. Надо было действовать, хлопотать, скандалить, может быть, дать кому-то денег, в которых она сама постоянно нуждалась... Она не умела ни хлопотать, ни скандалить. Вся надежда была – уже не первый год – на Мишу Лепесткова.

Черкашина была худенькая, беленькая, с косящим взглядом, в котором мелькало вдруг что-то неожиданное, опасное. Может быть, потому, что она, как ни старалась, была одета и причесана небрежно, она производила впечатление воздушности, беспечности...

В этот день пришлось задержаться – ее помощница по экспедиции перепутала адреса на заграничных бандеролях. Правда, соседка обещала привести Оленьку из детского сада. Но нужно было постирать для нее на завтра, помыть посуду и наконец ответить на письмо Платона Васильевича, отца ее покойного мужа.

Все это – кроме письма – надо было закончить до девяти, потому что в девять собирался зайти Лепестков, а она не любила при нем возиться с хозяйством. Он сердился: «Что я за гость?», кидался помогать ей, а однажды, дожидаясь ее прихода, перемыл вместе с Оленькой посуду.

Он так часто бывал у Черкашиных, что соседи в конце концов перестали интересоваться их отношениями – супружескими, как они полагали. Все же двери приоткрывались одна за

другой, когда, нагруженный покупками, он стремительно пробежал по коридору, плотный, плечом вперед, крепко ставя кривоватые ноги.

Миша был другом покойного Бориса Черкашина, но не по университету, а по фронту. Два года – сорок третий и сорок четвертый – они воевали вместе. В университете они оказались на разных курсах – Лепестков поступил годом раньше. Разошлись и интересы: Черкашин занялся рыбным хозяйством, Лепестков – физикой моря. Они встречались редко. Но в предсмертной записке Борис просил друга позаботиться о двух Олях.

С тех пор прошло пять лет в этой комнате с узким окном, из которого, только изогнувшись, можно было увидеть небо. Когда Черкашина уставала от вечного страха за Оленьку, от воспоминаний, от бессонных ночей, ей приходила в голову простая мысль, что все могло бы измениться, если бы Миша... Но мысль приходила и уходила. Молчал и он. И Черкашина напевала, поправляла летящие волосы, смеялась, болтала и, слушая, как Миша выговаривает ей за неумение жить, вдруг поднимала на него влажные, разбегающиеся глаза.

...Все было бы сделано вовремя, если бы не испортилась плитка – по вечерам Ольга Прохоровна не пользовалась керогазом. Правда, пока она ее чинила, дочка приготовила себе постель, прибрала со стола, помыла посуду – у нее были ловкие ручки. Вода согрелась, голенькая Оля, с заплетенной косичкой, встала в таз, и мать стала весело растирать ее губкой. Обе покраснелись, растрепались.

– А летом к деду Платону поедem... – приговаривала Черкашина. – Дед хороший, с палочкой, слепенький.

В дверь постучали. Они не слышали. Постучали еще раз, и Черкашина, думая, что это Миша, крикнула:

– Войдите!

Незнакомый человек в осеннем пальто и зимней пыжиковой шапке – это был Кузин – приоткрыл дверь.

– Извините.

– Одну минутку. Подождите, пожалуйста, в коридоре.

Черкашина прибрала в комнате, уложила дочку и, наскоро причесавшись, сменила халатик на платье.

– Мама, это дед Платон? – звонко спросила Оля.

6

Кузин пришел к Черкашиной, чтобы дополнить свою разработку. В истории ее мужа были неясности, подсказавшие Кузину соображения, которые могли заинтересовать автора будущей статьи. Как человек деликатный, он заранее обдумал разговор и начал его издалека. Ему немного мешало, что Черкашина оказалась такой молодой, бело-розовой, с кое-как закрученным узлом волос на затылке. К ней совсем не подходило слово «вдова», скорее она была похожа на невесту.

– Снегирев? – как будто не поверив ушам, переспросила она.

И с этой минуты начались странности, изумившие Кузина. Черкашина побледнела, черты ее опустились, и когда, помолчав, она взглянула на Кузина, в ее глазах было не прежнее беспечно-заинтересованное выражение, а строгое и тревожное. Что-то как будто замкнулось в ней, она начала отвечать медленно, глядя в сторону, неопределенно. Да, ее муж работал в снегиревской экспедиции летом 1948 года. Отношения? Тогда были хорошие. Со Снегиревым и не могло быть других.

– Что это значит?

Она промолчала. Кузин заметил, что, насколько ему известно, многие находятся со Снегиревым в плохих отношениях. Опять промолчала. Разговор стал останавливаться, спотыкаться.

– Простите, Ольга Прохоровна, что я вынужден коснуться... Я понимаю, что этот вопрос для вас... И если вы...

В дверь постучали. Черкашина поспешно сказала:

– Войдите!

Плотный мужчина, лет тридцати, неуклюже, плечом вперед, протиснулся в комнату.

– Ох, как хорошо, что вы пришли, Миша! – повеселев, сказала Черкашина. – Познакомьтесь, это товарищ из газеты.

Мужчина неторопливо повесил полушубок на гвоздь. У него было красное лицо с туманными и, как показалось Кузину, лишенными всякого выражения глазами. Он назвал себя: «Лепестков», взял стул и приготовился слушать.

– А Снегирев знает об этой статье? Которую вы собрались написать?

– Может быть, и не я.

– Это все равно... – пробурчал Лепестков. – Важно, знает или не знает. Потому что если он знает... Ну, словом, тогда не выйдет.

– Почему?

Лепестков стал смотреть в потолок.

– Такой уж он влиятельный человек? – спросил Кузин.

– Да.

– Хороший ученый?

– Ну нет!

– Так в чем же дело?

Лепестков опять замолчал. Взвешивающее, оценивающее выражение прошло по его лицу. «Кто тебя знает, кто ты такой? И почему я, собственно, должен говорить с тобой откровенно?» Так Кузин расшифровал его размышления.

– Послушайте, вы видите меня в первый раз. Но, поверьте, я ничего не хочу, кроме как добраться до истины, а по всему видно, что вы могли бы помочь. Допускаю, что ко мне у вас недоверчивое отношение, но в данном случае...

Лепестков смотрел в потолок. Черкашина без всякой надобности поправила на спящей девочке одеяло.

– Послушайте, я прекрасно понимаю. Приходит человек с улицы, даже не приходит, а врывается... Но ведь не в интересах же Снегирева поднимать эту историю?

Лепестков что-то вопросительно пробормотал. Черкашина кивнула.

– Что?

– Нет, это я Ольге Прохоровне сказал. Вот что, пойдете куда-нибудь отсюда. Мне пора. Если вы можете проводить меня до метро, я вам кое-что расскажу.

Он надел треух и полушубок, кивнул Черкашиной и, не дожидаясь, пока Кузин попрощается, вышел.

7

– Я ушел, потому что не хотел при Ольге Прохоровне говорить о ее муже. Ведь вы о Борисе хотели ее расспросить?

– Да.

Они шли по Кадашевской набережной, пар клубился над темной, почему-то не замерзшей водой. Люди в кожах в клубах пара что-то делали на барже, от которой ползли к берегу толстые грязные змеи кольчатых труб.

– Я знаю, что вас интересует, и могу рассказать, хотя убежден, что из этого до поры до времени ничего не выйдет. Дело в том, что эта история – частность.

– Хороша частность!

– Именно так. Если сравнить самоубийство Черкашина с тем, что тогда происходило в науке...

– Вы имеете в виду биологию?

– Да, в широком смысле. Так вот, если представить, что перед вами – театр, скажем трагедия Шекспира, это самоубийство... Ну, скажем, какой-нибудь Яго оступился, слегка подвернул ногу. А спектакль идет своим чередом. В этой истории Снегирев именно слегка оступился. Его пожурили, тоже слегка, а потом... Кому охота ссориться с таким человеком?

– С каким таким?

– Да уж с таким...

– Мне охота.

– Вы другое дело. Вы не биолог, не ихтиолог, не пишете диссертаций и не нуждаетесь в жилплощади.

– Как раз нуждаюсь.

– Все равно. Вы – человек другого круга.

– Пожалуй, – смеясь, сказал Кузин. Ему нравился собеседник. И Лепестков не без любопытства поглядывал на кривой нос, торчавший из-под низко надетой пыжиковой шапки, на острые плечи, на всю нескладную длинную фигуру Кузина.

Они прошли через Малый Каменный, цветные лампочки на кино «Ударник» сонно просвечивали сквозь молочный воздух. В пустом сквере одиноко бродили закутанные бабы-сторожа, прошла, громко разговаривая, компания молодежи.

– Так вот Черкашин. Он писал стихи.

– Да?

– Плохие. И биологом он был плохим. Он очень хорошо воевал. Не потому, что был человеком военным, а потому, что война была для него... Ну, не знаю. Чем-то вроде искупления. Он был человеком фанатическим, предававшимся делу без оглядки. Истовым и неистовым.

– То есть?

– Ну, это вроде каламбура. Одно у него не мешало другому. Вдруг сожмет зубы, побелеет. Мог убить. На войне ведь убивали по-разному. Он – свято. Кроме того, он был с корнями...

– В социальном смысле?

– Именно. Всех своих односельчан он прекрасно знал, бедствия их волновали его постоянно. Он возмущался, кипел, куда-то писал. Колхоз был рыбачий, где-то под Керчью, и его ихтиология взялась именно оттуда. Он намеревался после вуза вернуться в колхоз. Вы замерзли?

– Да. Но это не важно. Рассказывайте. Интересно.

– Зайдем в магазин, возле «Ударника», и погреемся. Там можно даже, кажется, выпить у стойки.

– Я не пью, у меня язва.

– Вот от язвы как раз и лечатся водкой.

У стойки можно было выпить только шампанское. Они постояли, греясь, искоса поглядывая друг на друга. Дверь хлопала, люди входили красные, с заиндевевшими волосами. Морозный воздух врвался, клубился и таял.

Кузин, который не ел с утра, купил сладкую булку и съел. Они еще немного поговорили о язве.

– На чем я остановился? А, да! На факультете Борис попал к Снегиреву. Не сразу, а на четвертом курсе, когда тот взял его с собой в экспедицию на Каспийское море. Это была экспедиция... Словом, наблюдения Бориса не устроили Снегирева.

– Почему не устроили?
– Потому что у Снегирева была работа... Гм, тут бы надо кое-что объяснить. Работы не было.

– То есть?

– Работа – и притом вполне удавшаяся – принадлежала другому человеку, а Снегирев как раз стремился ее опровергнуть.

– Зачем?

– Ну-с, это длинная история. Не вдаваясь в подробности: он взял с собой Бориса, чтобы тот подтвердил его возражения, а Борис... Вот тут и началось! Он долго не решался поговорить со Снегиревым, и мы его готовили – Ольга и я. Это было трудно. Он кричал, а Ольгу даже побил.

– Не может быть!

Лепестков промолчал. Он снял треух и вытер носовым платком вспотевший лоб и слегка выующиеся некрасивые волосы. Его и без того красное лицо еще покраснело.

– Словом, уговорили мы его, он пошел, а вернулся уже полусумасшедшим. Снегирев выслушал его, швырнул в лицо статью и сказал: «Не может этого быть!»

Кузин вынул записную книжку.

– Пожалуйста, – сказал Лепестков в ответ на его вопросительный взгляд. – Кстати, это была не статья, а диплом. А когда Борис стал возражать, Снегирев ответил ему буквально следующее: «Необходимо доказать, что я прав, а на ваши данные мне наплевать». И вот что любопытно... Вам трудно судить, вы Черкашина не знали. В нем было что-то от протопопа Аввакума – подохну, а тремя перстами креститься не стану! Я ни минуты не сомневался, что он упрется, – именно так он вел себя на войне. Ведь от него потребовали ни много ни мало, чтобы он стал другим человеком. Конечно, Снегирев не осмеливался требовать напрямую, он намекал, но намек был ясный: «Не подделаешь – не допущу к защите».

В магазине стало шумно. Женщины стали ругать продавщицу, отпустившую яблоки без очереди: «Та стояла, эта не стояла». Они ушли.

– Теперь куда? – спросил Лепестков.

– Куда хотите.

– Может быть, ко мне? На улице записывать неудобно. Я живу недалеко, на Ордынке.

– Я вас не стесню?

– Ничуть. Правда, у меня скромно. Зато тепло.

Они пошли назад через мост.

– Ничего, вы рассказывайте, – попросил Кузин. – Я запомню, а потом запишу.

– Ладно. Так вот. Надо было подчистить данные и на основании новых, взятых с потолка, доказать, что Снегирев прав. Шутка ли? Но тут подошла весна, я должен был ехать на практику, и Борис мне сказал: «Если подделаю, удавлюсь». Тут же он стал доказывать, что, в сущности, диплом – вздор, а главное – окончить и вернуться в село. Он как будто убеждал меня, что ему ничего не остается, как подделать данные, – и тут же, между прочим, шутил и ломался. Он был из тех глубоко порядочных людей, которые в безвыходном положении начинают вести себя странно – не то каются, не то ерничают.

Лепестков полез в карман за носовым платком.

– Я уехал, – продолжал он, шумно высморкавшись. – Так что все прочее расскажу уже с чужих слов. Во двор и налево...

Они прошли под низким сводом ворот. Старый двухэтажный флигель стоял в глубине двора. Здесь было не по-городскому тихо, скрип снега стал слышен под ногами. Над флигелем плыла зимняя, полная, еще золотая, но уже просвечивающая голубизной луна.

– Сюда, – сказал Лепестков. К здоровенному каменному флигелю была пристроена деревянная боковушка, в которой уютно светилося оконце. – Сам выстроил. Конечно, не своими руками. Впрочем, до некоторой степени и своими.

Пристройка состояла из просторного тамбура, в котором было так же холодно, как на дворе, и маленькой комнаты, прибранной и довольно уютной. Круглая печь была, видимо, недавно натоплена. Над столом выгибалась длинную шею чертежная лампа. Вдоль глухой стены стояла высокая, почти до потолка, книжная полка, в которой здесь и там были устроены закрытые шкафчики. «Для белья», – подумал Кузин и сразу невольно сказал: «Ого!», увидев в одном из шкафчиков, который открыл Лепестков, много винных бутылок разного размера и вида.

Лепестков поставил на стол коньяк.

– Да, черт, совсем забыл! Вы не пьете. Так, может, устроить для вас чай? Мигом!

– Спасибо, не надо.

Взглянув на часы, Кузин достал крошечный пузырек с белыми шариками. Он высыпал шарики на ладонь, отсчитал восемь и слизнул с ладони.

– Гомеопатия?

– Да.

– Помогает?

– Кто его разберет. Говорят – да, если по часам есть. А я видите как... Зачем-то булку сожрал в магазине. То тамхватишь, то тут.

8

– Стало быть, я уехал до осени. И вот что произошло после моего отъезда: Черкашин подчистил данные, причем, видимо, торопился, потому что это было сделано кое-как, неумело. И все-таки удался номер! Торопясь доказать свою правоту, Снегирев поручил Борису прочитать доклад на студенческой научной конференции. Что было делать? Он согласился. На этой же конференции был показан фильм, снятый экспедицией, и хотя во время демонстрации произошло досадное недоразумение – победа была полная. И через несколько дней Черкашин покончил с собой – и надо сказать, обдуманно. Кто-то из его земляков остановился в гостинице «Москва», Борис зашел к нему, поболтали, выпили. Потом земляк пошел принимать душ, а прежде, заметьте, принял душ и надел чистую рубашку Черкашин. Когда земляк вернулся, номер был пуст и на столе лежала записка. Это была одна из многих записок. Он и в деканат написал, и отцу, а жене, между прочим, ни слова.

– Вы сказали «через несколько дней»?

– Да.

– Что же произошло за эти несколько дней?

– Почему вы спрашиваете?

– Потому что причина не ясна. Совесть?

– Это немало.

– Верно. Но все-таки – жена, дочь. Односельчане, с которыми он был так тесно связан. Решиться на такое? Значит, другого выхода не было?

Лепестков не ответил. Он налил коньяк, выпил. У Кузина заболел живот. «Черт, проходили мимо аптеки, надо было купить белладонны».

– Михаил Леонтьевич, – сказал он, – и все это, по-вашему, частность?

– Разумеется. Кто такой Черкашин? Всего-навсего студент, и, повторяю, не очень способный. А слышали вы, например, об Остроградском?

– Слышал.

– Давно?

– Две недели тому назад.

Лепестков засмеялся:

– Бессмертный этот рассказ Чехова, где в поезде встречаются двое, один – знаменитый ученый, академик, другой – инженер, тоже известный. И оказывается, что они ничего друг о друге не знают... Как же так? Вы собираетесь писать об ихтиологии, океанологии и ничего не знаете об Остроградском?

– Почти ничего. Расскажите, Михаил Леонтьевич.

Лепестков поднял глаза – не такие уж туманные, как показалось Кузину с первого взгляда. Впрочем, может быть, и туманные – но трогаящий, глубокий свет пробивался в этом тумане. Он сидел в старом, потертом кресле, смешно оттопырив губы, может быть, снова взвешивая, оценивая, как тогда, у Черкашиной? Нет, теперь он задумался о другом. Глаза окинули книжную полку, потом остановились на какой-то рукописи, лежавшей на столе, потом с притворным равнодушием уставились в потолок – и погасли. Кузин тоже взглянул на рукопись, довольно толстую, в зеленой папке. Название было написано крупно, синим карандашом: «Безнаказанное преступление. Из истории советской биологии».

9

Остроградский не отбыл полного срока и был отпущен как «активированный», то есть безнадежно больной. Ждать пришлось долго, почти целый год. И дождался из двенадцати только пятеро, в том числе и он. «Активированных» отправляли в красноярский Дом инвалидов, где, по слухам, жилось недурно. Был и другой выход – семья могла взять освобожденного на свое иждивение.

У Остроградского не было семьи. Когда его арестовали, жена осталась в Москве, ее не тронули, он получал от нее посылки. Письма были спокойные – на первый взгляд, но безнадежные, с какими-то намеками, половину которых он не понимал. В квартиру на Петровке въехал сотрудник МГБ с семьей, «и это даже к лучшему, – писала она, – потому что иногда очень страшно одной по ночам». Он снова не понял – почему же одной? Где Маша? Потом письма прекратились. Племянница Остроградского, Аня Долгушина, жила в Москве; он написал ей, и она ответила, что Машенька умерла от дифтерии в апреле 1951 года. Об Ирине она писала с беспокойством – бродит, растерянная, ничего ей не нужно, только твердит, что проглядела дочку. Наконец он дождался письма от Ирины – и понял, что больше никогда не увидит ее. Письмо было самое обыкновенное. «Вот лето и кончилось», – писала она. Но она сама кончилась, и он знал, что умолять ее приободриться, ждать его значило так же мало, как умолять умирающего не умирать.

Он получил вызов от племянницы. Правда, в отпускном свидетельстве был указан Серпухов, а не Москва, но еще в поезде, в шуме и духоте переполненного вагона, радуясь этому шуму, стараясь по лицам, по разговорам понять, что произошло после смерти Сталина, что происходит в стране, он решил, что только отметится в Серпухове, а там...

Он прислушивался к погромыхиванию уносящегося поезда, и в нем самом что-то поднималось, уносилось, подступало к горлу. «Сердце», – подумал он с тревогой. Но тревога была другая, нелагерная. Все было нелагерное, странное своей обыкновенностью, отсутствием чувства чужой, непрерывно, днем и ночью, направляющей воли. Как про болезнь говорят «отпустило» – так отпустило и его. Впрочем, его и физически отпустило: в лагере у него давление было 140 и 240 – и упало почти до нормы, едва он вышел за ворота.

Мысль, которая, как ему казалось, одна только и спасла его в заключении, – он думал о ней три года – продолжала помогать ему и теперь. Она была связана с теорией, которую он предложил в 1949 году, перед самым арестом, но уточняла эту теорию, доказывала ее неожиданное и громадное практическое значение. В лагере она была почти страшна своей несопоставимостью с унижениями, голодом, непосильным трудом. Он не умер, потому что знал, что

эта мысль умрет вместе с ним. Теперь она была совсем другой – летящей, мчащейся, повторяющейся ровно и бодро в стуке колес.

«Но как доказать ее? – думал он почти беспечно. – Без лаборатории, без приборов, очень сложных, которых нет в Серпухове и еще нет, вероятно, даже в Москве?»

Он доехал до Серпухова и получил паспорт. В гостинице не было свободных номеров, или были, но не для него. Он побродил по городу в поисках комнаты, замерз, зашел в чайную, съел солянку, показавшуюся ему необыкновенно вкусной, а потом, подумав, полный обед.

Согревшись, отдохнув и поговорив – это было интересно – с пожилым рабочим-текстильщиком, он поехал в Москву.

Ему все равно пришлось бы уехать, потому что костюм, в котором он был арестован и который теперь, при выходе из заключения, вернулся к нему, оказался худой. В 1953 году, когда Остроградский выступал на вечере самодеятельности, костюм был еще приличный. Потом его, по-видимому, кто-то сносил – кромки на карманах залохматились, швы побелели. Ботинки тоже сносились. Пальто было кожаное, облезлое, с оттянутыми карманами, он сам чинил его на Лубянке. Но пальто было еще приличное.

Аня, добрая и глупая, рассказала, как Ирина вдруг пришла с Машенькой и сказала, что не вернется домой. Но Долгушин все же убедил ее вернуться (из трусости, как понял Остроградский и как действительно думала Аня), хотя Машенька была нездорова. Никому и в голову не пришло, что это дифтерия: температура была совсем маленькая и горло не болело. Потом, когда спохватились, уже ничего нельзя было сделать, хотя сыворотку вводили два раза.

Все это Остроградский знал, но выслушал снова, не спрашивая, потому что знал в тысячу раз больше, чем Аня могла рассказать. Долгушин вмешался – и испуганно замолчал, встретив окаменевшее лицо с сухими, страдающими глазами.

Потом Аня рассказала, как после похорон Машеньки она уговаривала Ирину поехать к родственникам Долгушина в Курск, и та согласилась, даже стала собираться в дорогу, только сказала, что ей хочется немного полежать, отдохнуть. Но как раз этого-то, по мнению Ани, и нельзя было делать. Она лежала, повернувшись к стене, и почти ничего не ела. Старалась, но не могла, не могла...

Первый день у Долгушиных прошел хорошо, может быть, потому, что Остроградский сразу поехал на кладбище и вернулся только к вечеру – значит, прошел по коридору (квартира была коммунальная) только четыре раза. Второй – воскресенье – несколько хуже: Долгушин волновался, когда Остроградский выходил в уборную. На третий, увидев за утренним чаем томящееся желтое лицо Долгушина, который, по-видимому, не спал до утра, Остроградский понял, что дальше оставаться нельзя. Он и сам слишком часто оглядывался на телефон, прислушивался к шагам, чувствовал неприятную, сковывающую тяжесть в ногах, проходя по коридору.

Провожая его, Аня с трудом удержалась от слез. Но у нее был, по-видимому, какой-то разговор с мужем, заставивший ее промолчать, когда Остроградский принялся укладывать вещи. Он не отказался от ботинок и только слабо усмехнулся, когда на лице Долгушина, которому было жалко почти новых ботинок, все-таки мелькнуло удовлетворение.

10

Крупенины жили в только что отстроенном доме, у них не было телефона, и он поехал без звонка – это было ошибкой. Лариса Александровна, маленькая, чуть-чуть постаревшая, но с такой же тонкой талией, пышно стриженная (это было модно), восторженно вскрикнула, увидев его, усадила, стала спрашивать – и его опять «отпустило», когда, рассказывая, он встретился с ее серыми, полными слез глазами.

Василий Степанович был в ванной, она побежала к нему. Остроградский слышал, как она крикнула:

– Вася, знаешь, кто у нас? Не скажу! Выходи скорее!

Она вернулась, стуча каблучками, быстро накрыла на стол, и у Остроградского засосало под ложечкой: такого стола – с длинно нарезанным, желтовато-лоснящимся балыком, с колбасой салями, которую он любил, с вином – он давно не видел.

Рыжий мальчик в очках, румяный и длинноногий, вошел в столовую и неловко поклонился.

– Это Женя, – сказала Лариса Александровна с гордостью.

– Не может быть!

За шесть лет Женя вырос вдвое и стал похож не на отца, а на деда. В двадцатых годах на лекции деда – он читал в МГУ курс русской истории – ходили студенты всех факультетов.

– Рассказывайте же, дорогой Анатолий Осипович, я слушаю, слушаю!

Он продолжал рассказывать, но недолго: пришел Василий Степанович, и с той минуты, когда они пошли навстречу друг другу, чтобы обняться – и не обнялись, – началось что-то совсем другое. Со стороны все осталось как бы по-прежнему, хотя Остроградский, который до сих пор почти не чувствовал, что на нем истасканный костюм, и не вспоминал о висевшем в передней пальто, – почувствовал и вспомнил. «А, наплевать!» – мысленно сказал он. Но вскоре стало не наплевать. Красный, после ванны, в дорогой пижаме, из-под которой виднелась толстая, розовая грудь, Крупенин ел и слушал. Иногда он мычал – этого Остроградский не замечал за ним прежде. Мычание было сочувственное, хотя и не очень.

Остроградский внимательно посмотрел на его постаревшее, прежде тонкое, теперь тяжелое, как гиря, лицо и встретил взгляд, испуганный, загнанный, молящий – о чем? По меньшей мере о том, чтобы Остроградский, которому он, Крупенин, не хотел и боялся помочь, ушел. Не только ушел, а позволил бы забыть о его существовании – и возможно скорее.

Это было неожиданно. А может быть, и не очень? И Остроградскому вспомнилось, как однажды Крупенин шел по коридору в министерстве – не шел, а врезывался, держа голову немного набок, полный решимости немедленно утвердить свое благополучие в каком-то важном или незначительном деле. Вот тогда-то и строилась в воображении эта квартира, эта карьера.

Перемена, происшедшая с Крупениным, была унижительна, и хотя Остроградский испытывал почти физическую боль стыда за него, он все-таки наелся. Ужин был хорош.

Поговорили еще немного – почему-то о медицине. Лариса Александровна лечилась сердоликом. У кого? Она не сказала.

– Анатолий Осипович, вы слышали о сердоликовом лечении? Поразительные результаты! Крупенин снисходительно усмехнулся.

Надо было уходить – и он ушел, провожаемый его мычанием, на этот раз слегка огорченным, и преувеличенными пожеланиями Ларисы Александровны, которая, по-видимому, рассердилась на мужа.

11

Я никогда не читал «разработок», хотя много писал для газет, особенно в годы войны. Та, которую принес Кузин, скромно называлась «материалом к статье». Но это был не материал к статье, а трактат. Некогда Стендаль написал «Трактат о любви». То, что я сперва просмотрел, а потом внимательно прочел с карандашом в руках, было трактатом о мошенничестве в науке.

Он был написан плохо, факты заслоняли друг друга, требуя от читателя не только внимания – работы. Иногда прорывалась ирония, довольно безвкусная: «Вспыхнувшие, как метеоры, открытия благополучно закрывались в благопристойной академической тишине». Иногда –

«изящная литература»: «Истина для некоторых деятелей науки не прекрасная незнакомка, а готовая к услугам первого встречного шлюха». «Голый король» упоминался едва ли не на каждой странице, так что можно было подумать, что королями в науке чувствуют себя только голые короли.

И все же, читая разработку, я подумал, что этот длинный, остроугольный Кузин – талантливый человек, хотя, может быть, бездарный писатель.

– Здесь есть одна история, – сказал он, уходя, – которая, по-моему, покажется вам любопытной.

Историй было много. Не одну, а десять статей можно было написать, пользуясь его разработкой. Но он, без сомнения, хотел обратить мое внимание на странную историю, разыгравшуюся вокруг какого-то кольчатого червя, о котором я до сих пор ничего не слышал. Она началась давно, еще в 1932 году, когда Остроградский впервые поставил вопрос о том, какое из бесчисленных животных, обитающих в мировом океане, может стать ценным живым кормом для рыбного населения Каспийского моря. Опыты продолжались семь лет. Решено было наконец остановиться на этом черве, который – при общем сочувственном внимании прессы и науки – был в 1940 году переселен в Каспийское море.

О нем забыли и думать в годы войны, но, когда война кончилась – или даже раньше, в октябре 1944 года, – один из сотрудников Института рыбного хозяйства вскрыл осетра, пойманного на Каспии, и обнаружил в его желудке кольчатых червей. Остроградский вернулся к отложенной работе, и его экспедиция в течение двенадцати дней установила, что запасы живого корма превышают миллионы центнеров. Он стал основной пищей промысловых рыб.

Здесь кончается первая, счастливая часть этой истории. До сих пор ее главными героями были рыбы. Во второй, менее счастливой, на первый план выдвигается человек, которого мне захотелось увидеть. Фамилия его – Снегирев.

Разработка не статья, в ней можно быть вдвое откровеннее, и Кузин, что называется, отвел душу, рассказывая о Снегиреве. Он начал с общих соображений, доказывая, что «понижение класса точности» коснулось не только биологии, но медицины и в особенности сельского хозяйства. В качестве примера он привел докторскую диссертацию Снегирева. На ее защите с наиболее резкой критикой выступил Остроградский. Диссертация чуть не провалилась, и это было началом многолетней вражды, о которой Кузин, увлекшись, рассказал несколько высокопарно: «Он боролся против Остроградского денно и нощно, он следил за каждым его шагом, он внушал другим, что святой обязанностью любого честного гражданина является уничтожение его врага, по крайней мере моральное, если не физическое». Он громил его в рецензиях, правда не появлявшихся в печати, но не терявших от этого своего влияния.

И вдруг дискуссия прекратилась. Снегирев споткнулся, правда ненадолго. Его ученик, студент пятого курса Черкашин, подделал экспериментальные данные в дипломной работе. Никто этого не обнаружил, его доклад на студенческой научной конференции прошел с успехом. Тем не менее через несколько дней он выбросился с одиннадцатого этажа гостиницы «Москва» и, разумеется, разбился насмерть.

«О чем думал перед смертью этот человек? – риторически восклицал Кузин. – Как случилось, что подле него в эти страшные минуты не оказалось друзей, которые удержали бы его от малодушного шага?» Была назначена комиссия, отстранившая Снегирева от преподавания, но «жизнь сделала крутой поворот, – писал Кузин, – и провалившийся ученый, человек сомнительной репутации, вдруг оказался хозяином положения».

Что же это был за крутой поворот, который Кузин смело назвал «возвращением к догалилеевским временам»? Речь шла, без сомнения, о сессии ВАСХНИЛ 1948 года, после которой борьба против Остроградского сразу же приняла политическую окраску. Новый декан, некто П., не только вернул Снегиреву кафедру, но с его помощью занялся разгромом факультета. Многие профессора были уволены, в том числе знаменитый Лучинин.

На Каспий выехала новая экспедиция, «работа которой происходила в атмосфере полнейшей секретности». Зато не было недостатка в слухах. Эти невидимые силы действовали в полную меру.

«А когда настало время подвести итоги, – продолжал Кузин, – Снегирев продемонстрировал кинофильм, который был снят его экспедицией с целью доказать, что безобидный кольчатый червь представляет собой грозного хищника. И действительно, показанный на экране крупным планом, он с жадностью глотал мотылей. Но в ту минуту, когда это неотразимое доказательство появилось на экране, один из зрителей задал коварный вопрос: „А сколько дней вы его не кормили?“ И сотрудница, дававшая пояснения, простодушно ответила: „Десять“...»

Снова группа Остроградского, опубликовавшая обширный материал, должна была в комиссиях и подкомиссиях доказывать свою правоту. Снова и снова Снегирев, ничего и нигде не опубликовавший, продолжал утверждать, что безусловно удавшийся опыт Остроградского не удался».

Но вот борьба оборвалась. Видный деятель заявил, что вся работа Остроградского – замаскированное вредительство. Зимой 1949 года его имя исчезает со страниц научных журналов. Его книги не выдаются в библиотеках. Работы по акклиматизации останавливаются. Экспедиции свертываются. Научные планы пересматриваются, Остроградский арестован.

12

Я позвонил Кузину, и он явился немедленно – длинный, остроугольный, с кривым носом и ежеминутно щурящимися глазами.

Я сказал, что прочел его разработку и что это не материал к статье, а трактат, который надо издать отдельно, тиражом в сто тысяч экземпляров. Он засмеялся:

– Ну а серьезно?

– А серьезно – серия статей.

– Так и задумано.

– Несколько вопросов. Вы пишете: «В какую же копеечку обошлась стране деятельность Снегирева?» Вот именно – в какую?

– Можно подсчитать.

– Еще вопрос: где Остроградский?

– Вернулся.

– Он реабилитирован?

– Кажется, нет. Но дело пересматривается. Он живет под Москвой.

– О нем можно писать?

Кузин поскущел:

– Поговорю с Горшковым. Но я догадываюсь, что он ответит: «Можно, но не упоминая».

– То есть как?

– Ну, не знаю... – уныло сказал Кузин. – Он скажет: «Редакцию интересует этический аспект. А в истории Черкашина он выражен сильнее».

Мы с Кузиным знакомы давно и, хотя встречаемся не чаще двух-трех раз в год, разговариваем по-дружески откровенно.

– Ну вот что: я не буду писать о Снегиреве.

Кузин вытянул шею, длинную, с торчащим кадыком.

– Почему?

– Во-первых, потому, что мне не нравится эта кухня, где один повар готовит обед, а другой его украшает.

– Очень хорошо. Считайте, что я просто рассказал вам эту историю. Во-вторых?

– А во-вторых, я ничего не понимаю в рыбах. Может быть, Снегирев прав? Или не так уж не прав, как вы утверждаете. Как писать о людях, которых я никогда не видел?

Кузин подумал.

– Очень хорошо. Мы заставим их встретиться.

– Каким образом?

– Надо повторить эту дуэль, – сказал Кузин. У него вспыхнули глаза. – И так, чтобы она прошла перед вашими глазами.

– Но это невозможно.

– Почему же? Остроградский освобожден, вернулся, а реабилитация не нужна, чтобы встретиться со Снегиревым в нашей редакции.

– На его месте я бы не поехал.

– О, вы меня не поняли! Они не должны знать, что увидят друг друга. Вы против?

– Нет, но... В этом есть что-то неприятное.

– Вы думаете?

– Что-то предательское. Впрочем, дело ваше.

13

Три ночи Остроградский провел у тети Лизы, дворничихи, служившей в том доме на Петровке, где он жил до ареста. Это было небезопасно, хотя из прежних жильцов почти никого не осталось. Но у тети Лизы был общий ход с лифтершей, и незнакомый человек легко мог обратить на себя ее внимание.

Остроградский был осужден без конфискации имущества, при аресте забрали только шкатулку с письмами и несколько книг. Теперь тетя Лиза отдала ему старую байковую пижаму, патефон и медаль имени Семенова-Тян-Шанского, которую он получил еще до войны. Пижаму и патефон Остроградский тут же ей подарил, а красивую медаль положил в портфель. В портфеле он носил бритвенный прибор, полотенце с мылом, два блокнота с перенумерованными лагерной администрацией страницами и письма Ирины.

Он много успел за эти дни. Он подал заявление о пересмотре дела, и заявление приняли. В 1954 году приговор выглядел неправдоподобным: в числе прочих преступлений Остроградского обвинили в том, что он назвал роман, получивший Сталинскую премию, «дамским рукоделием».

Он побывал у старых знакомых. Одни, как Крупенин, боялись его, другие искусно скрывали страх и даже храбрились, но неуверенно, нервно. Валька Лапотников, которого он знал со студенческих лет, сказал ему: «Ты, брат, на меня не рассчитывай, я теперь сволочь!» – и предложил денег. Остроградский засмеялся и взял.

Но были другие, встретившие его с непритворной радостью: Кульчицкий, Лепестков, Баева, которых он оставил аспирантами и даже студентами.

Миша Лепестков из неуклюжего юноши превратился в неуклюжего мужчину, не переставшего стремительно двигаться плечом вперед, цепляя землю ногами. Его спокойствие поразило Остроградского.

«Вот куда пошло, – подумал он, слушая ровную речь Лепесткова и глядя на его лицо с подернутыми дымкой глазами. – Эти своего добьются, пожалуй!»

От тети Лизы Остроградский переехал к нему на Ордынку. Впервые после ареста ему удалось наговориться вволю о том, что больше всего волновало его, – о науке, о положении в науке.

Положение было совсем другое, чем в 1948 году, хотя укоренившаяся привычка оглядываться, говорить шепотом, не доверять друг другу, инерция страха еще продолжалась.

– Но, как известно, согласно закону инерции, тело сохраняет состояние движения, пока приложенные силы не заставят его изменить это состояние, – сказал Лепестков.

– А силы приложены?

– По-моему, да.

Он упомянул о казни Берии.

– Вы знали?

– Еще бы! В лагерях всё знают.

Но Лепестков рассказал о Берии с такими подробностями, о которых в лагерях не знали.

Они заговорили о факультетских делах, и Остроградский даже хлопнул в ладоши, узнав, что декан П. исключен из партии и уже давно не декан. Генетика не то что разрешена, а как бы самопроизвольно возникла.

– А с неделю тому назад был разговор и о вас.

– Где? По какому поводу?

– В этой комнате. Со мной. Газета «Научная жизнь» собирается напечатать статью о мошенничестве в науке.

– Спасибо, – смеясь, сказал Остроградский. – К моим грехам только этого не хватало.

Лепестков посмотрел на его тонкое, темное лицо:

– Вы мало изменились, Анатолий Осипович. Другие торопятся, нервничают. А вы...

– И я тороплюсь. Так что же с газетой?

Лепестков рассказал.

– Ого, и Снегирева вспомнили?

– О нем-то главным образом и шел разговор.

– Любопытно, – сказал Остроградский. – Не напечатают.

– Я тоже думаю.

– Из-за меня, вот что жалко. Вы не должны были упоминать обо мне.

– Вот еще!

– Разумеется. Я еще не реабилитирован, а Снегирев тут, в сущности, ни при чем.

– Здравствуйте! – смеясь, сказал Лепестков.

– Впрочем, может быть, и при чем, но ведь это, в сущности, мелочь.

– Нет, не мелочь.

Они поужинали. Лепестков достал из шкафчика коньяк, Остроградский отказался, сославшись на сердцебиение. Лепестков выпил и прислушался: тихими вечерами в его комнате был слышен бой часов кремлевской башни. Пробило десять.

– Миша, а как вы попали во ВНИРО?

– Попросился – и взяли. Там спокойнее. Люди дела. Никто не лезет. Кроме того, там Проваторов.

– Хороший человек?

– Да.

– А как вообще?

– Как после тяжелого сна. Медленно приходят в себя. Но уже много молодежи.

– Так Лучинин – академик?

– Да. Знаете, как у нас! Но снегиревская компания держится прочно.

Они помолчали. Лепестков вспомнил, как он впервые, студентом второго курса, пришел к Остроградскому и не застал его дома. Ирина Павловна встретила его. Какие-то художники забежали, и начался длинный спор о живописи, в котором Лепестков ничего не понял. Остроградского все не было, но Ирина Павловна ничуть не беспокоилась, хотя давно прошло время, которое он назначил Лепесткову. Наконец он пришел, опоздав на полтора часа: заболтался с каким-то рыболовом, который понравился ему тем, что удил рыбу спиннингом с Москворецкого моста. Все было полно естественности и простоты: сама Ирина Павловна, разговоры об

искусстве, толстые ломти сыра с хлебом за ужином, маленькая, серьезная дочка, тихо, наста-
вительно поучавшая кукол...

– Анатолий Осипович, я хочу вас спросить. Перед вами прошли сотни людей в лагерях
и тюрьмах. Встречались ли среди них настоящие, убежденные контрреволюционеры?

Остроградский засмеялся:

– Вы думаете, они мне в этом признались бы? Впрочем, в Бутырках я сидел с одним маль-
чиком, который считал себя контрреволюционером. У него расстреляли отца, героя Граждан-
ской войны, и он пытался организовать подпольную группу. Любопытно, что ему дали только
десять лет. В сравнении с мнимыми преступлениями это была ерунда. Подумаешь, подпольная
группа!

– Он погиб?

– Не знаю.

Они устроились на ночь. Миша достал раскладушку. Остроградский не отказался от
дивана, который был коротковат для него и стал впору, когда он сбросил валик.

– Значит, главное сейчас прописка?

– Нет. Главное – реабилитация.

– А в Серпухове можно прописаться?

– Для этого надо найти комнату. Кроме того, жить в Серпухове, а работать в Москве?

– Пока да.

– А деньги? Одиннадцать пятьдесят туда да одиннадцать пятьдесят обратно.

– Деньги найдутся. Завтра поедем вместе в Институт информации и возьмем несколько
книг. Напишите рефераты. Там не спрашивают, кто и откуда. Да хоть бы и спросили! Вам
дадут!

– Спасибо, Миша.

– А жить вам надо у Кошкина.

– Ивана Александровича? – радостно спросил Остроградский.

– Да.

– Ну как он?

– Отлично. Вы никогда не были у него на даче?

– Был, конечно, но давно, еще до войны. Но ведь от Лазаревки до Москвы, по-моему,
километров тридцать?

– Да.

– Маловато.

– То есть?

– Ближе, чем сто, не пропишут. Зона.

Они помолчали.

– Лабораторию бы... – сказал Остроградский и рассмеялся. Самая мысль о том, что он в
своем положении вспомнил о лаборатории, показалась ему забавной.

– Через год.

– Ну да?

– Помяните мое слово. Которое сегодня число?

– Второе декабря.

– Запомним. Доброй ночи.

Остроградский закрыл глаза. На кремлевской башне пробило одиннадцать, потом две-
надцать. Он ходил по камере стиснув зубы и мотал головой. Голодовка. Пятый день. Зубы сту-
чали. Он ходил и мотал головой.

«А ну, не думать об этом!» – велел он себе.

И перестал думать.

– И ну спать!

И уснул.

14

Остроградский прописался в глухом селе под Загорском. Условившись высылать хозяйке пятьдесят рублей в месяц, он вернулся в Москву. Прописка стоила порядочно денег, по теперь он зарабатывал. Он свободно читал на четырех языках, а за рефераты в Институте информации платили недурно.

Жить все-таки было негде, скитаться по друзьям надоело, и он согласился поехать с Лепестковым на кошкиную дачу.

Иван Александрович Кошкин был человеком неукротимым, и не он, а его боялись. Известно, сколько ему было лет, – он ненавидел юбилеи. Должно быть, семьдесят пять, а то и все восемьдесят. Но он был еще крепок – среднего роста, прямой, с желто-седым коком, с глубоко запрятанными, странными глазками, как бы состоящими из одного зрачка.

Он встретил Остроградского и Лепесткова у ворот и провел их в пустую дачу – обокраденную, как он объяснил, еще в годы войны. В сторожке у ворот жила бабка Гриппа, о которой Кошкин сказал кратко: «Жулик». За триста рублей в месяц бабка Гриппа топила две печки – огромную кафельную в столовой и печь-плиту на кухне.

– Таким образом, температура, необходимая для существа, обладающего сложно организованным мозгом и членораздельной речью, налицо, – сказал Кошкин. – Но как быть с едой? Ближайшая столовая в железнодорожном поселке. Три километра. Хорошая, кстати.

– Что ж, буду ходить. Можно брать на дом?

– Не знаю.

– Я поговорю с директором, – сказал Лепестков, – и привезу вам судки.

– Спасибо.

– Сюда бы еще одно существо, обладающее сложно организованным мозгом, – сказал Кошкин. – Женского пола.

Остроградский засмеялся:

– Да. И даже не с таким уж и сложным.

Лепестков бродил по даче, неприбранной, закопченной, с продырявленными диванами и колченогими стульями. На втором этаже, в пустой комнате, лежали на полу старые журналы. Он повернул выключатель – лампа, висевшая на длинном шнуре, не зажглась. «Сюда бы еще одно существо... – Он подумал о Черкашиной. – Нет, далеко. Не поедет».

Из окна был виден двор с одной разметенной дорожкой к дому. Толстые овальные змеи снега свисали с забора. «Оленьку пришлось бы взять из детского сада. Кроме того... В пустой даче, одни. Ну, это-то вздор». Старое лицо Остроградского, с впалыми висками, вспомнилось ему. «Разумеется, вздор».

Шаги послышались на лестнице. Кошкин вошел и сказал негромко:

– Вешает картину.

Он говорил о маленьком полотне Ирины Павловны, которое нашлось у Ани Долгушиной. Остроградский взял его и повсюду носил с собой.

– Какая женщина была, – сказал Кошкин с горечью, со злобой. – Умерла просто потому, что не могла без него жить. Какой свет от нее был всегда! Такую не забудешь.

– Не надеялась?

– Нет. Когда его взяли, она ко мне на другой день пришла с дочкой. Я кинулся утешать, обнадеживать. Она сказала только: «Вот и все».

Они помолчали.

– Иван Александрович, ведь вы не пользуетесь верхом?

– Ни верхом, ни низом.

– Если Анатолий Осипович будет жить внизу, лучше совсем закрыть мезонин. Будет теплее.

– Делайте что хотите.

– Как он, по-вашему? Ничего, правда?

– Не ничего, а отлично. Я вчера от книжной полки не мог его оторвать. Уже шатается от усталости, глаз не может поднять, а все стоит, читает. Не садился, чтобы не уснуть. Я чуть не заплакал. Ну ладно. Пошли-ка вниз.

Они спустились. Остроградский прилаживал к окну летнюю штору из палочек, выцветшую, растянувшуюся, но от которой в комнате сразу стало уютнее. Она уже уходила у него вверх и вниз. Стол стоял у окна, пустая книжная полка передвинута. Лепестков сказал о сваленных книгах наверху и что мезонин надо забыть. Но Остроградский попросил не забывать, пока он не разберет книги.

– Превосходно, – сказал он и расхохотался, провалившись в жалобно зазвеневший диван.

– Нужно его выбросить и купить раскладушку, – сказал Иван Александрович.

– Ничуть не бывало! Я его почию. Сниму обивку и перетяну пружины. Нет, все хорошо.

Если ваша бабка не сексот.

Кошкин засмеялся:

– Анатолий Осипович, вас реабилитируют через два, много три месяца. Сейчас это делается скоро.

– А прописка?

– И пропишут.

– Вашими бы устами...

Они помолчали.

– Мне пора, – сказал Лепестков.

– Сейчас поедет, мой дорогой, – сердечно отозвался Кошкин. – Как ваша книга?

– Пишу.

– Вы хороший человек. Анатолий Осипович, все ваши ученики такие хорошие люди?

Лепестков засмеялся:

– Все. А у вас?

– А у меня их нет, – вздохнув, сказал Кошкин. – Кто в ссылке умер, кто – вернувшись из ссылки. А кто... «Прежде чем петух пропоет трижды, ты отречешься от меня».

Он сидел хмурясь, крепко положив кулаки на худые колени. В красном свете печки он был похож на сердитого тролля со своими медвежьими глазками, грозно выглядывающими из мохнатого окружения.

– Вы помните Карманова? – спросил он.

– Нет.

– Разве вас посадили до сессии ВАСХНИЛ?

– Нет, после.

– Знаете, что он мне сказал накануне своего выступления на сессии? «Что поделаешь, Иван Александрович, у меня трое детей и одна нога».

Бабка Гриппа вошла в столовую и, не поздоровавшись, стала шумно орудовать в печке кочергой. Искры вспыхнули, осветив ее лицо, старое и самодовольное, со вздернутым носом.

– А где Рогинский?

– Он был исключен из партии в сорок девятом году. Долго ходил без работы. Потом устроился в Геологический институт.

– Геологический?

– А что делать? Но сейчас все меняется.

– И в академии?

– Да. Лучинин прошел на последних выборах.

– Я знаю. Это важно.
– Еще бы! Гладышеву поручена организация нового научного центра.
– Где?
– В Днищеве.
– Что за человек Гладышев?
– Умен как дьявол. Неприятно самоуверен, резок. Знает, что очень нужен, но пользуется этим умело. Не раздражая. Осторожен, пока это не мешает делу. А тогда уже и неосторожен! Он мне нравится. Где же вы будете спать? Я привез постельное белье и подушку.
– Спасибо, Иван Александрович. На диване.
– Провалитесь.
– Наплевать.
– Сейчас все устрою, – сказал Лепестков.
Он поднялся на мезонин и принес две большие ковровые подушки.
– Вот и хорошо.
– Вы сошли с ума, – отнимая подушки, сказал Иван Александрович. – На них спала Мальва.
– А кто это – Мальва?
– Собака.
– Прекрасно, – ловко устраивая постель, возразил Остроградский. – А теперь на них буду спать я.

Кошкин с Лепестковым ушли. Он был один. Натюрморт Ирины висел на стене, лимонно-желтые цветы в старом медном кувшине. Он помнил этот кувшин, но забыл натюрморт. «Хорошо ли я его повесил? Перевешу, если будет отсвечивать днем».

Он погасил лампу, и в комнате медленно установились два света: красный, теплый, живой от разгоревшейся печки, и зимний, лунный – от голого, незадернутого окна. Он нарочно не опустил шторы. Кувшин можно было угадать только по блику, но цветы воздушно светились над грубыми, косо срезанными досками стола.

15

У Черкашиной было хорошее детство в лесу, в Подмосковье, – и с тех пор в памяти осталось счастливое ощущение каждого нового дня как события. Она много думала тогда, ей было весело следить, как дни повторялись и все-таки не повторялись. Теперь ей казалось, что у нее вообще нет никаких мыслей, а есть только чувства, которыми – если это так уж необходимо – можно даже и думать. Если думать мыслями – такой теорией она любила дразнить Лепесткова, – жизнь давно кончилась и только кажется, что она, Черкашина, еще существует. А если думать чувствами... И она начинала смеяться, потому что на добром лице Лепесткова появлялось страдальческое выражение.

Ее короткая семейная жизнь давно была позади. Теперь ей казалось, что в этом браке ничего не было, кроме вспыхивающих ссор и длинных разговоров, почему-то ночами, когда ей мучительно хотелось спать. Может быть, она не любила мужа? Инстинктивно она старалась, чтобы он об этом не догадался. И он не догадывался.

Он был глубоко погружен в себя, в свои стихи, в свои дела, академические и общественные, в дела своих земляков, с которыми он виделся и переписывался постоянно.

Когда он умер, ей едва минуло двадцать три года. Она ушла из университета, поступила на работу. От прежней жизни осталась Оленька, которая была до странности похожа на мать. Обе одинаково смеялись, одинаково, не раздумывая, принимались за любую работу, одинаково смотрели в сторону и вдруг поднимали разбегающиеся глаза.

Муж страдал бессонницей, а после его смерти и Черкашина стала тревожно и мало спать – точно он наказал ее бессонницей за то, что она о чем-то не подумала, что-то упустила. С вечера она засыпала, прислушиваясь к своему дыханию, которое становилось все ровнее и наконец уводило ее за собой. И вдруг просыпалась, всегда с одним ощущением: она прыгает вниз с подоконника, смеясь, отлично зная, что не упадет, полетит. Но падает медленно и неотвратно.

Так было и в этот расстроивший ее последний день 1954 года. Она падала уже мертвая, со сложенными на груди руками, и мостовая была совсем близко, когда она открыла глаза. В сырой комнате был полумрак раннего зимнего утра. Косой прямоугольник света лежал на полу. Он медленно двигался. Она долго следила за ним. Оленька спала, уткнувшись головой в подушку. Черкашина вспомнила, как вчера она зашла за ней в детский сад, дети бегали вперегонки, а Оленька отстала сразу – побледнела, а потом уже не бежала, а торопливо шла, улыбаясь, на неверных ножках. И сейчас, когда Черкашина повернула ее на бочок, из-под спутанных волос показалось бледно-розовое личико, в котором было что-то болезненное. «Или мне это кажется?» – с упавшим сердцем подумала Черкашина.

Миша Лепестков забежал рано, в девятом часу. Она торопилась на работу, опаздывала, а надо было еще отвести Оленьку в сад. Но то, что он сказал, сразу заставило ее забыть все свои дела и заботу.

– Что вы говорите, Миша? Не понимаю. Куда переехать? Какая дача?

Он объяснил.

– Да бог с вами! А Оленька?

Лепестков ответил, что Оленьку нужно, разумеется, взять с собой.

– А с кем она будет оставаться? Дача пустая?

– Не совсем. Там живет один человек.

– Женщина?

– Нет, мужчина. Остроградский. Вы знакомы?

– Нет. – У нее было растерянное лицо. – Какой Остроградский?

– Тот самый. Он вернулся из ссылки. В Москве у него нет квартиры.

– Тот самый?

Ольга Прохоровна была на одной лекции Остроградского. Он тогда уже оставил преподавание, но два-три раза в год выступал перед студентами всех курсов по самым общим вопросам океанографии. Ей запомнилась его легкость, он не вошел, а вбежал на кафедру. Он был моложавый, тонкий и говорил сложно, но свободно, с уверенностью, что его понимают.

– Он живет там один?

– Да.

Она рассердилась:

– Значит, Оленька будет целый день с незнакомым человеком, а я в Москве буду умирать от беспокойства. Так?

– Да, – сказал Лепестков. У него был несчастный вид.

– Прекрасная мысль.

– Там очень хорошо. Лес.

– Да знаю я Лазаревку!

– Воздух. Там живет еще бабка. Она топит. Помогать не станет.

– Еще лучше. Значит, мне надо вставать в пять часов, готовить для Оленьки, бежать на поезд, а потом...

Она села и расплакалась.

– Ольга, да полно, что вы! – Растерянный Лепестков гладил ее по плечу. – Ну, забудьте об этом. Вы же сами... Когда еще будет другая комната!

– Никогда, – плача говорила Черкашина. – Господи, неужели я не понимаю, что это было бы прекрасно, чудесно. Оленька проводила бы на воздухе целые дни, она быстро поправилась бы, и я была бы там счастлива, потому что люблю лес и устала. Но это невозможно. Неужели вы не понимаете, что это невозможно?

– Понимаю, – подтвердил Лепестков. – Не будем больше говорить об этом.

Они вышли вместе. Лепестков отвел Оленьку в детский сад, Ольга Прохоровна поехала на работу. Но весь день она не переставала думать о Лазаревке.

Лесничество, в котором служил отец, было в пяти километрах от Лазаревки. Она бегала в школу на лыжах. Петька Четунов провожал ее, и сперва они шли молча, догоняя и перегоняя друг друга. Потом Петька начинал длинно рассказывать об «отражении скачка царизма на Кавказ в творчестве Лермонтова» – он решил поступить на филфак. Дорога шла через ельник, посаженный отцом, и ельник был чем-то похож на отца – прямой, как будто бодро идущий куда-то. Можно было, не сворачивая, дойти до лесничества. Но они сворачивали – и березовая роща открывалась, просторная, светлая, с черными полосками на белых стволах. На нее надо было смотреть сразу, одним взглядом, чтобы потом, закрыв глаза, увидеть ее всю, с розовым туманом, светившимся в глубине, с опрокинутыми навзничь тенями.

Все происходившее в мире было связано с лесом, и когда Петька неловко, не снимая лыж, целовал ее в крепко сжатые губы, в этом тоже каким-то образом участвовал лес, но не шагающие елочки, не березовая роща, а густой осинник, где на нежных веточках лежали тяжелые мохнатые кубики снега. Они сбивали снег палкой, и деревце распрямлялось, как будто нехотя, сонно.

Потом отец ушел в армию, и лес кончился, а с ним – тишина, чистота, детство. Начался город, осторожно поползли по затемненным улицам трамваи с синими лампочками, прикрытыми козырьками...

Москва шумела и волновалась в последний день года, магазины были переполнены, ей с трудом удалось купить для Оленьки елочный набор и конфеты. Елку из той же Лазаревки к вечеру обещал привезти Лепестков.

На работе все говорили о встрече Нового года, день был уже праздничный, торопливый, стремительно мчавшийся к ночи, – и Ольга Прохоровна невольно спешила вместе с другими. Неподвижным, нетронутым осталось только видение светлого, тихого дома в лесу.

16

Первым пришел Остроградский – и не один, с учениками. Нас познакомили. Он поздоровался и сел, с интересом поглядывая вокруг. Он был спокоен. Очевидно, Кузин сдержал обещание и не сказал ему, кто должен прийти вслед за ним. Снегирев опоздал.

Я кое-что прочитал об Остроградском, перелистал его книги и теперь, увидев его, решил, что нет ничего удивительного в том, что эти книги написал именно он. У него было худощавое смуглое лицо с заметной родинкой на подбородке. Смуглота была располагающая, мягкая. Манера говорить тоже мягкая, но с внезапно пробегающей едкой и свободной улыбкой.

– Я думаю, нет необходимости ждать, – сказал Горшков. Я не видел его несколько лет. Он постарел и, кажется, больше, чем прежде, боялся, что ему скажут об этом. – Позвольте представить вам... – Он назвал мою фамилию. – Хотелось бы, Анатолий Осипович, прежде всего выслушать вас.

Остроградский заговорил – и уже через десять минут я понял, что разработка Кузина, при всей своей обстоятельности, была далеко не полна. Ей не хватало того, что угадывалось за каждым словом Остроградского, – всей картины науки в целом. Он говорил, не забывая об аудитории, с удивительной простотой:

– Дело в том, что Каспий существует, как известно, уже много тысячелетий изолированно, так сказать сам по себе. Между тем его исходная фауна некогда была очень сходна с Черным морем. Потом он пережил свою историю, в которой были периоды, когда морские элементы вымирали, заменялись более пресноводными. И вот явилась простая мысль – а нельзя ли вернуть Каспию элементы, которых не хватает в его биологическом хозяйстве? Ну, точно так, скажем, как после веселой встречи Нового года в квартире может оказаться нехватка посуды. Разбили что-нибудь, кофейные чашки. Вот эта-то мысль, разумеется, в несколько более сложной форме и была высказана впервые еще в 1932 году¹³.

Но вот он заговорил о сорок восьмом годе – тоже спокойно. У Горшкова стало осторожное лицо. Остроградский взглянул на него и улыбнулся. Он кратко рассказал историю двух экспедиций, заметив вскользь, что одна из них отправилась в путь только потому, что Снегирев упорно называл белое – черным. О поисках кольчатого червя после войны он сказал так: «Осетр нашел его раньше, чем мы». Вопрос давно решен, и, по-видимому, к нему намерены вернуться только потому, что эта история практически почти остановила акклиматизацию, не правда ли? Ихтиология ушла далеко вперед за последние годы.

Грузноватый человек лет пятидесяти, в нарядном новом костюме, вошел в комнату. Остроградский замолчал. Все остановилось – точно на сцене без занавеса, когда следующий акт начинается после мгновенного оцепенения. Нет, оба не знали!

– Продолжайте, Анатолий Осипович, – сказал Горшков.

Остроградский курил, не поднимая глаз. Он не оставлял сигарету, пока она не начинала жечь пальцы. Руки были большие, крепкие, с поблескивающей кожей.

Он снова заговорил – вот когда стало видно, что впервые за много лет он получил слово! Он спохватывался иногда, связывая далекие на первый взгляд события в науке, но все это были именно события, а не просто факты, и он чувствовал себя среди них как дома.

Ученики слушали его именно как ученики – со спокойной гордостью и даже как будто немного хвастаясь им.

– Который Лепестков? – шепнул я Кузину.

Он показал. Лепестков был крепкий, нескладный малый, с большими руками и ногами – и со странным взглядом: он смотрел прямо, а казалось, что косо.

– А рядом – Людмила Васильевна Баева.

Баева была круглая, с румянцем во всю щеку, ежеминутно встряхивающая головой, кудрявой, как у амура.

17

– Мне бы хотелось, чтобы вопрос был рассмотрен в другом составе, – сказал Снегирев. У него были большие темно-карие, быстро оглядывающие и прячущиеся глаза.

Кузин нервно возразил: «Почему же? Редакции нужно объективно установить... Никто, кроме вас, не выступал против...» Горшков остановил его.

– Перед нами две точки зрения, – мягко сказал он. – А истина, как известно, рождается в спорах.

Снегирев начал с оправданий. Он заговорил – довольно бессвязно – о каких-то интригах, о том, что с ним перестали кланяться после того, как он написал отзыв об Остроградском.

В свое время Комитет по Сталинским премиям предложил ему написать отзыв о книге Остроградского. Это была обыкновенная рецензия, уверял он. Причем вовсе не отрицательная. О вредительстве ни слова. Вывод был: «Работа не кончена и требует подтверждения». Когда

¹³ В действительности эта идея и ее практическое воплощение принадлежат известному зоологу и гидробиологу Л. А. Зенкевичу.

на факультете работала особая комиссия, откуда-то стало известно об этой рецензии, и хотя он, Снегирев, ни за что не хотел ее показывать – в конце концов пришлось. Уговорили. Более того – приказали.

– В чем сущность спора? – спросил Горшков.

И Снегирев говорил еще полчаса. Сущность спора в том, что кольчатый червь – хищник и акклиматизация его в худшем случае вредна, а в лучшем – бесполезна. Он тянул, повторялся, жаловался. Выигрывал время?

Наконец его перебила Баева. Она называла Снегирева на «ты», – очевидно, они прежде были в дружеских отношениях.

– Валерий, ты сказал, что с тобой перестали кланяться?

– Да.

– Почему?

Снегирев снова длинно заговорил.

– Ох! Как в повторяющемся сне! – сказала Баева и засмеялась. – С тобой перестали кланяться, потому что твой отзыв об Остроградском был построен, мягко выражаясь, на извращениях. Причем сознательных. Ты сознательно обманул особую комиссию. Правда, время было такое, что ей хотелось быть обманутой, но это другой вопрос. Ты и мне грозил. Когда я к тебе пришла – доброжелательно, кстати, – что ты мне сказал? «Защищая Остроградского, ты делаешь страшное дело. Не знаю только, сознательно или бессознательно». Я сказала: «Сознательно». Ты ответил: «Тем хуже для тебя». Прямо или косвенно, ты грозил всем, кто защищал Анатолия Осиповича. Как это называется?

– Прошу меня оградить, – сказал Снегирев.

Я посмотрел на него: похоже было, что он начинает терять равновесие. Глаза сузились. Очевидно, ему трудно было сдерживаться – а приходилось! Под округлившимся – с годами? – лицом чувствовались энергичные скулы, сильно выгнутые надбровные дуги.

Горшков сказал что-то туманное и успокоительное: «Целью нашей встречи отнюдь не является выяснение отношений...»

– Насколько я понимаю, – возразила Баева. – Цель нашей встречи – возобновление работы?

Вошел опоздавший на добрый час директор Института рыбного хозяйства Алексей Сергеевич Проваторов и сразу же стал говорить, крепко сжимая руками спинку стула. Снегирев терроризировал ученых, которые были с ним не согласны. Он называл их механистами, обывателями или просто дураками. Он, Проваторов, лично слышал, как Снегирев говорил заместителю министра, что Остроградский – вредитель. Давайте называть вещи своими именами, это была беспринципная травля, кончившаяся трагически. А кто поставил вопрос в Госплане?

Было странно и трогательно видеть, как этот огромный, седой, с гордой осанкой, похожий на артиста человек говорил, волнуясь, как мальчик.

– Можно узнать? – Я обратился к Остроградскому, который молча курил, не принимая участия в разговоре. – Если бы ваша группа возобновила работу не в Каспийском, а, скажем, в Аральском море, это встретило бы сопротивление?

Остроградский ответил:

– Да. И в опасной форме.

Все замолчали. Потом снова заговорили, как будто удостоверясь, что, хотя скрытая сторона дела названа наконец, с нею все равно нечего делать.

Снегирев больше не оправдывался. Он напал – сперва нерешительно, а потом нагло: «Вы наговариваете!», «Этого не было!», «Вы сочиняете!».

Он был уже совсем другой, чем в первые минуты встречи, когда, почувствовав опасность, он медлил, сдерживался, выжидал. Теперь он не выглядел ни взволнованным, ни смущенным. Иногда у него становилось обиженное, как у ребенка, лицо.

Дважды над ним смеялись, и это было почему-то страшно. В первый раз, когда его уличили в том, что он написал для декана П. программное выступление, и он возразил растерянно: «А что же я мог сделать?» И в другой раз, когда он сказал что-то о новом методе промышленной разведки. Очевидно, это было невежественным вздором. Он не вспылывал – только показал и спрятал бешеные, налившиеся кровью глаза.

Потом заговорил Лепестков, упираясь прямо в лицо Снегирева немигающим взглядом, – и это было так, как будто он растолкал бегущих, взволнованно спорящих людей и, тяжело ступая, пошел к намеченной цели. Он сказал, что убежден в неизбежности победы правды в науке, потому что страна не может развиваться без этой победы. Но мы не герои Гомера, чтобы довериться Року.

– Допустим, что завтра у меня появится мысль, что в Москве-реке течет молоко, а не вода. Легко опровергнуть, но лишь в одном случае – зная, что вам ничего не грозит. А если еще поставить вокруг высокий забор и объявить работу секретной...

Он заговорил о том, что мы не имеем права обсуждать вопрос в академической форме. Фальсификация в науке не отвлеченное понятие. Студент Черкашин покончил с собой, потому что Снегиреву понадобились фальшивые данные для отчета. Борьба против Остроградского привела к его аресту, и если мы теперь видим его среди нас, мы обязаны этим не Снегиреву.

С неторопливостью историка Лепестков раскрывал истинные мотивы этой борьбы. Он как будто шел по темному коридору, распахивая двери в одну комнату, потом в другую. Из туго набитого портфеля он доставал документы, разумеется в копиях. Среди них, в мертвом молчании, была прочитана и та «общая характеристика» Остроградского, которая, очевидно, решила его судьбу.

Теперь Снегирев говорил уже только: «Ложь!», «Почему вы мне не сказали о составе совещания?».

Потом он сказал:

– Все мои работы я не публиковал, чтобы не обострять спора.

Снова рассмеялись. Невесело на этот раз.

Остроградский курил, не поднимая глаз.

– У меня старые сведения, – сказал он, – помнится, уже к сорок шестому году размножение кольчатого червя дало немалый эффект. Если не ошибаюсь, только в Северном Каспии дело шло к двум миллионам центнеров рыбы по живому весу. С тех пор прошло почти восемь лет. Надо полагать, что рыбы ели червя, несмотря на то что меня посадили в тюрьму, так что сейчас эта величина приближается, вероятно, к четырем миллионам. Необходимо продолжать работу.

Снегирев снова стал возражать, хотя говорить было больше не о чем. Его не слушали. Остроградский внимательно разглядывал свои руки, потом занялся карандашом, лежавшим перед ним на чистом листе бумаги. У него было усталое лицо. «Не разговаривать так долго, а убить Снегирева – вот это было бы, пожалуй, ему по плечу», – подумалось мне, когда он поднял глаза, спокойные, с блеснувшей полоской белка.

18

Смеркалось. Погода погрубела к ночи. Редкий жесткий снежок стал виден в свете вспыхнувших фонарей. Еще полчаса – и пурга, как в поле, замела во всю ширину Садовой. Снегирев поднял воротник и, сняв перчатку, прикладывал теплую ладонь к замерзшим губам. Он шел и шел, прикидывая, рассчитывая. От кого идет затея, хотел бы он знать. Конечно, от ВНИРО. И тогда, в сорок девятом, Проваторов упорствовал. А теперь там еще и Лепестков! Они! Они! В свое время он, Снегирев, жаловался на Проваторова министру. Копия письма сохранилась, и надо послать ее в редакцию, чтобы сразу стало ясно, что это за птица. Он заскрежетал зубами,

вспомнив, как над ним смеялись. Они старались, этот сука Лепестков, убедить редакцию, что он невежда. Ладно, еще посмотрим! Надо поехать к редактору и передать ему, во-первых, – он загнул палец – свидетельство Главрыбпрома о том, что им, Снегиревым, – и никем другим – разработан новый метод промысловой разведки. Во-вторых, – он загнул другой, – что техсовет министерства поддержал его предложения по проблеме Керченского пролива. В-третьих, автобиография. Чтобы эти сволочи знали, что в двадцатом году он добровольно вступил в девяносто шестой Вохровский полк и дрался с белобандитами и с девятнадцати лет учительствовал в деревне, а потом десять лет бился, чтобы поступить в университет.

Слезы выступили у него на глаза, когда он вспомнил, как ходил кочегаром на траулерах, и как было трудно готовиться в университет без образования, и как на первом курсе ему, тридцатилетнему, было стыдно среди девчонок и мальчишек. И как он униженно просил Кошкина поставить ему зачет, и Кошкин засмеялся, когда, желая польстить, он нечаянно назвал его не «маститым», а «мастистым». Погодите же, погодите!

Прошло уже два часа, как он вышел из редакции. Он забыл о Ксении, которая ждала его. Потом вспомнил, и тоже со злобой: «А, хрен с ней, пускай ждет!» Значит, документы, автобиография, письмо по поводу Проваторова, что еще? Список работ.

С Остроградским можно договориться, потому что в Воркуте или на Магадане – где он там был – его, надо полагать, кое-чему научили. Но сделать это надо с оглядкой, осторожно, не задевая самолюбия, так, чтобы ему даже в голову не пришло, что его покупают. Повод есть. Крупенина жаловалась, что, когда Остроградский был у них, Василий встретил его мордой об стол. Так вот, завтра же Василий поедет к нему и извинится. У Остроградского ни кола ни двора – осторожно пообещать квартиру. И кафедру – еще более осторожно. Или лабораторию. Это, пожалуй, даже проще. Согласится! Статья может принести ему только вред, и он это должен понять, если он не дурак, а он совсем не дурак. Не Снегирев судил и приговаривал его, а насчет сигнала – ну что ж! Это был его долг. Был и остался. Тут ничего не выйдет у них. Все знают, что тут только толкни – такое посыплется... Куда там Снегирев, всполошатся и другие, почище! Жаль только, что он давно не звонил Кулябко. Он мысленно увидел Кулябко, смешливого, с узкими плечами, с черным хохолком, часто вскакивающего из-за стола без всякой причины: «Ага, пожаловал, когда прижали!» Ничего, обойдется, заговорю о нумизматике, подарю Алешкину монету. Этот не выдаст.

А если выдаст? Снегиреву стало жарко, он снял шарф и сунул его в карман пальто. Ведь выдаст же – и с головой, если откроется черкашинская история! Такое не любят. Он стал думать об этой истории, которая была плоха тем, что от нее могли остаться – и даже наверное остались – документы. Остались предсмертные письма Черкашина в партбюро и отцу и письма отца в «Правду», в «Известия» и министру высшего образования. По предложению «Известий» была создана комиссия партбюро, от которой, в свою очередь, сохранились протоколы. Что, если этот бульдог Лепестков с его хваткой возьмется поднимать черкашинские бумаги?

Он не позвонил домой. Мария Ивановна ждала его, расстроенная, болезненно шурясь, догадываясь, что произошла неприятность. Стол был накрыт, но он не стал ужинать, только выпил чашку крепкого кофе и ушел в кабинет.

– Валерий!

Он так огрызнулся, что она отшатнулась.

...Он работает всю ночь. Автобиографию нужно переписать, одно подчеркнуть, а другое оставить в тени. Из письма по поводу Проваторова нужно вычеркнуть слишком резкие выражения. Из политических намеков оставить один, много – два. Никто с подлинником сверять не будет. Он перестукивает письмо на машинке.

Еще ночь, но ощущение слепого зимнего утра возникает за темным окном, за опущенной шторой. Он закрывает машинку, складывает бумаги. Кажется, все? Ноги горят, он ходит по кабинету, по коридору босиком, пол приятно холодит ноги. Дверь в Алешину комнату

приоткрыта, он заглядывает, и вид слабо освещенной, спокойной, чистой комнаты, в которой ровно, бесшумно дышит спящий мальчик, успокаивает его. Все будет хорошо. Он возвращается, ложится в постель, закрывает глаза. Спать, спать! Не уснуть.

Бессонница бродит по городу, для нее нет закрытых дверей. Он принимает прохладную ванну и безвредное иностранное снотворное средство. Он лежит на спине, глядя в потолок, начинающий заметно светлеть. Все будет хорошо. Спать, спать! Завтра трудный день, надо уснуть. Не уснуть.

И Лепесткову не спится в эту долгую январскую ночь. Только что развиднелось, а он уже на ногах. Он разжигает печку, вороша еще не погасшие угли, и, надев полушубок, нахлобучив треух, отправляется на Кадашевскую набережную к тем домам, к тем окнам подвальных квартир, против которых стоят буквой «п» кирпичные стеночки, огораживающие от весенних разливов.

Пусто в городе, пусто на набережной, никому нет дела до мужчины в полушубке и треухе, который, присев на корточки, начинает осторожно разбирать одну из этих стеночек. Он взял с собой молоток, но не пригодился молоток, старый цемент крошится под руками. Кирпичи он складывает в сторонку, а потом, по три, по четыре, относит во двор соседнего дома. Спорится работа. Редкие прохожие идут мимо, не обращая внимания. Но вот милиционер показывается из переулка и неторопливо подходит к нему.

– Разбираете?

– Да.

– А как же весной?

– Снова сложу.

– Живете здесь?

– Да. – («А ну пойдете проверять?») – Мало свету. Одиннадцать процентов от нормы.

Девочка маленькая, жалко.

– Ясно, жалко. Давно бы уж эти подвалы. . . Комнату хлопчете? Сейчас многие получают.

– Да. – Лепестков осторожно отваливает кирпичи, складывает, несет на соседний двор.

– Девочка-то дочка?

– Вроде.

19

Это было несложно – доказать, что нельзя обманывать государство и что совесть полезна и даже необходима для человека науки. Но как написать о повороте 1948 года, после которого появилась возможность превратить удавшийся опыт акклиматизации в политическое преступление? Чем была для Снегирева эта возможность? Как написать сцену в редакции – не сцену, а то, что скользило, угадывалось за сценой! Ведь Остроградскому не только тяжело было – я это понял – вспоминать о том, что произошло, но стыдно за Снегирева?

Я позвонил Кузину и попросил его приехать.

Как всегда, он явился немедленно – в новом костюме, подстриженный, франтоватый и почему-то все-таки похожий на гремящего заржавленными латами Дон Кихота.

– Собрался с женой на концерт, – объяснил он, – и обрадовался, когда вы позвонили. Жена пойдет с Еленкой – это моя сестра, – а мы займемся интереснейшим делом.

Он принес папку, на которой было оттиснуто «Папка для бумаг», очевидно, чтобы никто не мог усомниться в ее назначении.

– Вы знаете, что это такое? Документы, которые главный редактор вчера получил от Снегирева. – Кузин смотрел на меня, значительно щурясь. – Основная цель – доказать, что он отнюдь не невежда. Вот список его работ. Из двадцати опубликовано девять. Дважды указана одна и та же статья под слегка измененным названием. В научных журналах напечатаны пять,

остальные в журнале «Рыбное хозяйство». Это – липа. В редакции он больше всего боялся попасть впросак. И попал, если вы заметили. Сейчас он мечется как бешеный, стараясь угадать, откуда удар. Ему и в голову не приходит, что редакция серьезно, без предубеждения, интересуется фальсификацией науки. Интересно, кстати, что он думает о вас? – спросил Кузин и засмеялся. – Но вернемся к бумагам. Оставим автобиографию, хотя она полна недомолвок. Не станет же он, в самом деле, упоминать, что после черкашинской истории был отстранен от преподавания. Это перечень нехарактерных фактов, которые могут составить жизнь десяти людей, нисколько не похожих на Снегирева. Отложим и другие бумаги. Начинается самое интересное. Вы любите подслушивать?

– Нет.

– А придется! Снегирев заявил, что совещание было «подстроено», и потребовал, чтобы редакция опросила ученых, поддерживающих его точку зрения. У вас есть отводная трубка?

– Нет. Есть второй аппарат.

– Где?

– В столовой.

– Жаль. Мы могли бы обмениваться мимикой.

Он набрал номер.

– Можно профессора Данилова? Здравствуйте, Георгий Константинович. С вами говорит Кузин, сотрудник газеты «Научная жизнь».

Я прошел в столовую и снял трубку.

– ...Извечный спор, – услышал я сухой, напряженный голос. – Кто прав? Трудно сказать.

– И все-таки? – спросил Кузин.

– Я, в сущности, мало занимался этим вопросом.

– Но разве вы не участвовали в снегиревских экспедициях?

– Я не мог отказаться.

– Почему?

Молчание.

– Аллю, – осторожно напомнил Кузин.

– Повторяю, эта тема не входит в круг моих интересов.

– Благодарю вас. – Кузин положил трубку. – Вы слушаете? – крикнул он мне.

– Да.

– Недурно для начала... Профессор Челноков?

– Да.

– С вами говорит...

Челноков начал с того, что не хочет «встревать» в затянувшийся спор, а потом, вдруг засмеявшись, сказал, что «положительное значение работы Остроградского не вызывает сомнений». Судя по голосу, это был человек легкомысленный, добродушный и толстый.

– Я ведь ботаник, – сказал он, – так что Снегирев зря ссылается на меня в этом деле.

Кузин простился.

– Профессор Нечаева? С вами говорит...

Профессор Нечаева испугалась, узнав, кто с ней говорит. «Оставляя в стороне моральные качества Снегирева», – сказала она и опять испугалась. На вопрос, считает ли она работу Остроградского полезной, она ответила загадочно: «Безусловно, если мы докажем, что она не приносит вреда».

– Идите пить чай, – крикнул я Кузину.

– До чая ли тут?

Уклонялись все, с кем он разговаривал, но гением уклончивости оказался какой-то доцент Клушин, который сказал, что фальсификацией науки, с его точки зрения, занимался

не Снегирев, а Остроградский. Но имеем ли право его осуждать? Он, Клушин, думает, что не имеем!

– Даже Дарвина в свое время упрекали в фальсификации, – сказал он.

Кузин повесил трубку и вытер платком усталое, но веселое лицо.

– Одно из двух, – сказал он, перебирая листки, на которых были записаны разговоры, – либо наш герой не успел предупредить своих подручных, либо они его уже не боятся.

За чаем я сказал ему, что не буду писать о Снегиреве.

– Почему?

– Потому что мы с вами тоже немного Снегиревы, иначе нам не пришла бы в голову бессердечная мысль, что они не должны знать о приходе друг друга. Мы заставили Остроградского встретиться с человеком, который переломил его жизнь. Его несчастье было выставлено напоказ, а он из тех людей, которые даже врачу стесняются пожаловаться на болезнь. Но дело еще и в другом. Откуда взялся Снегирев? Ручаюсь, что над первой подлостью и он задумался, в особенности если можно было ее обойти. И вы станете меня убеждать, чтобы я написал об этом? Нет, вам нужна статья, в которой все было бы приглажено, прибрано, стерто.

Позвонил телефон. Я снял трубку:

– Кто говорит?

– Ваш читатель и почитатель, – ответил мягкий и, как мне показалось, застенчивый голос. – Случайно узнал, что газета «Научная жизнь»...

Мимика все-таки пригодилась. Я только поднял брови, и Кузин, подпрыгнув, как кузнечик, кинулся в кабинет.

– Извините постороннего, но глубоко расположенного к вам человека. Не беритесь за эту статью. Вы даром потеряете время.

– Почему?

– Она не будет напечатана.

– А если будет?

– О, тогда... Ну, не знаю. Не стоит загадывать.

– Это угроза?

– Угроза? – с тем же оттенком застенчивости переспросил мой собеседник. – Почему же? Напротив. Забота!

Он положил трубку. Кузин выскочил из кабинета.

– Ну-с? – спросил он, подступая ко мне с грозным и торжествующим видом.

– Буду писать.

20

К Крупенину лучше было идти с женой, чтобы поговорить с ним, пока дамы будут трещать о том, что в Столешниковом можно достать французские духи, а на Шаболовке продаются немецкие торшеры. Хорошо, кабы Крупенин не испугался. Он и прежде был трус, а теперь – с чего бы? – стал бояться собственной тени.

Они сидели в кабинете, женщины после ужина остались в столовой.

– Ох, стрекочет, – сказал Снегирев. – Хорошая у тебя Лариса.

– Ничего, – самодовольно улыбаясь, ответил Крупенин.

– Откровенная, прямая. Послушай, а ведь она была права, когда сердилась на тебя за то, что ты так холодно встретил Остроградского. Вы же когда-то дружили.

У Крупенина стало серьезное лицо.

– Почему же холодно?

– Она говорит, что ты мычал, – смеясь, сказал Снегирев. – Это, брат, не дело. Тем более что посадили его, очевидно, зря. В этом, кажется, не приходится сомневаться?

Крупенин пошевелился в кресле. Он смотрел на Снегирева странно.

– На твоём месте я бы встретил его совершенно иначе. Он крупный ученый. С заслугами. Он выжил – факт, с которым так или иначе приходится считаться. Сейчас это даже модно – устраивать невинно пострадавших. Подумаем, как ему помочь? Проигрыша не будет.

Крупенин извинился и вышел – проститься с сыном, как он объяснил. Он обожал сына. Каждый вечер перед сном Женя задавал отцу заранее приготовленные вопросы.

– Так ты говоришь, надо помочь? – сказал он, вернувшись и удобно устраиваясь в кресле. – Может быть, может быть.

В кабинете горела только настольная лампа. Крупенин был освещен в профиль – ухо, набрякшая щека, красивый, поседевший висок. Он слушал с прежним вниманием. Но что-то переменилось. «Решил, собака, держать ухо остро», – подумал Снегирев. Он сдержал раздражение.

– Ты не думаешь, что разумно было бы предложить ему... Ну, не знаю. Может быть, денег? Ведь у него сейчас ни кола ни двора. Пришел он к тебе в надежде на помощь.

– Да говорю тебе, что я...

– Думаю, что он не откажется от денег. Но сейчас для него важнее работа.

– Позволь, как ты себе представляешь? Я должен пойти к Остроградскому?

– Вот именно. А что здесь особенного?

– Почему же я? Если ты ему так сочувствуешь, ты и поезжай!

Снегирев нахмурился:

– Тебе удобнее. Вы были друзьями.

– Но я... я даже не знаю, где он живет...

– У Кошкина на даче.

– У Кошкина? – широко открыв глаза, переспросил Крупенин. – Да Кошкин меня с лестницы спустит!

– Он там редко бывает.

– Не поеду.

Это было сказано с тем новым для Крупенина оттенком независимости, который появился в их отношениях лишь в последнее время. Еще в прошлом году после столь решительного «не поеду» полились бы длиннейшие, часа на полтора, разговоры. Сегодня – нет. Крупенин молчал. Он втянул голову в плечи, смотрел настороженно, испуганно, но молчал. Его рука, протянувшаяся к пепельнице, чтобы погасить папиросу, слегка дрожала.

– Значит, не поедешь?

– Нет.

– Неужели ты не понимаешь, как это важно – не для Остроградского, а для нас – наладить с ним отношения? Его реабилитируют. Проваторов немедленно возьмет его к себе, это значит, что практически ВНИРО перейдет под его руководство. Что же получается? Лучинин – академия, Кошкин – «Зоологический журнал», Остроградский – ВНИРО. Ты представляешь себе, в каком... мы с тобой будем сидеть, или не представляешь?

Крупенин молчал.

– Не поедешь?

– Нет.

– Тогда поговорим начистоту. Вот что: газета «Научная жизнь» готовит против меня статью. Содержания я еще не знаю. Речь идет пока только обо мне. Но если вспомнят черкашинскую историю... Ты думаешь, дерьмо собачье, – сказал Снегирев, раздув ноздри и приблизив свое лицо с поблескивающими зубами к посеревшему лицу Крупенина, который с ужасом подался назад, – ты думаешь, что, если меня спихнут, тебе удастся отсидеться в этой квартире, утопив задницу в сафьяновом кресле? Ты забыл, сукин сын, что, когда Черкашин принес на

меня заявление, ты ему это заявление вернул, а меня предупредил, что нужно принять срочные меры. Ты мне письмо написал, и оно сохранилось.

Снегирев вынул и показал письмо Крупенину – впрочем, на расстоянии.

– Вот, брат. Нам с тобой подобная статья ни к чему. Надо действовать. И, судя по обстановке в редакции, без Остроградского не обойтись. Так что ты, Василий Степанович, к нему все-таки съездишь. Пойми, чудак, – добавил он уже мягко. – Любой знак сочувствия для него сейчас дорог. Он доверчив. Он поверит, что ты хочешь ему помочь. И ты действительно хочешь. Или нет?

Крупенин молчал.

– Хорошо, – наконец сказал он с трудом. – Денег он не возьмет. О какой работе ты говорил? В Институте информации?

– Ну, это-то просто. Думаю, что ему нужна штатная должность.

– Он прописан в Москве?

21

К Черкашиной Снегирев поехал на следующий день и попал удачно – ее не было дома. Можно было поболтать с соседями и поиграть с Оленькой, которой он привез дорогие подарки: обезьяну-барабанщика и осла, который ходил, смешно переваливаясь, и вдруг вставал на задние ноги.

Соседи рассказали кое-что любопытное. Снегирев знал, что Черкашин перед смертью просил Лепесткова позаботиться о вдове. Это было давно, и отношения с тех пор могли развалиться. Однако не развалились. Напротив! От соседей Снегирев узнал, какой завидный – для Лепесткова? – оборот приняли эти заботы...

Оба хохотали – и Оленька, от которой, переваливаясь, уходил взъерошенный, измятый осел, и Снегирев, присевший на корточки, – когда Черкашина вошла и остановилась у порога.

Он видел ее только однажды, когда она провожала мужа на Каспий. Тогда она была беленькая, незаметная девочка, пожалуй хорошенькая, но из тех, которые забываются, едва отводишь глаза. И теперь в ее наружности не было ничего, что нравилось Снегиреву в женщинах: она была слишком тонка, с маленькой грудью, небрежно причесана, не накрашены губы. Но теперь за этой незаметностью скрывалось что-то лихорадочное, нетерпеливое, острое, и Снегирев почувствовал это с первого взгляда.

– Ольга Прохоровна, я был бы у вас давным-давно, но, откровенно говоря, не решался. Почему? Да потому, что вы указали бы мне на дверь. Я Снегирев, вы меня не узнали?

Конечно, она не узнала его, потому что слушала до сих пор с усталым, вопросительным взглядом. Теперь у нее странно изменилось лицо. Она побледнела и взялась рукой за косяк...

– Ухожу, – испугавшись, что она упадет в обморок, поспешно продолжал Снегирев. – Скажу только, что я считаю себя глубоко виноватым перед вами, перед Борисом. Если бы можно было не то что предвидеть, но представить себе, что он... Чего бы я не сделал! – Он опустил голову. – Только чтобы этого не случилось.

Так он всегда говорил с женщинами. Слова могли быть другие, это не имело значения. «А хорошо бы...» – подумал он. У нее были небольшие, стройные ноги. Он почувствовал желание, возраставшее с каждой минутой, и оно сразу же стало участвовать в том, что он говорил, придавая голосу убедительность и мягкую силу.

– Не волнуйтесь, я вижу, что вы волнуетесь. Сейчас все объясню, уйду, и через десять минут вы забудете о моем существовании. Но прежде вы мне объясните, – спросил он с упрямством, в котором прозвучала неподдельная искренность, – как случилось, что вы попали в этот подвал, к этим людям... Я с ними говорил перед вашим приходом... Вы давно здесь живете?

Ольга Прохоровна не ответила.

– Нет, нет, я не прошу прощения. Все равно вы не простили бы – и правы. Но я не понимаю. Борис был фронтовиком, поэтом. Как же никто не подумал...

Главное было – говорить не переставая, а в коротких паузах – смотреть на нее темно-кариими красивыми глазами. Ольга Прохоровна села на стул, стоявший подле двери. «Слава богу, не прогнала. Села и слушает. Выйдет дело».

Дело касалось дипломной работы Бориса Черкашина и других бумаг, которые могли сохраниться у его вдовы и даже наверняка сохранились. Но теперь, встретив ее влажные, разбегающиеся глаза, он стал думать о другом, более приятном – и далеко не невозможном деле. Он даже представил себе это дело, и внутренняя дрожь, от которой заблестели глаза, знакомо и весело прохватила тело.

– Хотите вы этого или не хотите, но в этой промозглой комнате вы жить не будете. Думайте что хотите. Думайте, что мне что-то нужно от вас и я хочу заранее вас задобрить. Мне ничего не нужно. Я пришел, потому что не мог не прийти. Без всякого дела.

От этого «без всякого дела» не так-то легко было перейти к делу. Он говорил еще с полчаса и наконец добился того, что она стала ему отвечать. Она ответила, когда он спросил, хлопчут ли о комнате на работе, – и, едва услышав ее нежный, глуховатый голос, он понял, что она мертвовата, вяловата не потому, что ее муж, которого она, может быть, никогда не любила, пять лет тому назад покончил с собой, а от одиночества молодой женщины, от нераскрытости, утомлявшей и раздражавшей ее. Он понял это не умом, а тем чувством внутренней дрожи, которое больше не старался унять. Он не забыл о статье. У него уже десять раз на языке было: «Ольга Прохоровна, у вас был сотрудник газеты „Научная жизнь“?» Но сказать это было бы так же преждевременно, как, без дальних слов, взять ее за грудь. «Конечно, если бы я ее... – уже холодно подумал он, – все прочее пошло бы как по маслу». Но торопиться было невозможно. Что-то опасное мелькало в ее глазах, и это останавливало его, хотя она даже улыбнулась, когда он почти жалобно сказал: «Ну пожалуйста», снова заговорив об Оленьке, о темной комнате, о том, что ему, Снегиреву, именно ему, необходимо помочь ей – ну просто до смерти, до зарезу! Оленька стояла подле матери, Черкашина погладила ее по голове, и он вдруг решился – положил свою руку на ее узкую, вздрогнувшую руку.

Она подняла глаза. Он еще не знал, что сказать, но слова, которые всегда сами собой говорились в такие минуты и действовали, как правило, неотразимо, уже готовы были сорваться, когда чьи-то быстрые шаги послышались в коридоре. Черкашина встала.

– Войдите, – сказала она едва ли не прежде, чем постучали. Вошел Лепестков.

Он задержался у двери, но постоял только несколько секунд, а потом пошел прямо на Снегирева. Он двигался неторопливо, плечом вперед, ступая криво, но твердо. Лицо его, всегда несколько красноватое, побурело, из-под треугольника, который он инстинктивно столкнул на затылок, показались волосы, мягкие и вьющиеся, но чем-то страшные.

Снегирев встал, пробормотав вежливо: «Здравствуйте». Но тут было не до вежливости. Он попятился, сперва в глубину комнаты, потом, повинувшись движениям Лепесткова, – к двери.

По-видимому, в этих эволюциях, происходивших в полной тишине, было нечто забавное, потому что Оленька засмеялась. Не глядя, Лепестков сорвал с гвоздя богатую снегиревскую шубу, брововую круглую шапку и швырнул к его ногам, на пол. Снегирев подобрал и надел. Он почти оправился, хотя руки не слушались. Он сказал что-то громко и с возмущением. Лепестков закрыл за ним дверь и обернулся к Ольге Прохоровне.

– Миша, – прошептала она с отчаянием, – вы хотели, чтобы я куда-то уехала? В Лазаревку? На какую-то дачу? Я согласна. От Лазаревки электричкой, кажется, только тридцать минут. Не беда, что Оленьку придется взять из детсада.

22

Я ни от кого не оборонялся, работал над статьей и не старался написать так, чтобы она непременно появилась в печати. Я думал только о том, чтобы найти ключ к этой, в сущности, обыкновенной истории. Ключ заключался в том, чтобы открыть всю чудовищность этой обыкновенности, а для этого надо было писать так же просто, как если бы я адресовал свою статью детям. Мне всегда казалось, что дети серьезнее нас и что литература для них – дело, а не развлечение, конечно, до тех пор, пока взрослые не соблазнили их почувствовать себя детьми. Я старался представить себе здоровый, ничем не обусловленный взгляд на эту историю – для этого надо было вернуться к впечатлениям и размышлениям прежних лет, как бы находившимся в обмороке, и заставить их очнуться, или – иными словами – ясно вспомнить себя в те недавние годы. Это были размышления о тех поразительных переменах, которые превращали дельных людей, пытавшихся улучшить жизнь, в притворщиков, создававших лишь видимость дела. Я написал об атмосфере, в которой происходили при жизни Сталина эти превращения, никому не казавшиеся бессмысленными, как будто подозрительность, стремление оправдаться, хотя ты ни в чем не виноват, существовали сами по себе, как некие божества, для которых счастье, смерть, горе уже потому не имели значения, что все это было человеческое, а они существовали как бы отдельно от человека. И наконец – это было самое главное – я написал о тех, кто, разделив общую судьбу, нашел в себе силы не измениться, не разлюбить то, что сделано, и остаться самим собой, продолжая жить и работать.

Сперва это было трудно – не думать о жирных пометках красным карандашом и грозных вопросительных знаках. Потом удалось – и это было так, как будто открылась калитка в заборе, вдоль которого я долго ходил, притворяясь, что мне не так уж и хочется заглянуть в сад, пройти в дом, увидеть хозяев, поговорить с ними о том, что было, и как сделать, чтобы стало лучше, чем было.

23

Остроградский всегда любил обдумыванье, скоропись мысли, когда нет времени на подробности, потому что главное уже вырисовалось и нужно шагать к нему, не оглядываясь, в семимильных сапогах. Выраженье это осталось от студенческих лет.

Полупроснувшись, он сразу же увидел эти главные очертания и уже не отрывался от них, слушал погромыхиванье бабки на кухне. Он вскочил быстро и босой, в пижаме, долго стоял у стола, записывая наскоро, полусловами. Он торопился, потому что пол был ледяной и с веранды дуло, хотя он обил дверь старым войлоком, завалившимся в кошкинском сарае. Потом он побежал на кухню, где было тепло и пахло овсянкой, которая пузырилась в кастрюльке, стоявшей в глубине печки-плиты.

Бабка принесла ледяной воды со двора, и он, раздевшись до пояса, обвязавшись полотенцем, шумно, с наслаждением умылся. Теперь обдумыванье пошло с перерывами. За завтраком оно еще продолжалось. Но потом пошли перерывы, потому что он пилил дрова с бабкой, а в полдень надо было идти за обедом в железнодорожный поселок. Дорогой он вернулся к обдумыванью, и оно оборвалось только к вечеру, когда на дороге послышался знакомый рожок и бабка, выскочив из сторожки, закричала:

– Керосин! Керосин!

Постояв в очереди, Остроградский притащил два тяжелых бидона.

Он заправил лампу – иногда по вечерам не было света – и подрезал фитили в керосинке. На дворе послышались голоса, он выглянул и в начинавшихся сумерках не сразу узнал полного

человека в шубе и шапке, который шел по дорожке к дому, отмахиваясь от бабки. У Остроградского неприятно толкнулось сердце. Это был Снегирев.

– Простите, могу я видеть... Ах, это вы, Анатолий Осипович, – сказал он. Остроградский был в телогрейке и ватных штанах. – Здравствуйте. Мне бы хотелось...

– Пожалуйста, проходите.

Они прошли в комнату Остроградского через холодную, пустую террасу.

– Да, запустил свою дачу Иван Александрыч, – сказал Снегирев. Он держался уверенно. – И все-таки хорошо в лесу. Зиму в городе почти не чувствуешь. А здесь...

Сердце успокоилось, и теперь Остроградский смотрел на него почти с любопытством, совсем по-другому, чем в редакции, где его по временам прохватывала мгновенная, острая дрожь. Он предложил Снегиреву снять шубу, а сам остался в телогрейке. Бабка истопила печь, но плохо, и в комнате было свежо.

– Анатолий Осипович, не льщу себя надеждой, что вы обрадовались моему посещению. Что вы обо мне думаете, я знаю. Но вы, это я тоже знаю, считаете меня человеком дела.

Остроградский не ответил. Он вспомнил, как Ирина однажды посоветовала ему молчать в предстоящем неприятном разговоре с ректором, который был перед ним виноват, и ректор выболтал то, о чем не упомянул бы ни словом, если бы Анатолий Осипович поддержал разговор.

– На этом заседании в редакции, заставшем меня врасплох, Проваторов – человек вспыльчивый – обмолвился одним словом, над которым я потом задумался и даже, признаться, ползал по словарям. Он сказал, что я со всеми своими приемами принадлежу к мафии – существует в Сицилии такое тайное разбойничье общество. Так вот – не похоже. С мафией пытаются бороться, правда безуспешно, а нам... Все, что ни придет в голову нашему ата... я хочу сказать, руководителю, подтверждают, как истину, имеющую государственное значение. Я накину шубу, если позволите, у вас прохладно.

Снегирев продолжал – как-то слишком кругло, может быть, потому, что говорил он один:

– Все это вросло глубоко, неискоренимо, и смешно думать, что может измениться в десять или пятнадцать лет. Срывы возможны. Но ему все нипочем, он как птица феникс возникает из пепла. И вы знаете почему? Он человек со звездой.

Тут любопытно было не то, что Снегирев откровенничал, а то, что он находился, по-видимому, в периоде самосозерцания или самолюбования. Человек со звездой – это было уже нечто религиозное. В человека со звездой надо верить.

– Вы вправе спросить, какое все это имеет к вам отношение. Немалое. Предпринят шаг, направленный против меня, как вашего многолетнего противника. Но если взглядеться, окажется, что это покушение на вас. То есть, конечно, на меня, но я отбрешусь, добьюсь опровержения, а вы свою открывающуюся возможность работы погубите бесповоротно.

В студенческие годы Остроградский видел запомнившийся фильм «Кабинет Каллигари», от которого надолго осталось впечатление неприятного и даже опасного волшебства, живущего рядом с нами. Уже не с любопытством, а с ощущением скрытого неудобства, угрозы, обладающей почти магической силой, смотрел Остроградский на плотного, благополучного, пожалуй, даже красивого человека, сидевшего перед ним в дорогой, накинутой на сильные плечи шубе.

– Вам нужна лаборатория, Анатолий Осипович, да такая, чтобы в нее никто, ни единая душа не лазала. Хотите ее получить? Не завтра, а, скажем, через неделю?

Остроградский молчал.

– Разумеется, не из моих рук – это было бы неловко и глупо. От заместителя министра, который пригласит вас к себе, посожалеет о случившемся. Ну и предложит.

На этот раз он долго ждал ответа, и получил бы весьма неожиданный, потому что Остроградский почувствовал острое желание ударить его стоявшей в углу суковатой палкой. Но Анатолий Осипович только взглянул на палку.

– Я знаю, у вас затруднения. Прописка и прочее. Квартира. Это все возникнет не мгновенно, но без малейших усилий и даже, как это ни странно, без вашего участия. Разве что придется подписать две-три бумаги.

На этот раз минуты две посидели не разговаривая, дожидаясь, кто же первый начнет.

Начал Снегирев:

– Я понимаю, вам ответить трудно. Дело зашло далеко, и бить отбой – я говорю о статье – неудобно. Так пускай же она с богом печатается, если это так важно для вас и ваших друзей. Признаюсь откровенно, мне прямо сказано – потерпеть, потому что, если на одну чашу весов положить меня со всеми моими неприятностями, а на другую – вас, никто не усомнится в том, которая перетянет.

Все это было вздором или даже просто ложью, хотя бы по той причине, что Снегирев противоречил себе. То статья, «если в нее взглядеться», была шагом весьма опасным, потому что она отменяла возможность работы. То она ничего не отменяла «и даже лучше, если ее напечатают, – подумал Остроградский с внезапно блеснувшей догадкой, – потому что если я под прикрытием этой статьи получу лабораторию – и волки будут целы, и овцы сыты. Он действительно выпутается, а я буду у него в кармане».

На этот раз молчание длилось так долго, что Снегирев, догадавшись о его преднамеренности, выпрямился и побледнел.

– Анатолий Осипович, мне нужен ответ, – вежливо, но уже сдерживаясь, сказал он. – Даже не ответ, а ваше согласие переговорить в министерстве. Да или нет?

Остроградский помедлил еще немного.

– Валерий Павлович, – сказал он. – Ведь у вас, помнится, еще в кандидатской были любопытные соображения о зимовальных миграциях хамсы. Как будто я больше не встречал ваших сообщений по этому вопросу?

Снегирев встал, надел шубу и застегнулся. Лицо у него было спокойное, но такое, что Остроградский подумал: «А ведь ты зарезал бы меня, сукин сын, будь твоя воля».

Он любезно проводил гостя.

24

Ольга Прохоровна на два дня отпросилась с работы, сказав, что уезжает за город, потому что боится оставаться зимой с болезненной девочкой в сыром полуподвале. Но на Кадашевской нельзя было сказать правду. Как ни плоха была ее комната, на нее могли найтись – и непременно нашлись бы – охотники. Она не собиралась выписываться – и все-таки надо было постараться, чтобы соседям даже не пришло в голову, что она уезжает надолго. Она объяснила им, что дача служебная. Библиотека иностранной литературы устроила в Лазаревке нечто вроде загородного детского сада.

Иногда в разгаре хлопот ее охватывал ужас. В конце концов, жизнь в Москве, пусть трудная, не так уж плоха! Она бы осталась, если бы Миша, успевший в этот день съездить в Лазаревку, не увез керогаз. В полдень он снова съездил, нагруженный так, что едва был виден под чемоданами и узлами. В третий раз, к вечеру, отправились вместе. Правое плечо, то, которое при ходьбе выдвигалось вперед, Миша (на случай, если Оленька устанет) оставил свободным.

В поезде они заговорили об Остроградском, и Ольга Прохоровна заметила, что иногда раздражавшее ее сходство Миши с умной, слегка сонной овцой мгновенно исчезло. Он сказал, что года три назад был в Ереване и его поразил дом Аветика Исаакяна, полный изящных вещей, открытый, – не только потому, что каждый мог войти в него днем или ночью.

– Из окна – Арарат. И в доме что-то от чистоты Арарата.

В этом доме он вспомнил об Остроградских. Там тоже были эти простота и радушие – незаметное, ненавязчивое. И тоже все как будто сперва было написано на полотне, а потом ожило и наполнилось разговорами, спорами, красками.

– Они много путешествовали. Ведь он – альпинист. Всегда вместе, даже на Памире.

– Красивая?

– Ирина Павловна? Да, очень, – с восторгом сказал Лепестков. – Не знаю, – добавил он, подумав.

От станции до поселка было далеко, но Лепестков стал уверять, что так всегда кажется в первый раз, и Ольга Прохоровна согласилась. «Нет, далеко, – подумала она. – К поезду по утрам придется ходить в темноте».

Лазаревка стала другая. Лес, как будто он в чем-то провинился, стоял теперь за высокими глухими заборами. Где-то в глубине дачных участков виднелись крыши над толстыми раскатами снега. Заборы тянулись так долго, что Ольге Прохоровне захотелось заплакать.

Наконец пришли. Бабка в тулупе, в теплом платке, из которого торчал мертвый острый нос, разметала дорожку. Ольга Прохоровна сказала: «Здравствуйте». Она не ответила.

Дом был большой, обшарпанный, с просторным, когда-то затейливым, а теперь жалким крыльцом. Ступени ходили под ногами. Лепестков сказал виноватым голосом:

– Осторожно.

Остроградский встретил их на пустой холодной террасе. Ольга Прохоровна думала, что он старик, измученный тюрьмой и ссылкой. Но он был совсем не старик. Он был смуглый, прямой. Ей даже показалось, что он не так уж изменился с тех пор, как она видела его на той, запомнившейся, единственной лекции.

Они поужинали на кухне.

– Я очень рад, что вы приехали, Ольга Прохоровна, – сдержанно, но так, что нельзя было не поверить, сказал он.

У него была добрая улыбка. Похоже было, что он все время думает о своем, что, впрочем, не помешало ему распить с Лепестковым пол-литра.

– Мне здесь хорошо. Но я ведь особь статья. Я не знаю, что такое скука. А вы будете скучать.

Ольга Прохоровна покачала головой:

– Нет. Я люблю лес.

– Правда? Я тоже. Послушайте, – весело сказал он. – Не беспокойтесь, дочка не будет одна. Вы беспокоились, мне говорил Миша.

– Да.

– На соседней даче, генеральской, живет Маруся. Она – сторож, а муж у нее шофер. Хорошие люди. Дочке Наденьке тоже шесть лет. Вашей шесть?

– Да.

– Вот и отлично. Все устроится. Жаль, что вы не выпили с нами. У вас озабоченный вид.

Она засмеялась. Остроградский посмотрел на нее, потом на Лепесткова:

– Вы чем-то похожи, как это ни странно. Оба смотрите прямо, а кажется, косо. Миша, как ваша книга?

– Пишу, Анатолий Осипович.

– Отчаянный человек. Храбрый портняжка.

Лепестков засмеялся.

– Ну ладно, пошли устраиваться. Значит, комната за печкой. Что-то сомневаюсь я насчет комнаты за печкой.

В эту комнату выходил щит кафельной печки, но, хотя это был красивый, фигурно облицованный щит, от него, кажется, было мало толку.

– Н-да-а, прохладно, – сказал Остроградский. – Вот что, вы спите здесь, а Оленьку сегодня положим на кухне.

Он уже и прежде соединил Черкашину и Лепесткова, сказав, что они чем-то похожи, как говорят о супругах, а теперь еще и отправил их в одну комнату на ночь.

Она сдержала улыбку. Лепестков поспешно отозвался:

– Я еду в Москву.

– А-а. – Остроградский поднял брови. – Так устраивайте же дочку, Ольга Прохоровна! У нее глаза слипаются. А потом обсудим один план. Миша, вы не поедете, пока мы его не обсудим.

План заключался в том, что он, Остроградский, переедет в комнату со щитом, а Ольга Прохоровна с дочкой поселятся в комнате с печкой.

– Ну нет, – решительно возразила Черкашина.

– Слушайте, я сейчас почти ничего не делаю. Пишу рефераты для Института информации. И думаю. А думать лучше всего при двенадцати градусах тепла. Доказано научно.

Оленька уснула сразу. Черкашина вошла в комнату Остроградского, из которой он с Мишей выносил разваливающийся гардероб, и пожалела, что согласилась. Все в комнате было прилажено руками человека, привыкшего под каждой случайной крышей устраиваться бережно, неторопливо.

В комнате сильно пахло табаком, и Остроградский сказал, что самое верное средство – повесить на нитке большой кусок мягкого черного хлеба. Он вышел на кухню, вернулся и повесил – от слова у него было недалеко до дела.

Ольга Прохоровна наконец прогнала Мишу в Москву – последний поезд уходил около часа ночи; Оленька спала в кухне на двух составленных креслах. Остроградский пожелал доброй ночи и ушел. Бабка Гриппа гремела железом в столовой, мешала печку. «Нарочно так громко, – подумала Черкашина, – чтобы показать, что ей до меня нет никакого дела».

К запаху табака примешивался теперь слабый запах ржаного хлеба. «Как давно не была я за городом зимой. Как просторно здесь после Москвы. Как тихо! Завтра воскресенье, не надо рано вставать. Нет, надо! Ничего не разобрано, не устроено. И не хочется ничего устраивать, разбирать». Штора криво висела на окне, зацепилась за шпингалет, и надо было встать и поправить. «Не встану и не поправлю». Штора была соломенная, летняя, наверно, с веранды. «В воскресенье схожу в лесничество. Интересно, как все там стало теперь».

Она вспомнила контору лесничества на краю поселка, у развилки горбатых дорог. Лесники, поджидая отца, курили на ступеньках, он приходил ненадолго и разговаривал с ними в жарко натопленной комнате, не снимая полушубка и шапки. Их дом был в стороне, в лесу, такой же, как контора, только поменьше, рубленный в лапу, с гладко струганными бревенчатыми стенами и широкими досками пола. Но в конторе все повторялось изо дня в день, по заведенному порядку, и у них в доме каждое утро начиналось с неожиданности. Это началось, когда она заболела и дед – бывший макетчик – принес ей вырезанного из сосновой коры конька-горбунка с гривкой, которая была сделана из его собственной рыже-серой бороды. Через несколько дней она увидела на столике подле кровати козлика с барабаном, и началось самое интересное – ожидание. Сперва дед дарил ей зверей, потом появился Буратино, бежавший куда-то сломя голову с огромным ключом в руке, потом свирепый сапожник, на которого можно было смотреть только с одной стороны, но это ничего не значило, потому что, как объяснил дед, именно так и бывает в театре. Косясь черно-белым глазом, сапожник кроил кожу на грубом столе. Прошло еще два-три дня, и, просунув в дверь свой дикий, крепкий нос, дед сказал: «В работе». На этот раз ожидание продолжалось долго. Только к вечеру следующего дня дед притащил высокого задумчивого старика, который смотрел через лупу в раскрытую на его худых коленях огромную книгу.

«Дон Кихот», – торжественно сказал дед. В лупе не было стекла, но дед сказал, что, если бы он вставил стекло, это было бы уже не искусство. Она не поняла, но согласилась. Дон Кихот был грустный, с мечом на боку. На большой накладной пуговице кафтана дед умудрился вырезать что-то вроде герба.

Невозможно было угадать, что появится из магической комнаты деда, где под стеклянным колпаком сидела тоненькая дама с цветами в руках, в длинном платье, спадавшем с кресла по сторонам и красиво расстилавшемся на полу.

А по вечерам начинались «события» – так дед называл домашние спектакли, в которых он исполнял все мужские, а она все женские роли. Она засмеялась в темноте, вспомнив, как это было интересно и странно и как дед застал ее в слезах, потому что оказалось, что Джульетте только четырнадцать лет. В четырнадцать лет так сложно, красиво говорить:

О сердце, разорвися, ты банкрот!

Так влюбиться! Покончить с собой!

Отец дразнил их, доказывая, что, если читать стихи снизу вверх, ничего не меняется, а смысл, или, точнее, бессмыслица, становится гораздо занятнее. Она любила читать стихи вслух, и однажды актер московского театра, приехавший к своей дочке, которая была вместе с Олей в эвакуации под Краснокамском, сказал, что с ее голосом она могла бы стать настоящей актрисой. Но Борису не нравилось, как она читает стихи, он сам читал совсем по-другому. Когда Борис познакомился с ней, только что вернувшись с войны, ей больше всего понравилось в нем, что он пишет стихи, а сам не похож на поэта. Потом она стала думать об Остроградском – как с ним легко и как он удивился, когда она рассказала, что студенты говорили о каком-то профессоре Неймане, который занимается только тем, что читает его, Остроградского, работы, а потом определяет, что можно печатать, а что еще нельзя – никто не поймет. Он засмеялся и сказал, что Нейман действительно не дал ему напечатать одну работу и очень жаль, оттого что месяца через два нечто подобное опубликовали шведы. Лес стоял за окном, голубой от луны и снега. «Вот я и вернулась в лес». Детство было где-то рядом, беспечное, быстрое, притаившееся за добрыми, грубыми стволами.

И Остроградский не сразу уснул в эту ночь. У него была способность сосредоточенности, позволявшая ему думать о чем-либо двое-трое суток подряд, – и Черкашина приехала, когда он был в азарте обдумывания той «лагерной» мысли, которая почти никогда не оставляла его, то приближаясь, то удаляясь. Рефераты для Института информации нисколько не мешали ему. Но сегодня он не то что расстался с этой мыслью, а как бы попросил ее подождать, а сам ушел в сторону, в зимнюю ночную тишину, которая была не так одинока, не так однообразно пуста, как всегда.

Присутствие молодой женщины в доме, только пройти столовую, волновало его. Почему уехал Лепестков? Что это за отношения между ними? «Вы будете спать здесь», – сказал он о них обоих, и она, как девчонка, поджала губы, сдерживая улыбку. Сколько ей лет? Двадцать восемь? Сердце стало замирать, легкая боль – та самая, загрудинная, вышла и расположилась привычно, как дома. Он лизнул пробочку с нитроглицерином и, когда не помогло, снова лизнул. Все хорошо. Эта женщина похожа на Ирину.

И он вспомнил то, что никогда не переставал вспоминать, – первую встречу с Ириной. Он работал в то лето на биостанции и, когда ему надоедали пахнувшие кухней борщи служебной столовой, ходил за семь километров к тете Паше, в поселок под Феодосией. Тетя Паша – бледная, рыхлая, красивая, с черными трагическими глазами – кормила вкусно, остро, обильно и, пока постояльцы обедали, рассказывала, как все стало дорого на базаре.

Остроградский любил эти обеды, любил ее сад с жирными гроздьями винограда, свисающими с согнутых арками веток, и вечерние разговоры с Пашиным мужем, кинемехаником,

мечтательным и тихим, когда он был пьян, и свирепым, когда тетя Паша приговаривала его к трезвому существованию. Иногда Остроградский оставался ночевать, и это тоже было приятно – проснуться в три часа ночи от голоса тети Паши, выгонявшей гусей, и выйти из мягкой душной темноты низкой комнаты на двор, в другую – мягкую и просторную темноту ночи.

В тот день он оказался за столом с молодой парой, только что приехавшей из Ленинграда и удивившей его тем, что за время длинного обеда – тетя Паша кормила не торопясь – муж и жена не сказали друг другу ни слова. Кроме самых общих, необходимых фраз, они не говорили и с Остроградским.

Он остался до утра, тетя Паша устроила его в сарае, на сеннике, пахнувшем полынью. Угрюмый, трезвый киномеханик бродил по двору, требуя немедленного признания своих заслуг в изобретении звукового кино, тетя Паша шваркнула в него палкой, он замолчал, сунулся было к Остроградскому, притворившемуся спящим, и вскоре сам уснул в том же сарае, за перегородкой.

Ночь открылась, началась, поплыла – сонные шорохи в сухой траве, ленивое мычанье коров, чьи-то мягкие шаги вдоль пыльного переулка. Негромкие, тревожные голоса разбудили его: «Как же так, ночью, одна? Мало ли что может случиться». – «Ты сказала ему?» – «И что?» – «Ничего?» – «Ну, поссорились! Да разве же так можно?»

Тетя Паша беспокоилась о молодой женщине, которая ночью ушла в горы, взяла только шаль и ушла, а когда тетя Паша спросила: «Когда же вы вернетесь?» – ответила: «Я совсем не приду».

Через несколько минут Остроградский уже быстро шел по переулку вдоль белых, под черными крышами, мазанок, в горы. Он забыл спросить, как зовут эту женщину. Он ничего не знал о ней, кроме того, что, выйдя из калитки, она повернула направо. Направо был спуск к морю, но через развалины Генуэзской крепости можно было подняться и в горы.

Собака нерешительно тявкнула, когда он спустился к морю и пошел вдоль длинно растянутых, сушившихся на рогатках сетей. В крепости стояла рыбацья артель. Он постучал в дверь странно врезанного в развалины строения; заспанный, босой мужчина вышел и сказал, что не видел женщину, не проходила.

Тропинок было много, и он не знал, почему выбрал именно эту, каменную, неудобную, сперва пологую, потом сразу крутую. Он как будто выбрал не эту тропинку среди десятка других, а эту ночь, когда в его жизни должно было произойти что-то неожиданное и значительное, эти развалины, лежавшие теперь перед ним как на ладони и выглядевшие грозно и грустно, эту дорогу, дрожавшую на неподвижно-черном пространстве моря.

Камешек попал в туфлю, он снял ее, вытряхнул и пошел дальше, не торопясь, почти наверное знал, что найдет эту женщину, увидит за первым же поворотом. И тропинка действительно повернула, превратилась в тропу... Никого. «Ау!» Эхо отозвалось. Неизвестно было, что кричать – «Вернитесь» или «Я за вами»? Она не знала его голоса, могла не отозваться, испугаться.

Он нашел ее на этой тропе, увидел издалека. Она оглянулась, стала быстро уходить от него; он догнал, задохнувшись...

Так он познакомился с Ириной – нашел замерзшую, закутавшуюся в шаль, накинувшуюся на него, когда он стал просить ее вернуться. Нашел и, не возвращаясь к тете Паше, уехал с ней на биостанцию, а оттуда в Москву. «Нашел в горах и не вернул владельцу», – объяснил он друзьям. С владельцем потом было много хлопот.

Боль прошла, и, как всегда, захотелось курить, но он дал себе слово – не курить по ночам. И не кашлять, тем более что он теперь не один. Лепестков рассказал ему историю самоубийства Черкашина, и он лежал теперь, думая о том, что жизнь этой молодой женщины, в сущности, похожа на его, сложную, уходящую и, несмотря ни на что, прекрасную жизнь. Это произошло почти одновременно – самоубийство Черкашина и его, Остроградского, арест и ссылка. При-

чина была, как ни странно, одна, или тот же человек, в руках которого соединились причины. Одни – для того, чтобы Остроградского арестовали, а потом отправили в ссылку, где он много раз был близок к смерти, а другие – чтобы студент Черкашин бросился с одиннадцатого этажа и погиб сразу, без пыток. Все это кончилось вместе с той жизнью, которая ушла, как уходит поезд, простоявший много суток в буране, с заиндевевшими стенками, обледеневший, гремящий усталым железом, – и началась другая, тихая, в этой пустой даче, в лесу. Он счастливо дышал в темноте.

25

Наконец позвонили – и Снегирев кинулся в машину, едва не забыв дома портфель, набитый бумагами, которые могли пригодиться в разговоре.

Кулябко встретил его нервно-весело, вскочил, пошел навстречу и, повернув на полдороге, уселся за свой огромный письменный стол. «Плохо», – с упавшим сердцем подумал Снегирев. Но это было ни хорошо ни плохо. Это был Кулябко, сухой, узкоплечий, ежеминутно меняющий решения по каким-то, ему одному известным причинам.

У него была слабость – нумизматика. Он был страстным собирателем старых русских монет. Едва ли не каждый разговор со знакомым или полужнакомым человеком кончался тем, что Кулябко вручал ему листок с перечислением монет, которых еще не было в его бесценной коллекции и которые он разыскивал годами.

– Ну что, брат, прижали? – смеясь, спросил он. – Ведь не явился бы, если бы не прижали.

– Только собираются, Матвей Ильич, – стараясь попасть в этот непринужденный тон, отозвался Снегирев.

– Рассказывай. Десять минут.

Прошло не меньше пяти, а он уже слушал вполуха. Для него не имело значения, прав или не прав Снегирев. Он думал об изменяющейся картине отношений, которая породила самую возможность статьи в газете «Научная жизнь». На том участке биологии, с которым связан Снегирев, много напутано, и эта путаница не может продолжаться вечно! Может быть, оставить все как есть, то есть не жать на редакцию?

«Привык выходить сухим из воды Снегирев, – думал он в то время, как его лицо, с тонкими треугольными бровями и падающим на лоб черным хохолком, сохраняло привычное слушающее выражение, – избалован. Да теперь время другое».

– Матвей Ильич, дело прошлое, но я считаю, что его надо было не сажать, а отстранить от преподавания, потому что в лаборатории он волен заниматься чем угодно, а студентам мог принести только вред.

«С другой стороны, он сухим из воды выходил не случайно... – Теперь Кулябко внимательно слушал. – И оттуда как раз будут жать, хотя не хуже меня понимают... Придется позвонить...»

– ...И очень хорошо, что вернулся, тем более что в Магадане или на Воркуте – где он там был – у него было достаточно времени, чтобы отказаться от своих туманных теорий. И то, что он живет где-то у Кошкина на даче, потому что его не прописывают в Москве...

– У Кошкина?

«Не буду звонить, – подумал Кулябко. – Так или иначе, придется налаживать отношения с кошкинской группой. Ведь если академия по-прежнему будет настаивать, чтобы Кошкин был редактором „Зоологического журнала“...»

– Сейчас нельзя так резко ставить вопрос, – сказал он, чтобы сказать что-нибудь, и только потому, что Снегирев, долго, без умолку говоривший, вопросительно приостановился. – Ты учти, Валерий Павлыч, обманщиков действительно много.

«А что я скажу Спицыну? – продолжал он думать. Спицын был начальство. – Спицыну я скажу, что это необходимо для равновесия. Наконец, просто чтобы как-то разрядить атмосферу в кошкинской группе. Так. Ну а если действительно не одна статья, а серия, как говорит Снегирев? Да и вообще... Что значит „фальсификация науки“? Мало ли кто еще может принять это на себя! Нет, позвоню! Сегодня же! Буду настаивать. Снимут».

– Если редакция стремится к объективному решению, – говорил Снегирев, – почему не позвали Челнокова, Нечаеву, Клушина? Пригласили только кошкинцев, разве это не характерно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.